

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
(ГАОУ ВО МГПУ)

Институт гуманитарных наук
Институт иностранных языков



Вроцлавский университет

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

РУСИСТИКА И КОМПАРАТИВИСТИКА

Сборник научных трудов по филологии

Выпуск XIV

Москва
2020

УДК 80
ББК 81 + 82.3(2) + 84.3я43
P88

Печатается по решению
Редакционно-издательского совета ГАОУ ВО МГПУ

Редакционный совет:

Е. Н. Геворкян (Москва), *О. М. Романов* (Гродно),
М. Сарновски (Вроцлав), *В. В. Кириллов* (Москва)

Главный редактор:

С. А. Васильев (Москва)

Редакционная коллегия:

Т. Е. Автухович (Гродно), *Е. В. Бирюкова* (Москва), *И. А. Бубнова* (Москва), *С. В. Власова* (заместитель главного редактора, Вильнюс), *Е. Ю. Геймбух* (Москва), *В. З. Демьянков* (Москва), *М. Р. Желтухина* (Волгоград), *М. В. Захарова* (заместитель главного редактора, Москва), *В. И. Карасик* (Москва), *Ж. Колевинскене* (Вильнюс), *Е. Ю. Кольшева* (заместитель главного редактора, Москва), *В. Л. Коровин* (Москва), *В. А. Коханова* (Москва), *Г. Кундротас* (Вильнюс), *М. Ч. Ларионова* (Ростов-на-Дону), *А. Молнар* (Дебрецен), *И. Н. Райкова* (Москва), *М. Сагаэ* (Токио), *А. И. Смирнова* (Москва), *Е. К. Созина* (Екатеринбург), *В. И. Тюпа* (Москва), *О. А. Сулейманова* (заместитель главного редактора, Москва), *Э. Тышковска-Каспшак* (Вроцлав), *В. Шлекене* (Вильнюс), *Е. С. Ярыгина* (Москва).

Рецензенты:

Ю. А. Дворяшин, доктор филологических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник Института мировой литературы РАН,
заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Т. А. Сироткина, доктор филологических наук, доцент,
профессор кафедры филологического образования и журналистики
Сургутского государственного педагогического университета.

P88 **Русистика и компаративистика:** Сб. науч. трудов по филологии / Гл. ред. С. А. Васильев. Вып. XIV. М.: Книгодел, 2020. — 232 с. (Научное издание.)

«Русистика и компаративистика» — сериальный ежегодный международный сборник научных трудов по филологии, посвященный широкой тематике, связанной с филологическим изучением русского языка, фольклора, литературы, культуры. Магистральные направления такого изучения — традиции литературной классики, национальное языковое сознание, лингвистическая компаративистика.

Сборник состоит из двух основных разделов: «Литературоведение» (отв. ред. Е. Ю. Кольшева) и «Языкознание» — «Национальное языковое сознание», «Психолингвистика», «Лингвистический анализ художественного текста» (отв. ред. М. В. Захарова), «Когнитивные исследования», «Лингвистическая компаративистика», «Дискурсивные исследования» (отв. ред. О. А. Сулейманова).

Для специалистов-филологов, преподавателей, студентов, учителей.

ISBN 978-5-9659-0221-7
ISSN 2619-0656

© Коллектив авторов, 2020
© Книгодел, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

От редактора	5
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ	7
ТРАДИЦИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ КЛАССИКИ	8
<i>Васильев С. А.</i> «Вступаем в XVIII век!»: образ ушедшей эпохи в романе И. С. Тургенева «Новь»	8
<i>Калашников С. Б.</i> «Стансы» как жанровый инвариант: А. С. Пушкин и О. Э. Мандельштам	21
<i>Молнар А.</i> «Пиковая Дама» Л. Е. Улицкой как палимпсест пушкинской повести	41
МИФ И ЛИТЕРАТУРА	58
<i>Мачаянскайте Л.</i> От мифа к истории: вариации сказки «Эгле, королева ужей» в литовской советской и постсоветской литературе.	58
ЯЗЫКОЗНАНИЕ	75
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ	76
<i>Ганиев Ж. В.</i> Риторика и гомилетика в интервью Святейшего Патриарха Кирилла о связи российских проблем с проблемами глобальными	76
<i>Сдобнова Ю. Н., Манухина А. О.</i> Отражение национального менталитета в восприятии исторического афоризма (частный случай реализации франкофонии-русофонии)	93
ПСИХОЛИНГВИСТИКА	103
<i>Захарова М. В.</i> Факторы формирования иронического контекста	103
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА	119
<i>Гик А. В.</i> Семантика «сладкого» в языке русской поэзии (на материале «Словаря русской поэзии XX века»)	119
<i>Сивова Т. В.</i> Растительный мир в художественной аксиологии К. Г. Паустовского: акация в аспекте индивидуально-авторской колористической визуализации	133
КОГНИТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	145
<i>Тивьяева И. В.</i> Мнемический нарратив в когнитивно-коммуникативной перспективе	145

<i>Чаплин Е. В., Сулейманова О. А.</i> Когнитивные основания глагольной метонимии в репрезентации речевых действий.....	164
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОМПАРАТИВИСТИКА	182
<i>Зурабова Л. Р., Борисова Е. Г.</i> Лексико-грамматические характеристики субдиалекта шиак в контексте языкового контакта в Акадии	182
ДИСКУРСИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	201
<i>Прошина З. Г.</i> Политкорректность в научном дискурсе?	201
<i>Шаронов И. А.</i> Коммуникативная функция языка и коммуникативы	217

ОТ РЕДАКТОРА

Вниманию читателей предлагается очередной, XIV, выпуск международного сериального сборника статей по филологии «Русистика и компаративистика». Он подготовлен совместно с нашими партнерами из Белоруссии, Литвы, Польши, Венгрии и выпущен в Москве. Его авторами стали ученые из Москвы, Гродно, Дебрецена, Вильнюса.

В книге нашли отражение как исследовательские направления, актуальные в течение многих десятилетий, а то и более, например, «Миф и литература», «Традиции литературной классики», «Национальное языковое сознание», «Лингвистическая компаративистика», «Лингвистический анализ художественного текста», так и относительно (по научным меркам) недавние, как «Психолингвистика», «Когнитивные исследования», «Дискурсивные исследования».

Авторы издания откликнулись на недавние крупные литературные юбилеи: 200-летие И. С. Тургенева (2018, статья С. А. Васильева) и 220-летие А. С. Пушкина (2019, статьи С. Б. Калашникова, А. Молнар). Остро современному материалу посвящены работы Ж. В. Ганиева, проанализировавшего приемы риторического мастерства Святейшего Патриарха Кирилла, и З. Г. Прошиной, поразмышлявшей о таком неоднозначном явлении современной культуры, как политкорректность, в применении к научному дискурсу. Важнейшим вопросам национального характера языкового мышления посвящены статьи Л. Р. Зурабовой и Е. Г. Борисовой, Ю. Н. Сдобновой и А. О. Манухиной. О литовской национальной специфике мифа и его литературной трансформации своими наблюдениями поделилась Л. Мачянскайте.

Материалы полезного для филологов различных специализаций «Словаря языка русской поэзии XX века» убедительно включила в контекст своего исследования А. В. Гик. Индивидуально-авторский аспект творчества писателя, один из ключевых для научной интерпретации произведения, раскрыла в своей публикации Т. В. Сивова. Коммуникативный аспект языка стал предметом исследования И. А. Шаронова. Психолингвистический ракурс на примере анализа иронического контекста высветила М. В. Захарова. Результаты своих исследований в области когнитивной лингвистики предложили Е. В. Чаплин и О. А. Сулейманова, И. В. Тивьяева.

Надеюсь, книга получилась и послужит хорошим подспорьем в работе специалистов-филологов, учителей-словесников, аспирантов, студентов.

С. А. Васильев

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ТРАДИЦИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ КЛАССИКИ

УДК 821.161.1

DOI: 10.25688/2619-0656.2020.14.01

«ВСТУПАЕМ В XVIII ВЕК!»: ОБРАЗ УШЕДШЕЙ ЭПОХИ В РОМАНЕ И. С. ТУРГЕНЕВА «НОВЬ»

“ENTRING THE 18TH CENTURY!”: IMAGE OF THE GONE ERA IN IVAN TURGENEV’S NOVEL “VIRGIN SOIL”

Сергей Анатольевич Васильев
Московский городской педагогический университет,
Москва, Россия

Sergei Anatolyevich Vasilyev
Moscow City University,
Moscow, Russia

Аннотация

Последний роман И. С. Тургенева «Новь», не столь часто, как ранние, привлекавший внимание исследователей, содержит характерный образ культуры ушедшей эпохи XVIII в. Ее воплощением являются супруги Субочевы — Фимушка и Фомушка. Автор тщательно работал над этими образами, вставляя в посвященные им главы значительные фрагменты текста, в частности описания альбомов, включающих стихи, экфрастическую часть — полотно с изображением Фомушки-охотника. По признанию самого И. С. Тургенева, цель создания «оазиса» старины в романе о современности «Новь» — контраст, сатира, причем обращенная в значительной степени не в прошлое, а в настоящее и будущее.

Ключевые слова: И. С. Тургенев, «Новь», Фимушка и Фомушка, XVIII в., сатира, вариация.

Abstract

Ivan Turgenev’s last novel “Virgin Soil”, not so often as the early novels, which attracted the attention of researchers, contains a characteristic image of the culture of the bygone era of the 18th century. It is embodied by the

Subochevs — Fimushka and Fomushka. The author carefully worked on these images, inserting into the chapters devoted to them significant fragments of text, in particular descriptions of albums, including poems, and ecphrasis — the canvas with the image of Fomushka hunting. According to Ivan Turgenev, the purpose of creating the “oasis” of antiquity in “Virgin Soil”, a novel about modern times, is a contrast. The writer uses satire, which was peculiar to his talent throughout his work. Not only the rudiments of the 18th century, but also the quest for modernity, are exposed to ridicule, as well as the 19th century and the germs of the future — the 20th century, represented in the image of the unprincipled merchant Golushkin.

On the other hand, Fimushka and Fomushka are regarded with favour both by the author and the central character — the populist Nezhdanov, the other guests of the old people. Turning to the creation of these characters, Ivan Turgenev artistically varies Gogol’s images of the “old-world landowners”, combining satire and a warm emotional feeling, realized through the embodiment of an idyllic spirit. Following the artistic logic of Nikolai Gogol and building his own course of artistic thought, Ivan Turgenev uses a number of characteristic techniques: he gives the twins almost identical names, creates their twin portraits, briefly describes their house outside and depicts the interior in detail. A separate characteristic theme is the literary and musical tastes of Fimushka and Fomushka. The two poems from the album are a clear parody of the literary demands of the era. The performance of a romantic song by the spouses is a grotesque scene in which anacreontic lyrics, popular in their time, are partly romanticized and even more vulgarized. Nevertheless, the images of the characters are undoubtedly close to the author spiritually and, even represented in a clearly parodic and satirical manner, turn out to be unexpectedly modern.

Key words: Ivan Turgenev, “Virgin Soil”, Fimushka and Fomushka, 18th century, satire, variation.

Введение. Роман «Новь», опубликованный в 1877 г., стал последним из шести созданных И. С. Тургеневым социально-психологических романов: «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым», «Новь». В своем «Предисловии к романам» (1880) автор отмечал: «<...> я стремился, насколько хватало сил и умения, добросовестно и беспристрастно изобразить и воплотить в надлежащие типы и то, что Шекспир называет: “the body and pressure of time”¹, и ту быстро изменяющуюся физиономию русских людей культурного слоя, который преимущественно служил предметом моих наблюдений» [Тургенев: 390]. Замысел романа «Новь» И. С. Тургенев характеризовал так: «Мелькнула мысль нового романа. Вот она: есть *романтики реализма* <...>. Они тоскуют о реальном и стремятся к нему, как прежние романтики к *идеалу*. Они ищут в ре-

¹ «Самый образ и давление времени» (пер. и прим. авт. — С. В.).

альном не поэзии — эта им смешна, но нечто великое и значительное, — а это вздор: настоящая жизнь прозаична и должна быть такою» [Тургенев: 399] (выделено авт. — С. В.). Таким романтиком реализма изображен один из главных героев романа неудавшийся народник Нежданов — фигура с трагическим жизненным финалом и символичной фамилией (незаконнорожденный сын аристократа, явившийся на общественное служение народу, не готовому его принять).

Своему последнему роману И. С. Тургенев придавал большое значение. В письме к М. Е. Салтыкову он поделился следующей мыслью: «Оттого мне и не хотелось бы исчезнуть с лица земли, не кончив моего большого романа, который, сколько мне кажется, разъяснил бы многие недоумения и самого меня поставил бы так и там — как и где мне следует стоять» [Тургенев: 483].

Характеризуя два последних романа писателя, А. И. Батюто отмечал: «“Дым” и “Новь” — романы не только общественно-политические, но и сатирико-публицистические. Во всяком случае элементы сатиры и публицистики в этих романах весьма значительны» [Батюто 1972: 210].

Образы сатирического плана, как известно, присутствовали в романе «Отцы и дети» («ложные» нигилисты Ситников и Кукшина), в ряде других прозаических и поэтических произведений как раннего, так и позднего периодов творчества писателя [Пустовойт 1959]. Изображение общественной «нови» 1870-х г. потребовало от автора воплощения, в значительной степени сатирического, не только собственно современности, ее разноплановых тенденций, но и прошлого, подчас очень далекого, но тоже нашего свое место в настоящем, а также будущего — XX в. (Голушкин, иронически именованный — «передовой человек»). И то, и другое, и третье несут на себе значительный отпечаток сатиры.

Вместе с тем, как отметил Л. П. Гроссман, «влечение к XVIII веку <...> одна из многих граней тургеневского творчества» [Гроссман], и только сатирой, конечно, не исчерпывается.

Цель работы: выявить особенности и функции образа XVIII в., созданного в ставшем завершающим романе И. С. Тургенева «Новь».

Методология. При подготовке статьи были использованы сравнительно-исторический (Ф. И. Буслаев, А. Н. Веселовский), типологический (П. Н. Сакулин), семантико-стилистический (В. В. Виноградов, Ю. И. Минералов) методы. Обращение к трудам тургеневедов и творческой истории романа «Новь» сопровождалось экскурсами в гоголеведение и в изучение русской культуры XVIII в.

Основная часть. Образ прошлого создается через ряд ярких сцен, связанных с посещением героями романа дома родственников Паклина — Фимушки и Фомушки, как бы «задержавшихся» в XVIII в. и представляющих собой далекое общественное прошлое.

Творческая история глав о Фимушке и Фомушке

Тургенев уделял большое внимание главам XVIII и XIX, в которых изображен «оазис» прошлого для времени действия произведения столетия: «В процессе работы над главой о Фимушке и Фомушке были вставлены большие куски текста с ироническим описанием провинциального альбома, картины, изображающей Фомушку в виде охотника, и др. <...> Есть в этой главе строки, не вошедшие в окончательный текст, но интересные для характеристики этих своеобразных “старосветских помещиков”» [Буданова: 497].

Глава в свое время привлекла внимание критики. Правда, как считает А. И. Батюто, отрывок о Фимушке и Фомушке был напечатан «в художественно-юмористическом журнале “Стрекоза” <...> явно с полемической целью». Его публикация сопровождалась «следующим редакционным примечанием»: «Мы позволяем себе заимствовать эту бесподобную главу из читаемой в настоящее время всею Россией “Нови”. В ней — чудесная тургеневская теплота идет рука об руку с чисто гоголевским комизмом» [Батюто 1982: 524].

Сохранилась авторская характеристика творческой задачи, которая была решена XIX главой: «Как видно из <...> письма Тургенева, Кавелину, как и большинству критиков “Нови”, показались лишними вставные эпизоды с Фимушкой и Фомушкой. Отвечая на это замечание Кавелина, Тургенев признавался: “Я просто не устоял перед желанием нарисовать старорусскую картинку в виде d’un geroussoir <контраста> или оазиса, как хотите”» [Батюто 1982: 521].

В «Рассказе новой повести» (второй редакции конспекта романа) И. С. Тургенев набросал план главы о посещении дома Фимушки и Фомушки: «<...> встреча с Паклиным! <...> Он ежегодно привозит в этот город свою горбатую сестру на лето к родственникам. “Здесь у меня оазис”. Родственники добрые и глупые до святости. Муж и жена — оба старые, бездетные — и никто не зовет их иначе как Фимушка (Серафима¹) и Фомушка (Фома). И добры и глупы “до святости”. Друг на друга даже похожи — и одеваются почти одинаково: толстенькие, кругленькие, в каких-то полосатых капотах — у одной на голове чепец, у другого колпак с теми же рюшами, как на чепце, только без банта. Паклин уверяет, что без банта и не узнаешь, кто — кто; тем более что Фомушка безбородый. “Посетите оазис”. Приятели его посещают. Описать. (Политика туда не проникает.) Горбатая поет недурно, а слабым голосом. Клавесин. Слуга *Каллиопыч*. Девочка Пуфка и т. д.» (выделено авт. — С. В.) [Тургенев: 417]. Уже в этом конспекте автор дал яркий парный портрет персонажей-супругов — почти двойников: по словам Паклина, главная от-

¹ Аграфена (прим. авт. — С. В.).

личительная примета, позволяющая не перепутать мужа и жену — бант (прием гротеска).

Изображение героев: портрет и внутренний мир

«Оазис» Фимушки и Фомушки, их счастливый или представляющийся таковым домашний быт [ср: Дубинина], Паклин представляет весьма эмоционально: «<...> пойдёте к моим родственникам! <...> Представь: оазис! Ни политика, ни литература, ни что современное туда и не заглядывает. Домик какой-то пузатенький каких теперь и не видать нигде; запах в нем — антик; люди — антик; воздух — антик... за что ни возьмись — антик, Екатерина Вторая, пудра, фижмы, XVIII век!» [Тургенев: 235]. Тургенев в иронически-юмористическом ключе пользуется гоголевскими и Грибоедовскими аллюзиями: об этом говорит краткое (зрительный эпитет, упоминание запаха) описание дома («пузатенький», — как и в «Мертвых душах», прямо соотносимый с характером и даже внешним обликом хозяев — «толстенькие, кругленькие») и явно завышенный пафос упоминаний о веке Екатерины, как в монологе Фамусова («<...> Век при дворе, да при каком дворе! / Тогда не то, что ныне, / При государыне служил Екатерине» [Грибоедов: 27]). Эллиптированные конструкции с повтором слова «антик» (в четвертом случае используется как вывод: «за что ни возьмись — антик»), при минимуме содержащейся информации, призваны усилить эмоциональное восприятие собеседников, вызвать желание увидеть пресловутую древность своими глазами.

Паклиным дается развернутый словесный портрет обитателей «оазиса»: «Хозяева... представь: муж и жена, оба старенькие-престаренькие, однолетки — и без морщин; кругленькие, пухленькие, опрятенькие, настоящие попугайчики-переклитки; а добры до глупости, до святости, бесконечно! Мне скажут, “бесконечная” доброта часто бывает сопряжена с отсутствием нравственного чувства... Но я в эти тонкости не вхожу и знаю только, что мои старички-добрячки. И детей никогда не имели. Блаженные! <...>» [Тургенев: 235–236].

Характеристика имеет явно гротескный характер. Пытаясь завлечь своих знакомых к родственникам, Паклин чрезмерно усиливает и, не замечая того, фактически окарикатуривает, с его точки зрения, привлекательные черты Фимушки и Фомушки и их быта. Главный аргумент в их пользу — нравственная чистота «старичков»: «Такие есть степные прудки; они хоть и не проточные, а никогда не зацветают, потому что на дне у них есть ключи. И у моих старичков есть ключи — там, на дне сердца, чистые-пречистые» [Тургенев: 236].

Среди комических черт изображения персонажей — Фомы Лаврентьевича и Евфимии Павловны — можно назвать почти полный звуковой повтор в их именах, данных к тому же с уменьшительно-ласкательным суффиксом: *Фомушка* и *Фимушка* — своеобразная богатая диссонансная

рифма. Фамилия *Субочевы*, произошедшая от имени предка, рожденного в субботу, со стороны художественной семантики как бы нацеливает на ничегонеделание через библейскую аллюзию, понятую иронически: «Помни день субботний, чтобы святить его» (Исх. 20, 8).

Авторские описания, с одной стороны, действительно, связывают персонажей напрямую с XVIII в. С другой стороны, как уже было замечено, Фимушка и Фомушка представляют собой «своеобразную вариацию гоголевских старосветских помещиков» [Пустовойт 1987: 209], «парафразирование» [Минералов: 21, 218] гоголевского стиля.

Гоголевские параллели

Интенция Гоголя рассматривается подчас противоположно — от идиллии («неизъяснимая прелесть») до сатиры (что более близко тургеневским сценам и картинам). Так, Ю. В. Манн характеризует «Старосветских помещиков» как «едва ли не самый сложный» случай. С его точки зрения, «это настоящая “ирои-комическая” поэма еды, поглощения пищи» [Манн: 145]. Доброту персонажей исследователь воспринимает тоже неоднозначно: «Старички были действительно добры, и они готовы были всегда все сделать для гостей, но могли ли они предложить им что-нибудь другое, кроме еды?» [Манн: 147].

Однако повествователь, «сын цивилизации <...> относится к жизни своих старинных приятелей как к блаженному, обреченному на исчезновение и уже исчезнувшему <...> островку гармонии» [Манн: 147]. С этим связан особый содержательный план и эмоциональный эффект: «Всех писавших о “Старосветских помещиках” больше всего поражал сам момент перехода, когда почти растительное прозябание персонажей вдруг отзывалось глубокой сочувственной реакцией читателя» [Манн: 152].

Приметы эпохи XVIII в. четко видны в интерьере дома гоголевских персонажей, например, в упоминании портретов: «Стены комнат убраны были несколькими картинами и картинками в старинных узеньких рамах. Я уверен, что сами хозяйка давно позабыли их содержание, и если бы некоторые из них были унесены, то они бы, верно, этого не заметили. Два портрета было больших, писанных масляными красками. Один представлял какого-то архиерея, другой Петра III. Из узеньких рам глядела герцогиня Лавальер, запачканная мухами. Вокруг окон и над дверями находилось множество небольших картинок, которые как-то привыкаешь почитать за пятна на стене и потому их вовсе не рассматриваешь» [Гоголь: 218].

От описания внешнего вида дома и портрета хозяев И. С. Тургенев, соотнося свою художественную логику с гоголевской, также обращается к интерьеру: «— Вступаем в XVIII век! — воскликнул Паклин, как только перешагнул порог субочевского дома. И действительно: XVIII век встретил гостей уже в передней, в виде низеньких синеньких ширмочек, окле-

енных вырезанными черными силуэтками напудренных дам и кавалеров. С легкой руки Лафатера силуэтники были в большой моде в России в 80-х годах прошлого столетия» [Тургенев: 241–242]. Словесно-живописный план, общий для обоих художников слова, дает оригинальную параллель: портреты — силуэтники.

Писатель пользуется намеченным у Гоголя приемом экфрасиса, упоминая стертые резные изображения на табакерке и создавая словесный образ портрета молодого Фомушки: «Фомушка достал и показал гостям свою любимую деревянную резную табакерку, на которой когда-то можно было счесть тридцать шесть человеческих фигур в разных положениях: все они давно стерлись, но Фомушка их видел, видел до сих пор, и перечсть их мог и указывал на них. “Смотрите, — говорил он, — вон один из окошка глядит, смотрите: он голову высунул...” А то место, на которое указывал его пухленький палец с приподнятым ноготком, так же было гладко, как и вся остальная крышка табакерки. Потом он обратил внимание посетителей на висевшую над его головой картину, писанную масляными красками. Она изображала охотника в профиль, скачущего во весь дух на буланой лошади — тоже в профиль — по снежной равнине. На охотнике была высокая белая баранья шапка с голубым языком, черкеска из верблюжьей шерсти с бархатной оторочкой, перетянутая кованым золоченым поясом; расшитая шелком рукавица была заткнута за тот пояс; кинжал в серебряной оправе с чернью висел на нем. <...> — А ведь это я! — прибавил он, погодя немного, с стыдливой улыбкой» [Тургенев: 243]. Нельзя не заметить нелепости рассказа о совершенно стертых резных изображениях и о картине, написанной маслом, на которой никак невозможно узнать пузатенького Фомушку. Однако, наряду с комизмом, в образе ощущается и авторская теплота в отношении к героям.

Образ жизни героев: пародия и сатира

Характерен образ жизни и круг чтения Фимушки и Фомушки. Согласно приведенной характеристике, «время, казалось, остановилось для них <...>» [Тургенев: 237]; «*вставляли поздно*, кушали утром *шоколад* из крошечных чашек в виде ступок; “чай, — уверяли они, — уж после нас в моду-то вошел”; садились друг перед другом — и либо беседовали (и всегда находили о чем!), либо читали из “Приятного препровождения времени”, “Зеркала света” или “Аонид”, либо просматривали старенький альбом, переплетенный в красный сафьян с золотой каемкой <...>» (здесь и далее выделено мной. — С. В.) [Тургенев: 239].

Эти описания не только сатирические, но и пародийные по отношению к гоголевской повести: «Оба старичка, по старинному обычаю старосветских помещиков, очень любили покушать. Как только занималась заря (они всегда *вставляли рано*) и как только двери заводили свой разноголосный концерт, они уже сидели за столиком и *пили кофе*. Напившись

кофею, Афанасий Иванович выходил в сени и, стряхнувши платком, говорил: “Киш, киш! пошли, гуси, с крыльца!”» [Гоголь: 221].

Тургенев с опорой на гротеск выписал своих персонажей не только «подлинно восемнадцативечными», но и еще более архаичными, чем даже герои гоголевской повести, жившие по отношению к XVIII в. хронологически ближе: Фомушка и Фимушка вставали поздно и пили шоколад, а не, по уверениям супругов, позже появившийся чай (или кофе), хотя, конечно, приоритет появления и распространения тех или иных напитков в дворянской среде не является столь однозначным. Деталь «чай, — уверяли они, — уж после нас в моду-то вошел» прежде всего не историческая, а собственно художественная. Ср.: «Фелица» (1782) Г. Р. Державина: «А я, проспавши до полудни, / Курю табак и кофе пью» [Державин: 35].

Одна из важных параллелей между описаниями Фимушки и Фомушки и «Старосветскими помещиками» — приезд гостей, который существенно менял жизнь радушных хозяев. Гоголевские герои искренне рады гостям. При определенных параллелях общение с гостями показывает больше различий между гоголевскими и тургеневскими персонажами. Помещики «жили для гостей», что было необходимо для их «добрых, бесхитростных душ» [Гоголь: 223]. Тургеневские же Фимушка и Фомушка не столько уделяют внимание гостям, сколько показывают себя, они «раскуражились» [Тургенев: 243]. Фомушка, показывая картину с изображением охотника, не удерживается от нарциссизма: «А ведь это я!» То же по другому поводу произносит и Фимушка.

Альбом и стихи: литературные вкусы

Характерной чертой изображения ушедшей эпохи является альбом, в который гости вписывали свои стихи. Альбомы, как известно, были очень популярны в начале XIX в. Существовал особый лирический жанр — стихи в альбом, в этом жанре писали А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, многие другие поэты эпохи. Однако этот образ у Тургенева носит явно пародийный характер, становящийся еще одной гранью представления новых «старосветских помещиков»: «<...> просматривали старенький альбом, переплетенный в красный сафьян с золотом каемкой, принадлежавший некогда, как гласила надпись, одной M-me Barbe de Kabylie¹. Как и когда попал этот альбом к ним в руки — они сами не знали. В нем находилось несколько французских и много русских стихотворений и прозаических статей <...>» [Тургенев: 239]. В альбоме есть и стихи, но завершается он более чем прозаически (еще одна составляющая гротеска): «На последней странице альбома стояли — вместо стихов — рецепты от желудка, спазмов и — увы! — даже от глистов» [Тургенев: 240].

¹ г-же Варваре Кобылиной (*франц.*) (прим. автора. — С. В.).

Приведенные стихи — литературный китч: «Хорошо было также стихотворение, озаглавленное “Тирсис”, где встречались такие строфы:

Покой вселенной управляет,
Роса с приятностью блестит.
Природу нежит, прохлаждает,
Ей нову жизнь собой дарит!

Один Тирсис с душой унылой
Страдает, мучится, грустит...
Когда с ним нет Анеты милой —
Его ничто не веселит! —

и экспромт проезжего капитана в 1790 году, “Маия в шестый день”:

Никогда я не забуду!
Тебя, любезное село!
И вечно помнить буду!
Приятно время как текло!
Которое имел я честь!
У владелицы твоей!
Пять лучших в жизни дней!
В почтеннейшем кругу провести!
Среди множества дам и девиц!
И прочих *интересных* лиц!» [Тургенев: 240].

В первом случае создается образ невольного пародирования ломоносовского стиля («Царей и царств земных отрада, / Возлюбленная *тишина* <...>» [Ломоносов: 83]). Это реализуется через параллель характерных мотивов *покой* — *тишина* в их обобщающем, вселенском смысле, а далее, так же с мнимоломоносовским соединением далеких идей и образов, — зевгмой [Тынянов: 237]. От намеченного очень шаблонно масштаба вселенной автор резко переходит к идиллии, Тирсису, устойчивому образу, воплощающему любовно-пасторальную тематику (идиллия Феокрита, басня Лафонтена и др.).

Второй текст — «экспромт» — состоит из выглядящих нелепо сплошных восклицаний, каждое из которых занимает отдельную строку. Он включает и явную двусмысленность: «Которое имел я честь! / У владелицы твоей!»

Литературный вкус Фомушки и Фимушки, таким образом, охарактеризован достаточно полно. Не случайным, добавляющим новый пародийный нюанс в этой связи оказывается и причудливое именование слуги — *Каллиопыч*, вызывающее в памяти не отца персонажа (по анало-

гии с *Петрович*), а музу Каллиопу (др.-греч. Καλλιόπη — «прекрасногласая» [Словарь: 243]), в древнегреческой мифологии покровительницу эпической поэзии, науки и философии.

«Певцы»: исполнение романса и его восприятие

Однако Фимушка и Фомушка не только читатели, но и исполнители любовных песен, им близка салонная культура ушедшей эпохи сентиментализма, причем не столько в элитарном, сколько в расхожем ее понимании. Названные выше журналы и альманахи дают характерный ориентир: наряду с произведениями выдающихся мастеров — Г. Р. Державина, М. Н. Муравьева, Н. М. Карамзина, И. И. Дмитриева и др. — в них публиковались и тексты усредненного уровня, что для периодики является делом вполне обычным.

Комическая по сути своей сцена пения романса вызывает, однако, весьма характерные размышления Нежданова. В шутовстве Фомушки и Фимушки он видит беззлобие их душ, возникает аллюзия на гоголевский образ беззлобного Акакия Акакиевича Башмачкина (Акакий с греч. — *незловивый*): «А что, — подумал Нежданов, как только рукоплесканья унялись, — чувствуют ли они, что разыгрывают роль... как бы шутов? Быть может, нет; а быть может, и чувствуют, да думают: “Что за беда? ведь зла мы никому не делаем. Даже потешаем других!” И как поразмыслишь хорошенько — правы они, сто раз правы!» [Тургенев: 247].

Художественные функции глав о XVIII в.

Выявляя функции изображения Фимушки и Фомушки в романе «Новь», П. Г. Пустовойт писал о том, что их «оазис» — «сатирический контраст народникам, их идеализации мужика <...>. Сентиментально-идиллическая невинная чета воркующих обитателей “оазиса” понадобилась Тургеневу для того, чтобы, вызвав у читателя отрицательное отношение к ней, устами Паклина заявить Нежданову: “И там <...> чепуха — и здесь <...> чепуха... <...>. Только та чепуха — чепуха восемнадцатого века ближе к русской сути, чем этот двадцатый век”» [Пустовойт 1987: 209–210].

Размышляя над ролью главы о XVIII в., Л. П. Гроссман писал: «Эта глава “Нови” многих неприятно поразила как неуместный, присочиненный эпизод. “Это был мой каприз, — оправдывается Тургенев, — я вспомнил такую старенькую чету, которую знал когда-то”. Но точно ли только каприз композиции в этом вторжении фарфорового стиля в атмосферу народвольческой пропаганды? Или, быть может, перед новыми социальными опытами душа Тургенева заныла от тоски и попыталась хоть на мгновение заглушить проповедь активных народников серебрящимися всплесками моцартовского мотива? Во всяком случае, эти поздние отзвуки снова слышатся в последних тургеневских созданиях. Через несколько лет после “Нови” он берется опять за изображение своей “старенькой четы”. Какой

шедевр эти “Старые портреты”! <...> Так умирающий Тургенев навсегда прощается с маркизой Помпадур» [Гроссман].

Выводы. Итак, образ Фомушки и Фимушки, прочно ассоциирующийся с безвозвратно ушедшим XVIII в., воплощен как сатирический (безнадежно отставшие от жизни помещики), а также пародийный по отношению к повести Н. В. Гоголя «Старосветские помещики». С другой стороны, автор не просто высмеял рудименты прошлого, но выстроил своего рода систему художественных времен: XVIII в. — Фимушка и Фомушка, XIX в. — искания народников, XX в. — циничный капитализм купца Голушкина. Ни одно из времен не принимается писателем полностью, каждое подвергается внимательному художественному исследованию. И в этой связи гротескно обозначенные «нравственные ключи» в душах, пусть и ограниченных, Фимушки и Фомушки, их теплота, хоть и поданные явно иронически, очевидно, не могут не вызывать определенной симпатии автора, особенно с учетом отношения Н. В. Гоголя к своим персонажам («Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владельцев отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими <...>» [Гоголь: 215]). Да, Фимушка и Фомушка смешны, нелепы, ограничены, но что пришло им на смену? Купца Голушкина, представляющего еще не наступивший XX в., заигрывавшего с народниками и революционерами, а позже, при первой опасной ситуации, от них отрекшегося, художественная логика романа отвергает. Судьба самих народников почти неизбежно трагична (они вышли на «проповедь» слишком рано). Один Соломин, умеющий ценить людей и заботиться о них, как на руководимой им фабрике, так и в революционном деле, социально и идеологически перспективен. И он, кстати, с удовольствием отправляется к Фимушке и Фомушке: «Я с великим даже удовольствием готов» [Тургенев: 236]. Душевная теплота, искренние чувства, взаимная преданность, пусть и гротескно искаженные течением жизни и человеческими немощами, как бы перешагивают границу времен и оказываются неожиданно современными.

Литература

Батюто А. И. Комментарии // Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 12 т. Т. 9. Москва: Наука, 1982. С. 519–536.

Батюто А. И. Тургенев-романист. Ленинград: Наука, 1972. 394 с.

Буданова Н. Ф. Комментарии // Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 12 т. Т. 9. Москва: Наука, 1982. С. 478–519, 536–544.

Гоголь Н. В. Избранные сочинения: В 2 т. Т. 2. Москва: Художественная литература, 1978. 574 с.

Грибоедов А. С. Горе от ума // Грибоедов А. С. Сочинения. Москва — Ленинград: ГИХЛ, 1959. С. 1—105.

Гроссман Л. П. Портрет Манон Леско URL: <https://iknigi.net/avtor-leonid-grossman/64103-literaturnye-biografii-leonid-grossman/read/page-12.html>.

Державин Г. Р. Сочинения. Ленинград: Художественная литература, 1987. 504 с.

Дубинина Т. Г. Концепт «счастье» в прозе И. С. Тургенева и А. П. Чехова // Спасский вестник. Вып. 24. Тула: Аквариус, 2016. С. 81—88.

Ломоносов М. В. Сочинения. Москва: Современник, 1987. 444 с.

Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. Москва: Coda, 1996. 474 с.

Минералов Ю. И. Теория художественной словесности. Москва: Владос, 1999. 359 с.

Пустовойт П. Г. И. С. Тургенев — художник слова. Москва: Издательство Московского университета, 1987. 304 с.

Пустовойт П. Г. Сатирические тенденции в творчестве И. С. Тургенева // Творчество И. С. Тургенева: Сборник статей: Пособие для учителя. Москва: Учпедгиз, 1959. С. 448—520.

Словарь античности / Пер. с нем. Москва: Прогресс, 1989. 704 с.

Тынянов Ю. Н. Ода как ораторский жанр // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. Москва: Наука, 1977. С. 227—252.

Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 12 т. Т. 9. Москва: Наука, 1982. 576 с.

References

Batyuto A. I. Kommentarii // Turgenev I. S. Polnoe sobranie sochinenij i pisem: V 30 t. Sochineniya: V 12 t. T. 9. Moskva: Nauka, 1982. S. 519—536.

Batyuto A. I. Turgenev-romanist. Leningrad: Nauka, 1972. 394 s.

Budanova N. F. Kommentarii // Turgenev I. S. Polnoe sobranie sochinenij i pisem: V 30 t. Sochineniya: V 12 t. T. 9. Moskva: Nauka, 1982. S. 478—519, 536—544.

Gogol' N. V. Izbrannye sochineniya: V 2 t. T. 2. Moskva: Khudozhestvennaya literatura, 1978. 574 s.

Griboedov A. S. Gore ot uma // Griboedov A. S. Sochineniya. Moskva — Leningrad: GIKHL, 1959. S. 1—105.

Grossman L. P. Portret Manon Lesko URL: <https://iknigi.net/avtor-leonid-grossman/64103-literaturnye-biografii-leonid-grossman/read/page-12.html>.

Derzhavin G. R. Sochineniya. Leningrad: Khudozhestvennaya literatura, 1987. 504 s.

Dubinina T. G. Koncept “schast’e” v proze I. S. Turgeneva i A. P. Chekhova // Spasskij vestnik. Vyp. 24. Tula: Akvarius, 2016. S. 81—88.

Lomonosov M. V. Sochineniya. Moskva: Sovremennik, 1987. 444 s.

Mann Yu. V. Poetika Gogolya. Variacii k teme. Moskva: Coda, 1996. 474 s.

Mineralov Yu. I. Teoriya khudozhestvennoj slovesnosti. Moskva: Vlados, 1999. 359 s.

Pustovojt P. G. I. S. Turgenev — khudozhnik slova. Moskva: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, 1987. 304 s.

Pustovojt P. G. Satiricheskie tendencii v tvorchestve I. S. Turgeneva // Tvorchestvo I. S. Turgeneva: Sbornik statej: posobie dlya uchitelya. Moskva: Uchpedgiz, 1959. S. 448–520.

Slovar' antichnosti / Per. s nem. Moskva: Progress, 1989. 704 s.

Tynyanov Yu. N. Oda kak oratorskij zhanr // Tynyanov Yu. N. Poetika. Istoriya literatury. Kino. Moskva: Nauka, 1977. S. 227–252.

Turgenev I. S. Polnoe sobranie sochinenij i pisem: V 30 t. Sochineniya: V 12 t. T. 9. Moskva: Nauka, 1982. 576 s.

Сведения об авторе: Сергей Анатольевич Васильев; доктор филологических наук; профессор; Московский городской педагогический университет; профессор кафедры русской литературы института гуманитарных наук; ORCID 0000-0002-6985-5002; okdomovenok@yandex.ru; сфера научных интересов: поэтический стиль, русская литература XVIII–XXI вв.

The author's profile: Sergei Anatolyevich Vasilyev; Doctor of Philology; Professor; Moscow City University; Professor at the Russian Literature Department of the Institute of Humanities; ORCID 0000-0002-6985-5002; okdomovenok@yandex.ru; research interests: poetical style, Russian literature of 18–21 centuries.

УДК 821.161.1

DOI: 10.25688/2619-0656.2020.14.02

**«СТАНСЫ» КАК ЖАНРОВЫЙ ИНВАРИАНТ:
А. С. ПУШКИН И О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ**

**“STANZAS” AS A GENRE INVARIANT:
A. S. PUSHKIN AND O. S. MANDELSTAM**

Сергей Борисович Калашников
Московский городской педагогический университет,
Москва, Россия

Sergei Borisovich Kalashnikov
Moscow City University,
Moscow, Russia

Аннотация

На основе прецедентных текстов А. С. Пушкина «Стансы» («В надежде славы и добра...») и «Друзьям» в статье реконструируется инвариантная схема данной жанровой разновидности как модель отношения поэта к власти и современности. В качестве парадигмальных структур рассматриваются не только внутритекстовые смысловые связи, но и сценарии публичного поведения поэта в московском локусе как «эпицентре власти». На основании реконструированной модели выявляются типологические соответствия между художественными стратегиями А. С. Пушкина и О. Э. Мандельштама периода написания воронежских (1935) и савёловских (1937) «Стансов».

Ключевые слова: стансы, инвариант, поэзия, власть, Пушкин, Мандельштам.

Abstract

Based on the precedent texts by Alexander Pushkin, “Stanzas” (“In the hope of fame and good ...”) and “To Friends”, the article reconstructs the invariant scheme of this genre variety as a model of the poet’s relationship to the authorities and his time. One of the reasons why Pushkin’s “Stanzas” and “To Friends” are perceived as a paired unity and genre invariant is that in both texts the ultimate concentration of combinatorial possibilities of interaction between the poet and the authorities is reached: “true poet + true king”, “true poet vs false king”, “true king + false poet”, “false poet + false king”. In addition, “Stanzas” as a genre invariant presupposes not only the realization of a certain group of artistic meanings, through which the poet’s attitude to his

time and authorities is expressed, but also includes an obligatory model of the corresponding public behavior, firstly, in Moscow as the center of power and, secondly, in the fundamental capacity of the main poet of the era — the God-chosen singer-prophet, who has the exclusive right to legitimize or discredit the image of the ruler and the existing state order. Also, in the biographical subtext of the invariant, the motive of unfulfilled hopes and disappointment in the “new reality” was originally incorporated.

A century later, Osip Mandelstam builds his relations with his time in accordance with this genre invariant in “Voronezh Stanzas” (1935) and “Savyolovo Stanzas” (1937). At a deep level, the author reproduces scenarios of Pushkin’s literary and life behavior (“miraculous” pardon after the first arrest), deliberately builds biographical analogies to them in relations with the official authorities (a hypothetical meeting with Stalin), carries out the distribution of key meanings and assessments within the framework of the original Pushkin paradigm — not only artistic, but also behavioral, which testifies to the conscious positioning of himself as Pushkin’s successor in the public, ideological and state space.

Key words: stanzas, invariant, poetry, power, Pushkin, Mandelstam.

Введение

Цель: реконструировать инвариантную схему жанра «Стансов» на основе прецедентных словесных и поведенческих текстов А. С. Пушкина и выявить реализацию ее парадигмальных смыслов в произведениях О. Э. Мандельштама 1935 и 1937 гг.

Методология. Исследование строится на использовании трех методов: 1) сравнительно-исторического, с помощью которого устанавливается типологическое сходство поэтических произведений, созданных в жанре «стансов» в диахроническом аспекте; 2) структурного метода, благодаря которому осуществляется реконструкция инвариантной жанровой схемы «Стансов» в русской поэтической традиции; 3) семиотического метода, который позволяет включить в жанровую парадигму семиотику общественно-политического поведения рассматриваемых авторов, а также специфические пространственно-культурные параметры «московского текста».

Материал исследования. В статье анализируются тексты А. С. Пушкина 1826–1828 гг. («В надежде славы и добра...» и «Друзьям») и произведения О. Мандельштама 1935–1937 гг., объединенные жанровым обозначением «Стансы», а также факты творческой истории произведений и биографические сведения.

Основная часть

«Стансы» А. С. Пушкина как жанровый инвариант

Проблема взаимоотношений властителя и поэта на протяжении более чем трех столетий в русской национальной картине мира воспринима-

ется как парадигмальный сюжет. Соперничество этих инстанций в своих фундаментальных онтологических глубинах представляет спор о власти в качестве главного координатора всего сущего, поэтому взаимодействие рассматриваемых культурных величин может быть интерпретировано как паттерн встречи духовной и мирской власти, претендующих на абсолютную авторитетность высказывания и максимальную легитимацию собственного слова.

Особенную актуальность для русской поэзии указанная парадигма приобретает в пушкинское время, хотя ее разрозненные рефлексии обнаруживают себя в литературе и предшествующего столетия. Но именно в творчестве А. С. Пушкина, усиленная художественными смыслами и подкрепленная сюжетами собственной биографии, она приобрела свойства инвариантной схемы, с определенной регулярностью и вариативностью воспроизводимой не только самим поэтом, но и теми русскими авторами, которые вольно или невольно интегрировали свое творчество и жизненные обстоятельства в сюжет отношений с государственной властью.

Одной из реализаций этого метасюжета в творчестве А. С. Пушкина становятся написанные в 1826 г. «Стансы», которые «<...> в любой исследовательской интерпретации сохраняют имманентно присущую им идейно-содержательную основу: декларацию отношения поэта к существующей власти» [Пяткин: 153], и примыкающее к ним стихотворение «Друзьям» (1828). Оба текста воспринимаются как своеобразное парное единство и давно стали своеобразным «топосом» исследовательской литературы о поэте. Как справедливо отмечает в обзоре основных точек зрения и этапов исследования этих произведений Н. И. Михайлова, «<...> нет ни одной монографии о жизни и творчестве Пушкина, ни одной статьи о его возвращении в Москву из Михайловской ссылки, где так или иначе не шла бы речь об этих стихотворениях» [Михайлова: 31].

Особая значимость этих текстов как смыслового целого для русской поэтической традиции подтверждается тем, что они становятся особой смыслопорождающей моделью, по аналогии с которой выстраивают свое отношение к официальной власти крупнейшие авторы XX столетия — С. Есенин, Б. Пастернак, О. Мандельштам. Причем инвариантность этих двух пушкинских стихотворений осознается не только на уровне воспроизведения заглавия, определенных мотивных комплексов или метрико-ритмического рисунка, но также обязательной «парности» текстов, образующих единый жанрово-семантический ореол: пушкинская прецедентная схема включает в себя стихотворение «Друзьям» (1828), которое выступает в качестве своеобразного комментария к «Стансам» (1826) и образует с ними общий парадигмальный код отношения поэта к власти. По-своему вторят ей и авторы XX столетия: осенью 1924 г. Есенин пишет «Стансы» с посвящением *другу* (здесь и далее курсив наш. — С. К.) Петру Чагину, а затем

стихотворение «1 Мая» (1925), начало которого воспринимается как парафраз пушкинского послания; Пастернак сперва публикует в «Новом мире» стихотворение «Другу» (1931, № 4), а потом — «Столетье с лишним — не вчера» (1932, № 5); Мандельштам создает в мае-июне 1935 г. воронежские «Стансы», а затем в начале июля 1937 г. — савёловские, обращенные к Е. Е. Поповой — доверенному лицу из ближайшего окружения поэта.

Говоря о «Стансах» и стихотворении «Друзьям» как жанровом инварианте, важно понять, почему именно эти произведения Пушкина воспринимались последующей лирической традицией как смыслопорождающая модель и исходная матрица для последующих семантических вариаций, ведь сами по себе они не являются вполне прецедентными и обнаруживают мощное разноуровневое интертекстуальное влияние произведений Жуковского и Державина [Проскурин: 267–268]. Как представляется, уникальность этих стихотворений в творчестве А. С. Пушкина определяется тем, что в них оказались реализованы *все возможные*, в отличие от предшественников, схемы взаимодействия поэта и властителя. К моменту написания «Стансов» и примыкающего к ним тематически стихотворения «Друзьям» пушкинский метасюжет «Поэт — Царь» включал в себя две активные инвариантные схемы, реализованные в целой группе текстов — начиная с инвектив в адрес Александра I и заканчивая «Борисом Годуновым»:

- **истинный поэт vs самозванный царь:** данная вариативная схема строится на сюжете распознавания поэтом ложного государя и предполагает обличение его несправедливой власти с целью дискредитации в глазах сообщества;
- **самозванный поэт + самозванный царь:** совмещение двух видов ложной власти приводит к самым катастрофическим последствиям в жизни сообщества — природным и социальным катаклизмам, иноземным вторжениям и потере национальной идентичности [Калашников 2012: 127–128].

К этим инвариантным моделям взаимодействия в «Стансах» и «Друзьях» добавляются еще две схемы, восполняя пушкинский метасюжет «Поэт — Царь» до предела возможных семантических модуляций:

- **истинный поэт + истинный царь:** единство этих двух властных инстанций, духовной и мирской, удваивало упорядоченность связей внутри сообщества, обеспечивало благоденствие и процветание, образовывало модель сакрального единства двух «ветвей» власти — духовной и светской;
- **истинный царь + самозванный поэт:** опасность такого взаимодействия предопределяет превращение истинного государя в узурпатора трона, лишённого главных качеств в пушкинской этической системе ценностей — нравственного достоинства и способности к милости,

что неминуемо ведет к разрушению всех видов упорядоченностей в сообществе и грозит ему гибелью.

На текстовом уровне лирический сюжет пушкинских «Стансов» выстраивается в соответствии с вариативной схемой **«истинный поэт + истинный царь»**, когда подлинный поэт призывает государя к необходимости проявления милости по отношению к «падшим» для легитимации своей власти в качестве санкционированной свыше [Калашников 2018: 15–16]. В то же время Пушкиным, за счет подтекстового противопоставления Петра Великого и Александра I, осуществляется актуализация еще одной схемы — **«истинный поэт vs самозванный царь»**. Вторично легитимность власти нового царя подтверждается в стихотворении «Друзьям», где начальные пять строф реализуют сюжетную схему взаимодействия истинного царя и истинного поэта, в которой модель сакрального единства поэзии и власти оказывается установлена, что сулит государству процветание и благополучие, а смысловой альтернативой этого сценария отношений поэзии и власти становится схема **«истинный царь vs самозванный поэт»**, описывающая механизм разрушения сакрального единства в связи с приближением к престолу поэта-льстеца, который собственный самозванный *indigenat* распространяет на имидж государя, дискредитирует его и низводит до статуса неистинного царя (актуализация схемы **«самозванный поэт + самозванный царь»**):

Нет, братья, льстец лукав:
Он горе на царя накличет,
Он из его державных прав
Одну лишь милость ограничит [Пушкин 1959: 196].

Таким образом, одна из причин, по которой «Стансы» и «Друзьям» Пушкина воспринимаются парным единством и жанровым инвариантом, заключается в том, что в обоих текстах оказывается достигнута предельная концентрация комбинаторных возможностей взаимодействия поэта с властью. Второй немаловажной причиной становится стратегия публичного поведения автора, сопровождающая и многократно усиливающая семантику рассматриваемых текстов. Пушкинский парадигмальный код отношений с властью предполагает обязательное включение в него в качестве равноправно значимого компонента семиотику общественного самопозиционирования поэта, когда факты биографии или ситуативные поведенческие сценарии подвергаются переинтерпретации с точки зрения собственных творческих установок — и «авторская репрезентация художественного произведения в этих условиях как бы приравнивается к некоторому публичному поступку» [Немировский: 5].

Чрезвычайно важным нам представляется то обстоятельство, что написанию обоих стихотворений предшествовал длительный период напряженных исканий Пушкиным новой поэтической идентичности. Решающими для ее обретения оказались годы Михайловской ссылки и написание ключевых для данного периода текстов — «Андрея Шенье» и «Бориса Годунова». Именно в 1825 г. оказался запущен тот «сценарий судьбы», который окончательно переводит Пушкина из разряда «легких» поэтов «арзамасской школы» и «байронического направления» в образ профетически одаренного поэта-пророка. В частности, В. И. Немировский, рассуждая о кардинальных переменах в жизни Пушкина после сентября 1826 г., указывает на то, «<...> какое большое значение поэт придавал своему профетическому дару и насколько важно было для него, в качестве демонстрации этого дара, читать публике не пропущенные цензурой строфы “Шенье”, где поэт предсказал смерть своего гонителя — императора Александра и по поводу каковых Пушкин восклицал: “Я пророк, ей богу, пророк”. Трудно отказаться от мысли, что написанный за два года до разговора с императором Николаем “Воображаемый разговор с императором Александром” также укреплял Пушкина в этом ощущении» [Немировский: 213].

В предельно редуцированном виде регламент взаимодействия с властью, предшествовавший написанию «Стансов» и «Друзьям», может быть сведен к следующим отрефлексированным самим Пушкиным и подвергнутым поэтической аутомифологизации компонентам:

- 1) несправедливая ссылка в Михайловское (см. письмо Пушкина к А. А. Дельвигу от февраля 1826 г.: «Гонимый шесть лет сряду, замаранный по службе выключкою, сосланный в глухую деревню за две строчки перехваченного письма, я, конечно, не мог добродетельствовать покойному царю, хотя и отдавал полную справедливость истинным его достоинствам <...>» [Пушкин 1962: 224];
- 2) написание «пророческого» текста «Андрея Шенье» о скором мятеже и смерти тирана (Александра I);
- 3) сам мятеж, «в кипяток» которого поэт едва не окунулся, но был спасен Провидением против своей воли;
- 4) казнь и ссылка участников беспорядков и подозрения со стороны правительства в соучастии в заговоре;
- 5) личная встреча с новым государем 8 сентября 1826 г. и получение прощения с обещанием не читать публично «предосудительных стихов», т. е. не пропущенных цензурой строф «Андрея Шенье», ходивших в обществе в виде отдельного списка, озаглавленного «На 14 декабря»;
- 6) написание стихотворения «Стансы» с признанием легитимности новой власти;

- 7) отведение упреков в сервеллизме в стихотворении «Друзьям» и обобщение своего статуса в качестве «небом избранного певца», который «языком сердца говорит».

Однако пушкинские «Стансы» своей цели не достигли. Если лояльность Пушкина к новой власти сомнений не вызывала, то встречные действия со стороны ее структур и самого суверена оказались двусмысленными: поэт был выслушан, но «падших» миловать не стали, ссылка закончилась, но разбирательства по делу об «Андрее Шенье» продолжились, и даже дружба, предложенная государем, превратилась в цензурную зависимость от решений гр. А. Х. Бенкендорфа. Эта двусмысленность, порожденная ответными действиями властей, и вызвала необходимость объяснения с друзьями и сообществом, и попытка эта тоже оказалась интерпретирована неверно. Словом, искренние надежды на понимание со стороны общества и власти в полной мере не оправдались: Пушкина заподозрили в двуличии даже всегдашние единомышленники. К их числу принадлежит, например, кн. П. А. Вяземский, сношения с которым из-за написания «Стансов» прервались на полтора года. Кроме того, хорошо известен отзыв Н. М. Языкова о «Стансах» в его письме к брату А. М. Языкову от 20 ноября 1827 г.: «Стансы его слишком холодны» [Летопись: 320], — и его же еще более резкий отзыв о стихотворении «Друзьям»: «Просто дрянь: этими стихами никого не выхвалишь, никому не польстишь» [Эйдельман: 115]. Не остался в стороне и П. А. Катенин, назвав «Стансы» в письме к Н. И. Бахтину от 17 апреля 1828 г. «плутовскими» [Летопись: 372]. Собственно, итоговое разочарование, сменившее первоначальное воодушевление и «исторический оптимизм», также становится неотъемлемым оценочно-смысловым компонентом жанрового инварианта «Стансов». Более того, именно оно вынесено в его конечную, т. е. обладающую повышенной степенью значимости, позицию.

Существенным является и то, что критический момент в жизни Пушкина совпадает с эпохально напряженным моментом в жизни страны, а преодоление личного и исторического «смутного времени» оказывается связано с глубоким переосмыслением положения поэта по отношению к обществу и власти, окончательно закрепленным в стихотворении «Пророк». Именно поэтому «все три стихотворения, предназначавшиеся для публикации в “Московском вестнике” (“Стансы”, “Друзьям” и “Пророк”. — С. К.), образовали некий цельный сюжет о взаимоотношениях Поэта с обществом, властью и Всевышним» [Немировский: 257] и утверждали Пушкина в статусе «небом избранного певца», т. е. главного и единственного Поэта современности.

И здесь получает особую актуализацию еще один важный и едва ли не «провиденциальный» параметр пушкинского жанрового инварианта — его семантические модуляции связаны с образом Москвы как многове-

ковым средоточием государственной власти: в Успенском соборе московского Кремля с 1584 г. осуществлялся обряд венчания на царство всех русских самодержцев. Именно в древнюю столицу будет вызван Пушкин из Михайловской ссылки для аудиенции с государем Николаем Павловичем, которая состоится через 5 дней после коронационных мероприятий 3 сентября 1826 г. Именно в Москву 12 марта 1918 г. будет окончательно перенесена из Петрограда столица большевистского государства, что придаст парадигме отношений русских поэтов XX в. с властью дополнительное, в некотором смысле предопределенное пушкинскими «Стансами», смысловое измерение: сакральный центр новой советской власти топографически совпал с исконным центром русской державности, и его сердцевиной, как и в предшествующие столетия, стал именно Кремль. Вот почему московский контекст «пушкинских» стихотворений Пастернака и Мандельштама воспринимается как общегосударственный, а самоопределение в оценке официальной власти приобретает исключительную социально-политическую значимость. В этом смысле есенинские «Стансы», созданные и впервые опубликованные на дальней периферии культурно-государственного пространства (написаны не позднее 2 октября 1924 г. в Баку, впервые были прочитаны 3 октября там же, а опубликованы в Тифлисе в газете «Заря Востока» за 26 октября того же года; первая публикация в столичном журнале «Красная нива» состоялась только в № 5 за февраль 1925 г.), где тяготение сакрального центра менее ощутимо, не произвели на современников такого ошеломительного эффекта, как «Стансы» Б. Пастернака, опубликованные в майском номере «Нового мира» за 1931 г. В частности, Лидия Гинзбург в дневнике 1932 г. по поводу этих стихов поэта отмечает: «Стихи страшные своей смелостью, с которой он берет на себя ответственность за пушкинские “Стансы”. “Стансы”, опозоренные замалчиванием, оправдыванием, всеми подозрениями, он поднимает на высоту новой политической мысли. Первое отпущение греха, возникшее из глубины нашего опыта. Впервые сострадательная и товарищеская рука коснулась того страстного, остросоциального желания жить, а тем самым оправдывать жизнь, которым так трагичен Пушкин конца 20-х годов» [Кушнер]. В ситуации Мандельштама предыстория написания сначала воронежских, а потом и савёловских «Стансов» напрямую связана с его пребыванием в Москве в ноябре 1933 г., о чем подробнее будет сказано ниже.

Таким образом, «Стансы» как жанровый инвариант предполагают не только реализацию определенной группы художественных смыслов, через которые выражается отношение поэта к своему времени и власти, но и включают в себя *обязательную* модель соответствующего публичного поведения, во-первых, именно в пространстве Москвы как центра средоточия власти и, во-вторых, непременно в качестве главного поэта эпохи — богоизбранного певца-пророка, обладающего исключительным

правом осуществлять легитимацию или дискредитацию образа властителя и существующего государственного порядка. Кроме того, в биографическом подтексте инварианта изначально заложен мотив неоправдавшихся надежд и разочарования в «новой действительности». Сужение этой инвариантной схемы до параметров только гражданской лирики и мотивов примирения с государственным порядком вещей значительно упрощает и обедняет интерпретационный диапазон как самих пушкинских текстов, так и созданных впоследствии на основании данной жанровой конфигурации произведений русских поэтов XX в.

Пушкинский инвариант в «Стансах» О. Э. Мандельштама

Начало 1930-х гг. для поэта ознаменовано выходом из периода пятилетнего лирического молчания. Поездка в Армению дала надежду на открытие «второго поэтического дыхания», однако Мандельштам не покидает чувство оставленности своим читателем. Как справедливо отмечает А. С. Кушнер, «он потерял читателя: его читатель, петербуржец десятых годов, оказался отменен революцией, погиб или очутился в эмиграции. <...> Его темы не созвучны эпохе. Никакой комсомолец — герой современной поэзии — не воспламенится любовью к стихам “С миром державным я был лишь младенчески связан...”». “Египетской маркой” — прозой Мандельштама — тоже. <...> Критика им не интересовалась или называла “насквозь буржуазным поэтом”, а Маяковский, например, по свидетельству Алексея Крученых, в 1929 году сказал: “Жаров наиболее печальное явление в современной поэзии. Он даже хуже, чем Мандельштам”. В 1933 году ленинградский журнал “Звезда” опубликовал “Путешествие в Армению”, разгромленное в “Литературной газете” и “Правде» [Кушнер].

Иными словами, эту ситуацию можно охарактеризовать как утрату собственной поэтической идентичности: если с точки зрения поэтики она была в начале 1930-х г. найдена, то возможность произнесения *общественно значимого* слова для Мандельштама после 1933 г. оказалась категорически исключена. Поэтому, как считает А. С. Кушнер, и «<...> нужен был неслыханный поступок, способный вернуть ему самоуважение и привлечь всеобщее внимание, из “обоза”, из “архива”, из акмеистической лавки древностей вырваться “на передовую линию огня” — произнести самое актуальное слово, сказать в стихах то, о чем все думают, но не смеют заявить вслух, — и сгореть в этом огне» [Кушнер]. Особенно остро почти насильственный отрыв от своего времени и чувство собственной «ущербности» воспринимаются еще и потому, что даже на фоне своих не менее одаренных «провиденциальным зрением» современников — Блока, Гумилева, Ахматовой — Мандельштам отличался исключительной чуткостью к любым вибрациям времени. Достаточно вспомнить, что по-настоящему первым в русской поэзии лирическим откликом на события октябрьского переворота 1917 г. стала не поэма Блока «Двенадцать» (январь 1918 г.),

а мандельштамовское стихотворение «Кассандре», написанное месяцем ранее.

Разумеется, Мандельштам не мог не понимать, что единственным «конкурентом» Поэзии за право произнесения в публичном пространстве такого *авторитетного* слова является Власть: регулярная воспроизводимость этого противостояния давно стала архетипическим сюжетом не только русской, но и мировой изящной словесности. Бережный «переемник» пушкинской традиции, он хорошо знал, что обе эти инстанции единоприродны и генетически восходят к одному и тому же метафизическому источнику. По примеру Державина, Жуковского и Пушкина, Мандельштам отдавал себе также отчет и в том, что окончательная подлинность лирического дарования в русской поэтической практике устанавливается через отношение, в первую очередь, к несправедливой власти — признание или непризнание ее нравственной легитимности, санкционированности свыше. Прекрасно осознавал и то, что положение поэта во внутренней «табели о рангах», в «иерархии дарований» в итоге определяется тем же — способностью произнести такое слово, значимость и непрерываемость которого будет признана даже самой Властью. Симптоматично в этом смысле признание, сделанное Мандельштамом А. А. Ахматовой в феврале 1936 г. в Петровском сквере Воронежа: «Поэзия — это власть <...> раз за поэзию убивают, значит, ей воздают должный почет и уважение, значит, ее боятся, значит, она — власть...» [Мандельштам 1999а: 199–200]. То же Мандельштам говорил тогда С. Б. Рудакову: «Поэтическая мысль вещь страшная, и ее боятся <...> Подлинная поэзия перестраивает жизнь, и ее боятся» [Ежегодник: 68]. Словом, ситуация, в которой оказывается Мандельштам в начале 1930-х гг., отчасти сопоставима с пушкинской середины 1820-х — когда поэт оказывается фактически исключен из литературного процесса на протяжении уже шести лет, а его статус двусмыслен, если не сказать больше — не определен.

Создание воронежских и савёловских «Стансов» Мандельштама имеет важную в контексте наших рассуждений предысторию. В ноябре 1933 г. написано стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны...» — через месяц после получения двухкомнатной квартиры в писательском кооперативном доме в Нащокинском переулке, по поводу которого так неосторожно высказался Пастернак: «Ну вот, теперь и квартира есть — можно писать стихи» [Мандельштам 1999а: 177]. Приступ «ярости» от этих слов (в передаче Н. Я. Мандельштам: «Ты слышала, что он сказал?») [Мандельштам 1999а: 177]) вызван тем, что Мандельштам почувствовал в этот момент принадлежность к разряду «советских писателей». А. С. Кушнер замечает: «Получилось так: свою отверженность, свое изгойство, которыми тоже можно гордиться, будучи замечательным поэтом, противопоставляя их советскому признанию, компенсируя им обиду, он променял на квар-

тиру в писательском доме, уподобился тем, кого презирал» [Кушнер]. Причем текст не просто пишется «в стол». Поражает не столько его гибельное для автора содержание, сколько «самоубийственное» поведение после его написания: Мандельштам *намеренно* не делает из этого текста тайны, не передает его под «страшным секретом» близким и проверенным людям (как поступила Ахматова с «Реквиемом»), а сознательно выносит в «общественное пространство» — чтение двум десяткам слушателей в сталинское время равносильно публичному выступлению. Среди многочисленных возможных причин подобного прилюдного «самоубийственного акта» главной все-таки представляется попытка самореабилитации перед лицом — не читателя, конечно: читателей у этих стихов не могло быть а priori, и даже не литературного сообщества: на внимание и уважение со стороны «советского профсоюза писателей» в подобной ситуации надеяться не приходилось, но перед лицом Поэзии как той высшей инстанции, которая наделяет поэта метафизической властью слова, избирает его своим пророком (или священнослужителем), наделяет его самого духовным авторитетом, а его слова высшей и непререкаемой легитимностью. Иначе говоря, для Мандельштама не столько написание этого стихотворения, сколько именно его публичное чтение становится способом идентификации в качестве главного поэта современности и обличителя несправедливой власти.

Такое поведение находит удивительное по своей точности соответствие с поведением Пушкина в 1826 г. после аудиенции с Николаем I. И. В. Немировский, изучая выбранные поэтом сценарии и стратегии публичного поведения, обращает внимание на один чрезвычайно важный в контексте наших рассуждений факт: общепризнанная и распространяемая самим Пушкиным версия разговора с Николаем сводится к «чудесному помилованию», но умалчивает о том, что речь в нем велась также о неких «предосудительных стихах», распространяемых среди молодежи. Как отмечает Немировский, «разговор с императором Николаем <...> содержал в себе момент оправдания, но Пушкин не рассказывал об этом современникам в своих устных новеллах» [Немировский: 212]. Далее исследователь ссылается на письмо Вяземского А. И. Тургеневу и В. А. Жуковскому из Москвы в Германию от 20 сентября 1826 г. (т. е. написано всего через 12 дней после разговора с государем, а значит, с высокой долей вероятности, содержит в себе еще не редуцированные самим поэтом для «публичного пространства» и устных «новелл» рефлексии после этой встречи), суть которого сводится к следующему: обретенная поэтом в результате разговора с Николаем свобода была следствием данных поэтом объяснений по поводу не пропущенных цензурой строф «Андрея Шень», ходивших в обществе в виде отдельного списка, озаглавленного «На 14 декабря» [Немировский: 212–213]. Но даже после принесенных

государю объяснений и, вероятно, обещания не способствовать распространению «возмутительных» стихов, Пушкин тем не менее читает друзьям и знакомым в октябре-ноябре 1826 г. не пропущенные цензурой строфы как отдельное стихотворение уже после разговора с царем, что и стало поводом для привлечения поэта к следствию об «Андрее Шенье» в начале 1827 г. Причем простой неосторожностью поведение Пушкина спустя всего лишь месяц после столь важного для него разговора с царем объяснить не получается: текст «предосудительных» стихов читался на публике неоднократно. Ближе всего к пониманию подобной стратегии поэтического поведения, как нам кажется, подошел И. В. Немировский: «Из сказанного понятно, какое большое значение поэт придавал своему пророческому дару» [Немировский: 213]. Другими словами, Пушкин создает прецедентную схему особого публичного поведения, которая, несмотря на систему официальных запретов, призвана позиционировать себя в публичном пространстве как поэта-пророка, обладающего «божественным даром», идентифицировать себя в качестве «божественного певца», т. е. той властной инстанции, которая в соответствии с архетипической схемой придает его текстам метафизическую авторитетность.

В контексте этой аналогии «самоубийственный акт» Мандельштама не может восприниматься как проявление отчаяния или подступающего безумия. Напротив, он выглядит сознательно выбранной стратегией именно пророческого, а не литературного, поведения по аналогии с Пушкиным. В этом смысле слова, произнесенные Мандельштаму Пастернаком, оказываются изумительно точны: «То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт» [Кушнер]. К поэзии, уточним, в пастернаковском ее понимании («Стихотворение относительно прозы — это то же, что этюд относительно картины. Поэзия мне представляется большим литературным этюдом») [Пастернак]), но не мандельштамовском, где «поэзия — это власть, если за нее убивают». В подобной системе координат поэзия, действительно, такой же «не литературный факт», как и власть, но зато факт бытийный, онтологический, утверждающий особый статус поэта не в словесности как таковой, а в мироздании в целом. Осознанная аналогия с пушкинскими стратегиями поведения в этом поворотном моменте мандельштамовской биографии находит убедительное подтверждение и в наблюдениях И. З. Сурат над другими эпизодами жизни поэта: «Путешествие в Армению» и «Путешествие в Арзрум» «<...> неслучайным образом оказываются родственны во многих отношениях — для Мандельштама путешествие на Кавказ было в немалой степени сознательным последованием Пушкину и в биографическом плане, и в творческом» [Сурат 2018]. Равно как и «когда воронежской зимой 1937 года Мандельштам пишет:

“Куда мне деться в этом январе?”, он осознанно отсылает читателя к январю тому, столетней давности, когда развивалась трагедия, приведшая Пушкина к гибели» [Сурат 2018].

Находит своеобразные смысловые параллели в судьбе Мандельштама и пушкинский мотив чудесного, едва ли не сказочного помилования властителем, когда ссылка в Чердынь была заменена мягким вариантом наказания с правом выбора места его отбывания, да еще и в сопровождении супруги. Думается, именно в этой связи в стихотворении «День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...» появляются фольклорные мотивы «сухонятной русской сказки»: «Тема сказки и сказочного чуда возникает в этих стихах неслучайно — мягкий исход следствия, ссылка в Чердынь и последующая жизнь в Воронеже воспринимались Мандельштамами как чудо, как высочайшая милость взамен расстрела» [Сурат 2009: 199]. Аналогия с судьбой Пушкина усиливается в этом эпизоде биографии Мандельштама еще и образом неизбежно ожидаемой казни. Напомним, что поэту XIX в. весна и лето 1826 г. внушали очень серьезные опасения быть привлеченным к судопроизводству по делу декабристов. Так, 10 июля Пушкин писал П. А. Вяземскому: «Если б я был потребован комиссией, то я бы конечно оправдался, но меня оставили в покое, и кажется это не к добру» [Пушкин 1962: 236]. Ожидание самых тягостных последствий разбирательства нашло отражение и в рукописях поэта. Безусловно, Мандельштам не мог не знать о рефлексиях Пушкина о возможной казни и рисунке виселицы с шестью повешенными, сопровождаемом дважды начатой, но не завершенной поэтом стихотворной строкой «И я бы мог...» из так называемой третьей масонской тетради: первым правильно ее прочел и опубликовал фототипическое изображение С. А. Венгеров в Собрании сочинений Пушкина в издании Брокгауза-Ефрона еще в 1908 г. Не могло быть незнакомо Мандельштаму и приписываемое Пушкину легендарное четверостишие из предполагаемого обличительного цикла стихотворений под общим названием «Пророк», который Пушкин якобы намеревался «швырнуть» в лицо Николаю Павловичу при личной встрече в случае своего ареста в Москве:

Восстань, восстань, пророк России,
Позорной ризой облекись
Иди — и с вервием на выи и пр. [Пятковский: 674].

Для нас сейчас не являются принципиально важными конъектуры прочтения последней строки или атрибуция фрагмента в целом. Существенно то, что авторство этих строк приписывалось Пушкину во многом благодаря общему контекстуальному ассоциативному ряду, образуя некое «общее место» московской пушкинской мифологии. Для нас важным оказыва-

ется обыгрывание в этих источниках мотива собственной казни, который находит аналогию в поэтическом мифотворчестве самого Мандельштама.

О том, что поэт очень хорошо представлял себе именно смертельные последствия публичного чтения стихов «Мы живем, под собою не чуя страны...» и готовил себя к худшему, свидетельствуют воспоминания А. А. Ахматовой: «Мы шли по Пречистенке (февраль 1934 г.), о чем говорили — не помню. Свернули на Гоголевский бульвар, и Осип сказал: “Я к смерти готов”» [Ахматова: 40]. То мужество, с которым он встретил майский арест 1934 г., подтверждает эту готовность: «Следователь при мне нашел “Волка” и показал Осипу Эмильевичу. Он молча кивнул. Прощаясь, поцеловал меня. Его увели в 7 утра» [Ахматова: 43].

Думается, именно эта отчетливая параллель с судьбой Пушкина, круто изменившейся после высочайшего помилования в сентябре 1826 г., пронзительность «ясной догадки» о переключке с судьбой «главного опального поэта» понуждают Мандельштама в том же стихотворении «День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...» к единственной прямой во всем его творчестве отсылке к образу Пушкина, где, вопреки мандельштамовскому сакральному отношению к его имени, он назван по фамилии: «Пушкина чудный товар» [Мандельштам 1994: 93]. Разумеется, такое «сказочное» помилование от властителя-соименника не может не вызывать благодарности, поскольку под знаком искренней признательности в подобной жизненной ситуации выстраивались отношения Пушкина с новым царем. В записке управляющего Е. И. В. канцелярии М. Я. фон Фока, осуществлявшего личный надзор за А. С. Пушкиным, зафиксировано высказывание поэта на одном из литературных вечеров в октябре 1827 г.: «Меня должно прозвать или Николаевым, или Николаевичем, ибо без него я бы не жил. Он дал мне жизнь, и, что гораздо более, — свободу: виват!» [Разговоры: 98]. Подобное же обыгрывание своего сыновства по отношению к властителю, как и мотив возвращения блудного сына под родительский кров, встречается впоследствии и у Мандельштама в так называемой «Оде» («Когда б я уголь взял для высшей похвалы...», 1937), адресованной Сталину: «...вдруг узнаешь отца / И задыхаешься, почуяв мира близость <...> Не огорчить отца / Недобрым образом иль мыслей недобором» [Мандельштам 1994: 112–113]. Разумеется, подобная глубинная идентичность жизненных обстоятельств способствует разворачиванию Мандельштамом продолжения «пушкинского сценария» — написанию воронежских «Стансов», работа над которыми начинается практически синхронно с окончанием стихотворения «День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...» — в мае 1935 г.

Пушкин в этой ситуации выступает не просто способом оправдания действительности, на что совершенно справедливо указывает И. З. Сурат: «Если Пушкину есть место в этой жизни, то и самому поэту найдется в ней

место. Пушкин объединяет поэта с его доброжелательными конвоирами и помогает примириться с выпавшей на его долю эпохой. В произведениях Мандельштама 1935 года можно найти еще несколько подобных случаев “оправдания Пушкиным”, контрастного совмещения советской реальности с отсылками к Пушкину» [Сурат 2009: 204–205], — не только «<...> призван как авторитет, как исторический и поэтический прецедент лояльности, к которой так стремится теперь Мандельштам <...>» [Сурат: 2009: 246–247]. Автор воронежских «Стансов», как представляется, на глубинном уровне воспроизводит сценарии *и литературного, и жизненного* поведения Пушкина. Во всяком случае биографические аналогии с «главным русским поэтом», по нашим наблюдениям, в этот период предшествуют литературным аллюзиям на пушкинские тексты, а может быть, и предопределяют их, придавая стихотворениям дополнительное — «четвертое», по выражению самого поэта, смысловое измерение.

Подобие с пушкинским инвариантом угадывается и в безуспешной попытке опубликовать «Стансы» непременно в Москве. Находящейся в столице супруге 25–26 мая 1935 г. Мандельштам отправляет автографы нескольких стихотворений, предназначавшихся к печати: «Мне кажется, мы говорить должны...», «День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...», «Идут года железными полками...», «Еще мы жизнью полны в высшей мере...» и «Мир должно в черном теле брать...» [Мандельштам 1999б: 158]. А через письмо (конец мая 1935 г.) в срочном порядке просит: «К “подборке” прибавь “Стансы” плюс “Железо”. Выясни печатание. Для Москвы условие: все или ничего. Широкий показ цикла. Хорошо бы в Литгазете. Все варианты окончательные. Только в начале Стансов могут быть изменения, но давай так. Мне сейчас необходима прямая литературная связь с Москвой» [Мандельштам 1999б: 159].

На первый взгляд, это желание кажется странным: Мандельштам, «кровно» и культурно связанный с Петербургом, казалось бы, мог в первую очередь рассчитывать на публикацию или хотя бы благосклонное внимание редакторов именно в городе на Неве. Как пишет в «Листках из дневника» А. А. Ахматова, «<...> в то время (1933 г.) Осипа Эмильевича встречали в Ленинграде как великого поэта, *persona grata* и т. п., к нему в Европейскую гостиницу на поклон пошел весь литературный Ленинград: Тынянов, Эйхенбаум, Гуковский (Григорий Александрович Гуковский был у Мандельштамов в Москве) и его приезд и вечера были событием, о котором вспоминали много лет и вспоминают еще и сейчас (1962 год)» [Ахматова: 38]. Если в «младшей столице» его еще продолжали любить и помнить, то «<...> в Москве Мандельштама никто не хотел знать, и, кроме двух-трех молодых ученых-естественников, Осип Эмильевич ни с кем не дружил. (Знакомство с Белым было коктебельского происхождения). Пастернак как-то мялся, уклонялся, любил только грузин

и их “красавиц жен”. Союзное начальство вело себя подозрительно и сдержанно» [Ахматова: 39]. Однако, как отмечает И. З. Сурат, еще «с 1931 года Петербург окончательно уходит в прошлое для Мандельштама, настоящее теперь прочно связано с Москвой, и все его попытки найти себе место в советской жизни привязаны к Москве (“Полночь в Москве”, “Еще далеко мне до патриарха...”, “Сегодня можно снять декалькомани...”, 1931, “Стансы”, 1935)» [Сурат 2009: 87].

Конечно, стремление опубликоваться именно в «непотребной столице» Евразии продиктовано соображениями общественно-политическими: только в «эпицентре государственной власти» произнесенное слово сможет обладать высшей авторитетностью. Отсюда, думается, проистекает и та категоричность, с которой даются письменные инструкции Н. Я. Мандельштам: «Для Москвы условие: *все* или ничего» [Мандельштам 1999б: 159]. Однако нельзя не учитывать и столь важную для поэта пушкинскую аналогию, связанную со «Стансами»: не прожив после освобождения из Михайловской ссылки в Москве и года, Пушкин «спасается бегством» в доброжелательный к нему Петербург, но стихотворения «В надежде славы и добра...», «Друзьям» и «Пророк» готовил к публикации в «Московском вестнике» во враждебной к нему «старшей столице».

В воронежский период, после отложенной, по мнению самого поэта, казни, в его стихах гораздо отчетливее, чем прежде, начинают звучать и профетические мотивы. В частности, в тех же «Стансах» 1935 г. в несколько неожиданном газетно-идеологическом контексте возникает аллюзия к пушкинскому «Пророку»: «Я слышу в Арктике машин советских стук...» [Мандельштам 1994: 96]. «Последний стих, — по наблюдениям И. З. Сурат, — заставляет вспомнить о тайнослышании, данном пушкинскому пророку — “И внял я неба содроганье, / И горний ангелов полет, / И гад морских подводный ход, / И дольней лозы прозябанье...”» [Сурат 2009: 253]. Однако в полной мере эта провиденциальная лирическая способность Мандельштама даст о себе знать в произведениях 1937 г.: сначала он предугадывает собственную безымянную смерть в «Оде» («Уходят вдаль людских голов бугры: / Я уменьшаюсь там, меня уж не заметят» [Мандельштам 1994: 114], провидчески указывает на место, где она случится, в стихотворении «Я в львиный ров и в крепость погружен...» (начало стихотворения адресует нас не только к образу ветхозаветного пророка Даниила, брошенного царем Дарием на 6 дней в ров с голодными львами, но и содержит описание одного из вероятных мест захоронения поэта — старого *крепостного рва* вдоль речки Саперки), а затем предупреждает об ужасах грядущей общечеловеческой «бойни» в «Стихах о неизвестном солдате».

Если у Пушкина поворотным моментом биографии становится аудиенция у государя, инициированная — что для нас особенно важно! — по-

следним, а эквивалентом «встречи с властителем» у Пастернака является телефонный разговор со Сталиным, то в случае с Мандельштамом ни встречи, ни телефонного разговора не произошло, но инвариантная схема ее предполагает — схема, в полной мере реализованная Пушкиным, схема, в соответствии с которой Мандельштам 30-х гг., особенно после написания стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны...», выстраивает стратегии своего жизненного и поэтического поведения и, смею предположить, надеется на встречу со Сталиным (или хотя бы телефонный разговор с ним, как в случае с Пастернаком). Отсюда, думается, и настойчивые мотивы «сокращения дистанции с вождем», особенно в годовщину столетия смерти Пушкина — в январе-феврале 1937 г. В стихотворении «Средь народного шума и спеха...» Мандельштам гипотетически представляет едва ли не чудесное проникновение в святая святых для личной покаянной беседы со Сталиным (что не может не вызывать аналогии с фактом пушкинской биографии: аудиенции в Чудовом монастыре Кремля между Николаем Павловичем и Пушкиным):

И к нему, в его сердцевину
Я без пропуска в Кремль вошел,
Разорвав расстояний холстину,
Головою повинной тяжел [Мандельштам 1994: 118].

Здесь же, в подтексте, реализуется еще один комплекс переживаний, связывающий прочной аналогией образы Мандельштама и Пушкина, — комплекс вины и искреннего раскаяния. В «Оде» этот мотив «сближения» будет актуализирован через образ близнечной связи с властителем.

После окончания воронежской ссылки в 130 км от Москвы в начале июля 1937 г. пишутся савёловские «Стансы», где «дорога к Сталину» оказывается уже настолько трудной, что надежда на «аудиенцию» у «августейшей особы» оказывается все призрачней даже для самых ярых сталинистов:

И ты прорвешься, может статься,
Сквозь чащу прозвищ и имен
И будешь сталинкою зваться
У самых будущих времен... [Мандельштам 1994: 142].

«Сквозь чащу прозвищ и имен» Мандельштаму прорваться уже не было суждено: это стихотворение, собственно, знаменует окончательный отказ от надежд на личную встречу или хотя бы разговор с вождем — больше этот диалог с властью не возобновлялся. Разговор с Пушкиным — тоже.

Выводы. На основе прецедентных текстов А. С. Пушкина «Стансы» («В надежде славы и добра...») и «Друзьям» в статье реконструирована

инвариантная схема данной жанровой разновидности как модель отношений поэта к власти и современности. В качестве парадигмальных структур рассмотрены не только внутритекстовые смысловые связи, но и сценарии публичного поведения поэта в московском локусе как «эпицентре власти». Столетие спустя свои отношения с современностью в соответствии с этим жанровым инвариантом выстраивает О. Мандельштам. Распределение ключевых смыслов и оценок осуществляется им в рамках исходной пушкинской парадигмы — не только художественной, но и поведенческой, что свидетельствует о сознательном позиционировании себя в публичном идеологическом и государственном пространстве в качестве преемника Пушкина.

Литература

Ахматова А. А. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 5: Биографическая проза. Pro domo sua. Рецензии. Интервью. Москва: Эллис Лак, 2001. 800 с.

Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1993 год. Материалы об О. Э. Мандельштаме / Отв. ред. Т. С. Царькова. Санкт-Петербург: Академический проект, 1997. 407 с.

Калашников С. Б. Метасюжет «поэт vs государь» в «Борисе Годунове» А. С. Пушкина // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Сер.: Филологические науки. 2012. № 2. С. 126–129.

Калашников С. Б. Сюжеты распознавания истинного и ложного царя в творчестве А. С. Пушкина 1824–1826 годов // Пушкинские чтения — 2018. Художественные стратегии классической и новой словесности: жанр, автор, текст: Материалы XXIII Междунар. науч. конф. Санкт-Петербург: ЛГУ, 2018. С. 9–19.

Кушнер А. С. «Это не литературный факт, а самоубийство» // Новый мир. 2005. № 7. С. 132–146 URL: https://magazines.gorky.media/novyi_mi/2005/7/eto-ne-literaturnyj-fakt-a-samoubijstvo.html.

Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина: В 4 т. Т. 2. Москва: Слово/Slovo, 1999. 544 с.

Мандельштам Н. Я. Воспоминания. Москва: Согласие, 1999. 552 с.

Мандельштам О. Э. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 3: Стихотворения. Проза. Москва: Арт-Бизнес-Центр, 1994. 527 с.

Мандельштам О. Э. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4: Письма. Москва: Арт-Бизнес-Центр, 1999. 607 с.

Михайлова Н. И. О стихотворении Пушкина «Стансы» («В надежде славы и добра...») и «Друзьям» // Известия РАН. Сер. литературы и языка. 2009. № 3. С. 31–35.

Немировский И. В. Творчество Пушкина и проблема публичного поведения поэта. Санкт-Петербург: Гиперион, 2003. 352 с.

Пастернак Е. Б. Борис Пастернак. Биография URL: http://russofile.ru/articles/article_77.php.

Проскурин О. А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. Москва: Новое литературное обозрение, 1999. 462 с.

Пушкин А. С. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 2. Москва: Гослитиздат, 1959. 799 с.

Пушкин А. С. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 9. Москва: Гослитиздат, 1962. 495 с.

Пяткин С. Н. Стансы как диалог с властью: Пушкин, Есенин, Мандельштам // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 8 (38): В 2 ч. Ч. I. С. 152–156.

Пятковский А. П. Пушкин в Кремлевском дворце в 1826 г. // Русская старина. 1880. Т. 27. С. 673–675.

Разговоры Пушкина: Репринт, воспроизведение изд. 1929 г. Москва: Политиздат, 1991. 318 с.

Сурат И. З. Два путешествия: Мандельштам и Пушкин // Урал. 2018. № 7. С. 195–215 URL: <https://magazines.gorky.media/ural/2018/7/dva-puteshestviya-mandelsham-i-pushkin.html>.

Сурат И. З. Мандельштам и Пушкин. Москва: ИМЛИ РАН, 2009. 384 с.

Эйдельман Н. Пушкин. История и современность в художественном сознании поэта. Москва: Сов. писатель, 1984. 368 с.

References

Akhmatova A. A. Sbranie sochinenij: V 6 t. T. 5: Biograficheskaya proza. Pro domo sua. Recenzii. Interv'yu. Moskva: Ellis Lak, 2001. 800 s.

Ezhegodnik Rukopisnogo otdela Pushkinskogo Doma na 1993 god. Materialy ob O. E. Mandel'shtame / Otv. red. T. S. Czar'kova. Sankt-Peterburg: Akademicheskij proekt, 1997. 407 s.

Kalashnikov S. B. Metasyuzhet “poet vs gosudar” v “Borise Godunove” A. S. Pushkina // Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Ser.: Filologicheskie nauki. 2012. № 2. S. 126–129.

Kalashnikov S. B. Syuzhety raspoznavaniya istinnogo i lozhnogo czarya v tvorchestve A. S. Pushkina 1824–1826 godov // Pushkinskie chteniya — 2018. Khudozhestvennye strategii klassicheskoy i novoj slovesnosti: zhanr, avtor, tekst: Materialy XXIII Mezhdunar. nauch. konf. Sankt-Peterburg: LGU, 2018. S. 9–19.

Kushner A. S. “Eto ne literaturnyj fakt, a samoubijstvo” // Novyj mir. 2005. № 7. S. 132–146 URL: https://magazines.gorky.media/novyi_mi/2005/7/eto-ne-literaturnyj-fakt-a-samoubijstvo.html.

Letopis' zhizni i tvorchestva A. S. Pushkina: V 4 t. T. 2. Moskva: Slovo/Slovo, 1999. 544 s.

Mandel'shtam N. Ya. Vospominaniya. Moskva: Soglasie, 1999. 552 s.

Mandel'shtam O. E. Sbranie sochinenij: V 4 t. T. 3: Stikhotvoreniya. Proza. Moskva: Art-Biznes-Centr, 1994. 527 s.

Mandel'shtam O. E. Sbranie sochinenij: V 4 t. T. 4: Pis'ma. Moskva: Art-Biznes-Centr, 1999. 607 s.

Mikhajlova N. I. O stikhotvorenii Pushkina "Stansy" ("V nadezhde slavy i dobra...") i "Druz'yam" // *Izvestiya RAN. Ser. literatury i yazyka.* 2009. № 3. S. 31–35.

Nemirovskij I. V. Tvorchestvo Pushkina i problema publichnogo povedeniya poeta. Sankt-Peterburg: Giperion, 2003. 352 s.

Pasternak E. B. Boris Pasternak. Biografiya URL: http://russofile.ru/articles/article_77.php.

Proskurin O. A. Poeziya Pushkina, ili Podvizhnyj palimpsest. Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie, 1999. 462 s.

Pushkin A. S. Sbranie sochinenij: V 10 t. T. 2. Moskva: Goslitizdat, 1959. 799 s.

Pushkin A. S. Sbranie sochinenij: V 10 t. T. 9. Moskva: Goslitizdat, 1962. 495 s.

Pyatkin S. N. Stansy kak dialog s vlast'yu: Pushkin, Esenin, Mandel'shtam // *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki.* Tambov: Gramota, 2014. № 8 (38): V 2 ch. Ch. I. S. 152–156.

Pyatkovskij A. P. Pushkin v Kremlyovskom dvorce v 1826 g. // *Russkaya starina.* 1880. T. 27. S. 673–675.

Razgovory Pushkina: Reprint, vosproizvedenie izd. 1929 g. Moskva: Politizdat, 1991. 318 s.

Surat I. Z. Dva puteshestviya: Mandel'shtam i Pushkin // *Ural.* 2018. № 7. S. 195–215 URL: <https://magazines.gorky.media/ural/2018/7/dva-puteshestviya-mandelsham-i-pushkin.html>.

Surat I. Z. Mandel'shtam i Pushkin. Moskva: IMLI RAN, 2009. 384 s.

Ejdel'man N. Pushkin. Istoriya i sovremennost' v khudozhestvennom soznanii poeta. Moskva: Sov. pisatel', 1984. 368 s.

Сведения об авторе: Сергей Борисович Калашников; кандидат филологических наук; доцент; Московский городской педагогический университет; доцент кафедры русской литературы института гуманитарных наук; ORCID 0000-0002-9521-476X; sergeyk34@gmail.com; сфера научных интересов: русская поэзия XVIII–XXI вв.

The author's profile: Sergei Borisovich Kalashnikov; Candidate of Philology; Associate Professor; Moscow City University; Associate Professor at the Russian Literature Department of the Institute of Humanities; ORCID 0000-0002-9521-476X; sergeyk34@gmail.com; research interests: Russian poetry of 18–21 centuries.

УДК 821.161.1.09"1992/..."
DOI: 10.25688/2619-0656.2020.14.03

«ПИКОВАЯ ДАМА» Л.Е. УЛИЦКОЙ КАК ПАЛИМПСЕСТ ПУШКИНСКОЙ ПОВЕСТИ

L. E. ULITSKAYA'S THE QUEEN OF SPADES AS THE PALIMPSEST OF PUSHKIN'S SHORT STORY

Ангелика Молнар
Дебреценский университет,
Дебрецен, Венгрия

Angelika Molnar
University of Debrecen,
Debrecen, Hungary

Аннотация

В рассказе «Пиковая Дама» Л. Е. Улицкая решительно изменяет как образы героев, сюжет и приемы повествования, так и метафорический план знаменитой повести А. С. Пушкина «Пиковая дама». В отличие от классика, современная писательница использует больше зооморфных образов, создавая на их основе метафоры, которые по-новому освещают основной конфликт. Из этого следует, что в «Пиковой Даме» Улицкой метафорические образы являются не только новой составляющей переосмысления классического литературного текста, но также компонентом перенесения смыслового акцента с пушкинского «случая» на вопросы «женской судьбы».

Ключевые слова: Л. Е. Улицкая, А. С. Пушкин, «Пиковая Дама», сюжет, герои, метафоры, зооморфные образы.

Abstract

“The Queen of Spades” by Alexander Pushkin opens a number of Russian novels on the theme of Napoleonism, card game, chance and fate. In Pushkin’s “The Queen of Spades” lack of money at the beginning and no hope of getting it could have caused a change of Hermann’s “Napoleonian” worldview, but the failure to implement the necessary shift both in his thinking and in his language, leads to his complete collapse and symbolic death. This paper discusses only a few aspects of the intertextual connection between the two versions of “The Queen of Spades”. Intertextual techniques allow us to come closer to both a new understanding of Pushkin’s story and an interpretation

of that story by Ulitskaya. The artistic language of the postmodern Russian prose works is defined not only by stylistic and other features, or by the complete absence of traditional poetic means. As it turns out from this analysis, the theme problems appear to be also somewhat different in the modern interpretation of the classical story.

This paper demonstrates the way Lyudmila Ulitskaya, in the short story “The Queen of Spades”, decisively changes both the images of the characters, the plot and narrative, and the metaphorical plan of Pushkin’s short novel “The Queen of Spades”. Unlike the classic author, the modern writer uses more zoomorphic images, creating linguistic and semantic metaphors that demonstrate the present crisis situation in a new way. The images of cats and birds play an important role in demonstrating the relationship between predators and their victims, and in particular in uncovering an unsuccessful revolt against such a world order. It also follows that in Ulitskaya’s “The Queen of Spades” the zoomorphic images are not only new components of rethinking the classical literary text, but also components for transferring the semantic accent from Pushkin’s “fate” to the questions of “women’s life”. So not only the plot of the short novel is changed, but other components of the original text’s poetic system are transformed in the postmodern text.

Key words: Ulitskaya, Pushkin, “The Queen of Spades”, plot, characters, metaphors, animals.

Введение

Целью статьи является раскрытие интертекстуальных приемов, которые позволяют приблизиться к новой интерпретации повести А. С. Пушкина «Пиковая дама» в рассказе Л. Е. Улицкой «Пиковая Дама».

Методология. Повесть А. С. Пушкина «Пиковая дама» посвящена нескольким темам: наполеонизма как духовного явления, карточной игры, случая и судьбы. Произведение исследуется, с одной стороны, через призму этих аспектов [Артамонова; Лотман 1995; Черняев], а с другой — ее художественной и, в частности, стилиевой специфики [Виноградов; Виролайнен; Яворник]. Изучаются особенности фантастики [Виноградов; которой исследователи уже обращались [Евстратов; Муравьева]. В научной литературе рассматривались интертекстуальные связи классического произведения с рассказом Л. Е. Улицкой «Пиковая Дама» [Волкова; Вуколова; Шукина], ибо изменяется не только заглавие повести (Дама — с заглавной буквы), но подвергаются трансформации и другие компоненты поэтической системы пушкинского текста [Баранова; Черенкова; Юхнова]. Изучается и метафорический план рассказа [Молнар, Николина]. В «Пиковой даме» Пушкина первоначальное отсутствие денег и перспективы получения их могли бы вызвать смену «наполеоновской» установки героя Германна, однако отсутствие изменений как в его мыш-

лении, так и в языке приводит героя к полному крушению и символической смерти [Побивайло; Шольц].

Материал исследования. Рассказ Л. Е. Улицкой «Пиковая Дама» представляет особый интерес по всем отмеченным аспектам. В нем имеется вариация пушкинского сюжета и поведения героя в кризисной ситуации, которая требует пересечения границ разного характера: нравственных, личностных, физических. Рассмотрим далее, происходит ли в этом плане «сюжетное событие» [Лотман 1970: 282] или «осмысление опыта» [Бахтин: 78] у Улицкой. Смена структуры пространства и поступок субъекта предполагают развитие личности, а параллельная трансформация поэтического слова [Потебня] открывает ряд метафоризаций в литературном тексте. Пограничное положение в сюжете обозначает и кризис наррации, порождающий в т. н. анарративных отступлениях и новое знакообразование, т. е. создание языковых и семантических метафор, по-новому освещающих экзистенциальные вопросы [Ковач].

Особую роль в обоих рассматриваемых нами произведениях играют анарративные отступления, в которых обращается внимание на тропы, создающие новые значения. Особые метафоры трансформируются на уровне действия в тематические единицы (см. далее «снегопад»), призывая к интерпретации, диалогу между текстом и читателем. Следовательно, метафоризация в литературе не ведет к познанию мира, а только выводит на экзистенциальные вопросы.

Классическое произведение оживляется с помощью переосмыслений, в которые закладываются и актуальные для сегодняшнего дня проблемы. В результате предпринятого сопоставительного анализа раскрываются общее и различное между произведениями Пушкина и Улицкой, в том числе в сюжете, мотивах и деталях, а также в характеристике героев и игре с их именами. Особо выделяются мотивные образы кошки и птиц, которые играют важную роль в демонстрации соотношения хищников и их жертв в фигурах женщин и, в частности, в раскрытии безуспешности бунта против такого миропорядка.

Основная часть

Мур — Пиковая Дама — Кошка

В рассказе Улицкой «Пиковая Дама» эксплицируется сдвиг в наименовании героинь и в самих их образах: нелюбимая матерью дочь именуется Анной Федоровной и умирает. У Пушкина же имя графини *Анна Федотовна*, что созвучно с именем и отчеством героини современного рассказа. Более того, Анна Федоровна обслуживает свою мать, как и сестры Мур Бата и Эва, словно три служанки — графиню в повести Пушкина. Мур никогда не забывает упрекнуть свою дочь в том, что она была нежеланным существом, словно приемная дочь, которая стала необходима только сейчас, ибо служит ей. Во всех составляющих образа старухи можно наблю-

дать связь с пушкинской графиней. У последней имеется еще одна «чертовская», inferнальная, привычка: она нюхает табак. В отличие от Мур, пушкинская графиня не высмеивает своих умерших ровесниц, боится пьяных и возмущается современными нравами. Это выясняется из ее отношения к новым романам. К тому же ее капризы объясняются как этими причинами, так и возрастом.

Сходство между «пиковыми дамами» в том, что они не только эгоистичны, но и живут прошлым. Старуха Улицкой красится и позирует, как в молодости, в то время как у Пушкина графиня становится менее искусственной и более привлекательной, раздеваясь, освобождаясь от нарядов. Мур неоднократно хвастается тем, что на пике своей популярности она блистала в кругу артистов и художников, являясь их моделью. Имя Мур заставляет вспомнить о Серебряном веке или же о блатном мире с популярной там песней «Мурка». Несмотря на жалость к ней со стороны Анны Федоровны, Мур не вызывает настоящего сочувствия, в отличие от жалобно мяукающей кошки Мурки в символистском романе А. М. Ремизова «Крестовые сестры». Ее фигура словно уподобляется в тексте модернистской картине. Отсылка к Серебряному веку тем не менее не предполагает ассоциации с «Прекрасной Дамой» — с заглавной буквы, как у символистов. Поза с абсентом коннотирует скорее образ алкоголички, отражая старость и пустоту жизни Пиковой Дамы Улицкой. Таким же художественным средством присвоения реальности фиктивному рассказу становится критика Мур «лживых воспоминаний», которые она читает. В этом также можно усмотреть перенятый у Пушкина прием, ибо упомянутые в его повести картины Лебрена, по всей видимости, изображают молодую графиню. При этом упоминается и Сен-Жермен, с которым она будто бы была лично знакома.

Возможно, обворожительность личности Мур заключается в ее необыкновенном уме, который также представлен посредством развернутой метафоры, относящейся к воспоминаниям героини, словно тематизирующимся в предмете ее чтения. Перечисление «круги, восьмерки, петли», характеризующее ее мысли, напоминает ряд карт «тройка, семерка, туз» в «Пиковой даме» Пушкина, приводящий к фатальной ошибке Германна. Герой старается разгадать тайну карт графини, а Анна Федоровна у Улицкой — тайну мыслей Мур. Она «билась над этой загадкой» [Улицкая: 94], т. е. она всю жизнь пыталась разрешить, в чем заключается обаяние ее матери, перед которым в период ее молодости ни один мужчина не мог устоять. Таким образом, и сексуальность Мур является тайной.

Анна Федоровна вышла замуж за человека, который сумел отказать в этом Мур. По этой причине ей становится обидно, когда ее дочь Катя ведет себя так же, как и Мур, по возвращении Марека. В связи с Катей употребляется тот же самый глагол, что и в связи с Мур: «мурлыкать»,

т. е. проводится сопоставление с кошкой. К тому же Анне Федоровне кажется, что ее дочь можно сравнить и с другим животным — коровой, которая нежно поддается обаянию своего отца: «Катю он держал за плечо, не отпуская, и она млела под рукой, как корова» [Улицкая: 119]. «Но, самое обидное, Катя ходила с дураковатой улыбочкой и даже немного подмурлыкивала, в точности как ее бабушка...» [Улицкая: 130].

Зооморфные аналогии устанавливаются Анной Федоровной. Это через ее восприятие можно увидеть пожилую героиню Мур, демонстрирующую жеманные манеры любовницы, которые противоестественны ее возрасту: акцентируется ее мурлыкающий голос, глаза и прямая осанка, а затем и собирательный образ «тигрица на охоте», который становится главной метафорой ее фигуры. При этом подчеркивается хищнический, неласковый характер крупной кошки, а семантический оттенок материнства вовсе исключается (ср. тигрица как мать): «<...> голос на октаву ниже, чем обычно, мурлыкающий, глаза как будто на два размера шире, спина прямой, если это только возможно. Тигрица на охоте <...>» [Улицкая: 135–136].

В то время как современная Пиковая Дама определена как тигрица, у Пушкина тигром назван Германн, выжидающий лучший момент для нападения на графиню. Поведение графини в молодости может напоминать «светскую львицу», как у героини Улицкой, однако последняя со своим целеустремленным и смертоносным характером похожа скорее на Германна. Это проявляется и в том, как она старается очаровать своего зятя. Марек оказывает такое же большое влияние на свою семью, оторванную от него тещей, какую Мур некогда оказывала на мужчин. Обаянием (или скорее богатством) герой не обходит и Мур, однако это неосознанное влияние: «Марек же сидел с туманной улыбкой» [Улицкая: 136]. К тому же он умеет обращаться с Мур вежливо, но холодно. Ее жесты иронически высмеиваются, т. к. — при всей ее уверенности в обратном — они на Марека явно не действуют.

Марек — Германн — Снег

Бывший муж Анны Федоровны имеет польские корни и носит польское имя *Марек*, точно так же, как и происхождение Мур — Марии, «<...> урожденной панны Чарнецкой, родившейся в одном из полуголических узких домов Старого Места, и внука аптекаря с Крохмальной, всему миру известной по разным причинам еврейской улицы Варшавы» [Улицкая: 116]. Даже фонетический состав этих имен аналогичен. Видимо, ради такой общности и было необходимо Улицкой показать польское и еврейское происхождение героини (Старое Место, Крохмальна, Варшава). Дед Мур — лекарь, ее муж — врач, врачами становятся также ее дочь и зять. Она единственное исключение в семье, ибо она одна не спасает жизнь людей и не помогает им. Девичья же фамилия «Чар-

нецка» по-русски напоминает черный цвет, что также тематизируется в ее фигуре.

В повести Пушкина, согласно вставной легенде, графиня выручает Чаплицкого (ср. также созвучие имени с — Чарнецкой), который, однако, не следует ее советам и растрчивает свое богатство. Надежды Германна на богатство рушатся у игрока Чекалинского, звучание имени которого также входит в данный ряд. Его фигура в некоторых чертах воспроизводится в образе Марек: он вежлив, у него седые волосы и добрая улыбка. Между Германном и Марек, однако, мы не обнаруживаем таких сходств. У Пушкина разоблачается романтически дьявольский образ Германна: наполеоновская поза, расчетливость, черные глаза. О нем говорят другие персонажи в повести, как об имеющем «мэфистофельскую душу» и совершившем три греха. На самом деле он по сути своей игрок, поэтому и верит в сплетню о счастливых картах так сильно, что готов по-настоящему совершить грехи, только бы разбогатеть.

В плане метафорического диалога текстов выделяется следующая картина. В повести Пушкина погода в роковую ночь страшна: дует сильный ветер, идет мокрый снег. Холод определяет все образы смерти. Холодным становится и фигура Германна, символически продающего свою душу, предлагая ее старухе. Герой обманывает приемную дочь графини Лизавету Ивановну, чтобы она впустила его в дом. Она находится под впечатлением романтических романов, поэтому и заблуждается по поводу Германна. О реакции графини на требования молодого человека становится известно только по выражению ее лица: напуганная им насмерть старуха, сидя в кресле, уподобляется камню (остолбенела).

В сюжете рассказа Улицкой мотив появления мужчины обозначает завязку действия — конфликт, который может стать выходом из исходной ситуации. Параллельно этому требуется и смена слова: с тоталитарного слова Мур (она живет в сталинской многоэтажке) на мужское, решительное, но ласковое, спасительное. Марек приезжает зимой навестить свою бывшую семью, следовательно, его фигура тематизируется в образе снегопада. Марек без пальто, и на нем нет никакой одежды, изготовленной из кожи или шерсти животного, в отличие от встречаемого им жильца дома: «После многодневных морозов немного отпустило — начался снегопад, и Замоскворечье на глазах заносило снегом. Из нечеловечески высокого подъезда сталинского дома на мрачном гранитном цоколе вышел пожилой человек в толстенной дубленке и в треухе из двух лисиц сразу. Навстречу ему по широкой лестнице поднимался какой-то сумасшедший в бежевом пиджаке, красном шарфе, перекинутом через плечо, без шапки, в седых заснеженных кудрях» [Улицкая: 112]. Кроме общности суровой погоды в обоих произведениях, следует также отметить, что Марек назван

«сумасшедшим», как и Германн, однако причина всего лишь в том, что он легко одет, т. к. его привозит машина из «сказочной» гостиницы. Здесь мы снова видим фольклорное сравнение: Марек проживает «<...> в бывшем “Балчуге”, который преобразился за последние годы во что-то совершенно великолепное, вроде того хрустального моста, который перекидывается по волшебному слову за одну ночь с одного берега на другой» [Улицкая: 138].

Итак, Марек представлен контрастно пушкинскому герою. В отличие от немецкого инженера-офицера Германна, Марек — богатый польский врач, он не имеет темных страстей, и ему не нужны деньги. Следовательно, герой Улицкой не разыгрывает романтического влюбленного, не копирует письма и не играет разные роли, чтобы приблизиться к старухе и выпытать ее секрет. При их знакомстве Анна Федоровна почувствовала к Мареку влечение в силу его невинности и нравственной чистоты, которые символизирует белый цвет, герой сильно отличается от грязной и темной эротичности Мур: Марек был «<...> нисколько не похожим на крепких самцов, исполняющих бодрый обряд собачьей свадьбы возле ее матери» [Улицкая: 142]. «Собачья свадьба» включает значение «течки», которая метонимически ассоциируется и с другими животными — «мартовскими котами». Созвучие тесного словесного ряда «бодрый обряд собачьей свадьбы» не только усиливает уподобление собакам (единство выражения подчеркивается повтором звукового комплекса «бр»), но также подготавливает оппозицию в семантике образов. Марек — исключение среди мужчин Мур, т. к. его фигуру определяет не зооморфный образ, а белый цвет и чистый снег. По этой причине и развод супругов сопоставляется со спусканием в темный подвал, что скорее метафоризирует образ Мур: «А почему вы все-таки развелись? Вопрос был трудный, и ответов на него было слишком много — как по ступеням в подпол спускаться, чем глубже, тем темней» [Улицкая: 108].

Созвездие родинок на груди Марека символизирует светлый путь, который мог бы открыться перед его женой, если бы они остались вместе. Символика созвездия указывает на нечто оберегающее: «У него была белая безволосая грудь и слева, возле соска, располагалось созвездие родинок — ковшик Большой Медведицы» [Улицкая: 142]. Свет и белизна отражаются и на внешности мужа (белая грудь, светлый пиджак), и на окружающем его мире (город). Седые волосы Марека тоже покрыты снегом, т. е. вдвойне белы [Улицкая: 112]. Муж с осуждающим оттенком сравнивается с советским эквивалентом святого Микулаша (Николая) — Дедом Морозом. Герой действительно является дедом для своих внуков, его образ — светлый, и он приносит своим родным дорогие подарки. Отождествление повторяется уже не с негативной, а положительной оценкой. «Марек и держал эту безвкусную красно-белую ноту: над африканским загаром дымились

ярко-белые кудрявые волосы, а вместо пошлого красного халата с белым ватным воротником был закинут вокруг шеи шерстяной шарф глубокого кровавого цвета и того высочайшего качества, которое материальные ценности почти превращают в духовные. Как и полагалось Деду Морозу, он был весел, румян и невероятно щедр на всякие угощения и подарки, а еще больше — на обещания» [Улицкая: 128–129]. Его внукам требуется заместитель кровного отца, который Гришу наконец-то заберет с собой в отпуск за границу, а Леночке откроет путь на Запад, оплатит обучение в университете в Англии. Детализацию этих новых желаний молодого поколения пронизывают метафорические сравнения и глаголы без сопоставительного признака, однако с явной птичьей семантикой: «Гриша страстно ожидал его звонков, коршуном кидался на телефонную трубку и кричал всем без разбору: “Марек! Это ты?” Леночка занималась только английским и примеривалась на отъезд. В ней вдруг проснулась прежде не свойственная ей деловитость, она толково и придирчиво выбирала себе место для будущей учебы» [Улицкая: 144].

Сказочный мир Марека также наделяется белизной (дача, яхта, дедушка) — у него на греческом острове «двухэтажная вилла», «<...> с белой яхтой, пришипленной посередине залива, как костяная брошка на синем шелке...» [Улицкая: 129], а он сам видится как «дедушка, седой, кудрявый, стоящий на борту белой яхты» [Улицкая: 151]. Сравнение «как костяная брошка на синем шелке», с одной стороны, воспроизводит главный признак Мур (кость), но только с акцентом на белизну, а с другой — синий цвет (моря и неба), который относится к светлому образу Анны Федоровны.

Кажется, теперь только одна Анна Федоровна не поддается обаянию Марека. Она, в отличие от пушкинской Лизаветы Ивановны, не имеет возможности читать книги, не ждет своего освободителя и не показывает романтических чувств даже в отношении своего бывшего мужа. Мур же в начале рассказа отбирает личное время у Анны Федоровны, когда та могла бы спокойно выпить кофе и почитать, и она сожалеет «о неудавшемся мелком празднике» [Улицкая: 95]. С точки зрения Анны Федоровны, вещь, атрибут Марека, достаточна для обнаружения неприятного сходства. Единственная, будто не соответствующая его фигуре деталь — это красный шарф (и загорелое лицо): «Марек намотал на шею нестерпимо красный шарф» [Улицкая: 139], который уподобляет его Пиковой даме, носящей у Пушкина красный чепец, а у Улицкой — имеющей накрашенные ногти и лицо. Более того, цвет шарфа может восприниматься как зловещий, как напоминающий о крови. Возможно, причина неприязни Анны Федоровны к Мареку как раз в том, что, в первую очередь, именно она нуждается в освобождении и скрывает это под предлогом негативного отношения к нему.

Бывший муж, брошенный женой ради матери — Мур, приглашает ее на ночную прогулку по Москве, занесенной снегом. Город словно становится проекцией образа Марека — чистого и светлого: «*Было чисто, бело и безлюдно*» (выделено мной. — А. М.) [Улицкая: 140]. Слово героя также уподобляется снегу в восприятии Анны Федоровны, и при помощи сравнения разворачивается «снежная» метафора: «Марек что-то говорил, говорил, но это пролетало мимо, как снег» [Улицкая: 143]. Фокус текста переводится с событийности на образование тропов. Слово героя героиня «пропускает мимо ушей», однако подчеркивается, что у Марека проблемы со свободной речью. Об этом свидетельствует его привычка искать слова: «<...> как бывает у излечившихся заик. Подбирает слова» [Улицкая: 101]. По этой причине и присваивается его словам переносный признак: «Но вдруг она очнулась от его запинаящихся слов» [Улицкая: 143]. Предмет заикающей речи — бывший муж сочувствует положению своей бывшей жены: «<...> настоящее чудо, как проклятье превращается в благословение. Это чудовище, гений эгоизма, Пиковая Дама, всех уничтожила, всех похоронила... И как ты это несешь?» [Улицкая: 141]. Марек же, подобно Германну, предлагает несчастной дочери-служанке бросить ее мать и начать новую жизнь, но, в отличие от Германа, он делает это не с корыстной целью.

Муж восхищается своей бывшей женой, называя ее «ангелом», приписывая ей лучшие черты: «Ты просто святая...» [Улицкая: 141]. Анна Федоровна действительно мечтала в молодости о монашеской, целомудренной жизни, несмотря на то, что материнство для себя вовсе не отвергала. Это может ассоциироваться с образом Пречистой Девы. Героиню привлекает святой ореол и белый цвет: «Как прекрасно быть монахиней, в белом, в чистом, без всего этого... Но какое счастье все-таки, что Катя есть...» [Улицкая: 143]. Эти признаки и воспроизводятся в метафорической презентации прогулки под снегопадом. Героиня, однако, не воспринимает литературную параллель: ее мать — Пиковая дама, не понимает отождествление, сделанное ее мужем, объясняя свою зависимость от матери иначе: боязнь, долгом, жалостью. При этом в тексте применяется условное сравнение «как будто на столб наткнулась», которое обозначает эту ситуацию: «— Я? Святая? — Анна Федоровна с ходу остановилась, как будто на столб наткнулась. — Я ее боюсь. И есть долг. И жалость...» [Улицкая: 144].

Анна Федоровна — Лизавета Ивановна — Птица

Единственное успокоение для Анны Федоровны означает близость со своей собственной дочерью, с которой она имеет более тесные, по-настоящему семейные отношения. Мать и дочь живут практически как отшельники, обслуживая бабушку Мур: «<...> вполне смирились и с духом безотцовщины, и с женским одиночеством <...>» [Улицкая: 128]. Мур же

издевается над их образом жизни, несмотря на то, что именно из-за нее они и стали домоседками. Ее непристойная ругань снижает их самооценку: «А вы с Катькой — чулки меховые, жопы шершавые...» [Улицкая: 101].

В тексте же рассказа Улицкой форма совместного сидения героинь представлена при помощи сравнения (дочь, как цыпленок, а мать, как рыхлая курица), которое в следующих фразах описания превращается в реализацию метафоры: «<...> обе в старых теплых халатах, похожие на поношенные плюшевые игрушки, сели на гобеленовый диванчик, такой же потертый, как и они сами. Катя <...> забила матери под руку, как цыпленок под крыло рыхлой курицы. <...> Птичье очарование, птичья бестелесность» [Улицкая: 107]. Сначала фигуры героинь в теплых халатах уподобляются использованным плюшевым игрушкам, затем и диван определяется как потертый, подобно героиням. Таким образом, признак подержанности связывает вещь с людьми. Однако очарование (бестелесность) метафорически обозначается не как «цыплячье», а как «птичье», что может вызвать образ еще более общего беспомощного пернатого, в отличие от «кошачьей» Мур. Более того, в презентации птичьих признаки прямо присваиваются образу Кати, а затем в метафорических эпитетах следует и непосредственное отождествление.

Когда Мур нетерпеливо ищет свою дочь, которая в это время уже мертва, она называет ее домашней птицей, сама того не ведая, что попала в точку. Брань обозначает курицу посредством необычного эпитета, который, однако, связывает голову с нижней, скрываемой частью тела: «п...головая курица» [Улицкая: 156]. Внешний вид Анны Федоровны действительно напоминает курицу. Это соотношение подтверждается и языковой связью между словом «курица» и определением ее фигуры «крупная». Отличительным признаком ее лица является также родинка, как у Марека, которая обозначается как «зернышко» и вызывает ассоциацию — «крупка» для птиц. В мире же рассказа героиня разбивает горлышко банки, что может ассоциироваться с разбитой жизнью героини, отказавшейся от мужа ради матери. Таким образом, признак Мур «стеклянный голос» сближается с вещью — отбитым стеклом: «За дверью стояла крупная пожилая женщина, в глубине лица которой проклевывалось знакомое зернышко. Возможно, зернышком этим была небольшая лиловатая фасолинка на щеке, которая в давние годы выглядела милой и легкой родинкой. Женщина держала в одной руке отбитое горлышко стеклянной банки и смотрела на него с испугом» [Улицкая: 113]. В описании героини намечается характерный для Улицкой прием многократного переименования детали: «зернышко — фасолинка — родинка», тем самым описание внешности на уровне высказывания становится уже метафоризацией, когда фокус внимания с сюжета переходит на языковое

действие: «курица — крупа — крупная». Разбитое стекло может поранить руку героини. Сходство между героинями Пушкина и Улицкой можно обнаружить и в том, что бедная родственница графини постоянно сидит за рукоделием, а Анна Федоровна — глазной хирург, работающий инструментами, бедная женщина-врач, которая отличается необыкновенным мастерством оперирования глаз. Она пошла по стопам своего кровного отца — тоже хирурга.

Помимо домовитости героини, ее фамилия по отцу также обозначает аиста, одомашненную птицу *der Storch* [Молнар, Николина: 98]. «Кошка-мать» Мур же заставляет свою дочь принять фамилию отчима и называть его отцом, т. е., заменяя сущность дочери, принуждает ее стать советским человеком: «По настоянию Мур девочке поменяли птичью немецкую фамилию на всесоюзно известную, велели звать толстого лысака “папой”» [Улицкая: 123–124]. Такая смена идентичности снова направляет интерпретацию в сторону демонстрации природы тоталитарного режима в узком семейном кругу. Анну Федоровну, как и Лизавету Ивановну, характеризуют «голубинное» терпение и миролюбие, следовательно, они жертвы, в то время как пушкинская графиня и Мур — хищники.

И внешность Анны Федоровны полностью противоположна материнской. Это выражается и посредством будничных, невыразительных сравнений и метафор: «<...> в халате она выглядела дачной хозяйкой из пригорода» [Улицкая: 89], она носила «косу, свернутую колбаской на шее» [Улицкая: 90]. Неприглядность и посредственность Анны Федоровны подчеркиваются ее внешней характеристикой: в первую очередь, определение «воробьиного» цвета ее волос, в которое также включена птичья символика. Одетая в серое, ведущая «серый» образ жизни героиня более всего похожа на серого воробья.

Когда после прогулки с бывшим мужем она не видит выхода из своего положения даже в его предложении, то отмахивается, словно крыльями. В тексте это маркируется не только ее жестом, но и серым цветом ее варежки: «Она махнула серой варежкой: — Домой проводи...» [Улицкая: 144]. На словах она отказывается от предложения мужа бросить свою мать, однако после этой встречи она все-таки начинает замышлять выход для своих внуков. Таким образом, намечается поворот в жизни героини, поворот, окончившийся ее смертью.

Смерть

В силу кризисной ситуации с Марексом становится возможным появление у героини «ростка» — нового слова-бунта как потребности пересечения границы. Дело в том, что Мур в роли властного управленца перечеркивает все планы своей семьи, словно глава партии — диктатор — становится отцом народов. По этой причине эмблематичной является попытка отказа от выполнения ее прихоти испортить их единственную

мечту — уехать. Сближение «слова» и «растения» при представлении «зачатка бунта» встраивается в этот же метафорический ряд, создавая дигрессию: «Слово “нет” еще не было произнесено вслух, но оно уже существовало, уже проклюнулось как слабый росток» [Улицкая: 150]. Анне Федоровне точно представляется будущая реакция Мур на обман: «<...> какую бурю поднимет это прозрачное насекомое <...>» [Улицкая: 150]. В этой антиципации, помимо стертых метафор («бурю поднимет»), приводятся также и новые («прозрачное насекомое»). Имя *Мур*, таким образом, оказывается связанным с рядом созвучных слов, раскрывающих образ героини: «тигрица, бронзовый, буря, прозрачное». В семантическом плане демонстрируется новый сдвиг. Прозрачность же означает нечто эфирное (что и выражается «пустотой» фигуры Мур), между тем упоминание о насекомом обычно вызывает неприятные чувства. Внешний облик героини действительно напоминает насекомого и вполне отражает ее гадкую сущность.

В этих моментах несложно заметить перенос акцента с проблематики на дискурсивный уровень. Когда появляются зачатки бунта Анны Федоровны и предстоит перемена в жизни ее семьи, тогда объективное повествование прерывается и вводится т. н. «анарративное отступление» так же, как и в случае «снегопада». С выходом Анны Федоровны из «сталинской» квартиры в сакральное пространство (на площадь с церковью, когда она покупает молоко в кофе для Мур) поменялся и язык рассказа: он стал предельно метафоричен. Следовательно, и в рассказе жизнь и смерть меняются местами: героиня, подобная птице, освобождается из рабства матери-тигрицы посредством апоплексического удара. Героиня словно возносится: она умирает рядом с церковью. Ее птичья скромность и жертвенность не сохраняют ей жизнь, в отличие от долголетней кошки-хищницы Мур. В то же время работа героини-врача служила сохранению жизни людей, в отличие от разрушительных действий Мур.

Узнав о смерти матери, Катя реализует ее желание — она ударила Мур по лицу. У Пушкина же, наоборот, это графиня в молодости дала оплеуху мужу, когда тот не оплатил ее карточный долг, отказав ей в первый раз в жизни. В старости угрозы Германна привели к ее смерти. В гробу на ее голову вместо красного уже надет белый чепец. Побледневшая фигура Германна при этом сопоставляется с мертвецом. Он падает при виде подмигнувшего ему трупа. Лизавета Ивановна при виде Германна падает в обморок (ср. с умирающей Анной Федоровной, которая также все время именуется по имени и отчеству). Во сне графиня представляется Германну как старая няня, однако она будто раскрывает секрет (см. выше тайну Мур). Герой ставит на приснившиеся ему карты, но вместо туза у него выходит пиковая дама. Он идентифицирует карту со старухой и ему кажется, что изображение на карте тоже подмигивает ему. После такой

мести умершей он сходит с ума: герой видит весь мир в виде карточных фигур — оживших мертвых метафор.

Именно в этом моменте наблюдается главное отличие пушкинской повести от рассказа Улицкой, т. к. у нее карточная игра (мотивы случая и оживления мертвого) не играет никакой роли (Марек играет в пинг-понг — не стратегический или судьбоносный вид спорта). Как общий результат разных историй «Пиковых дам» отметим: «маленький Наполеон» Германн, движимый эгоистичной целью и своей волей, остается ни с чем, однако и добрый Марек окончательно лишается своей жены. Улицкая акцентирует внимание на «безотцовщине» и «женщинах». Общность сюжетов состоит и в том, что волевая старуха, воплощающая (аристократическую/советскую) власть, губит свою кроткую, смиренную дочь и через нее — и всю семью. Основное отличие заключается в следующем: в повести Пушкина Лизавета Ивановна выходит замуж, заступает на место старухи, становится богатой и заводит воспитанницу, т. е. повторяет судьбу своей т. н. «матери», а у Улицкой — героиня умирает. Следовательно, в современном произведении исход сюжета более пессимистичен, чем в претексте.

Выводы. Таким образом, можно утверждать, что интерпретация Улицкой классической повести актуализирует бытийную проблему, выдвинутую Пушкиным, однако при этом существенно меняется событийный ряд. Улицкая, используя претекст, осмысляет вечные вопросы человеческих отношений и женских судеб сквозь призму искажений основных ценностей: любви, семьи и женственности. Ее героини вписаны в историю XX в., а эксплицитные намеки на прецедентные образы лишь придают необходимые штрихи, от которых писательница отталкивается, переводя повествование в нужное ей русло, как во всем известном сюжете, так и в смыслах метафор и символов.

Таким образом, в статье проанализировано, как интертекстуальные приемы на основе зооморфных образов позволяют современному писателю переосмыслить как сюжет, так и художественно-речевую образность классического произведения. Смысл использования пушкинского претекста состоит не просто в постмодернистской игре, а в представлении вечного в актуальном, новом ракурсе.

Литература

Артамонова И. В. «Наполеоновский комплекс» в русской классике первой трети XIX века (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь): Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Российский университет дружбы народов. Москва, 2018. 18 с.

Баранова О. С. Перечитывая классику...: Из опыта работы. Мурманск: Север, 2004. 64 с.

Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 1: Философская эстетика 1920-х годов. Москва: Русские словари; Языки славянских культур, 2003. 957 с.

Виноградов В. В. Стиль «Пиковой дамы» // Виноградов В. В. О языке художественной прозы. Москва: Наука, 1980. С. 176–239.

Виротайнен М. Н. Ирония в повести Пушкина «Пиковая дама» // Проблемы пушкиноведения: Сб. науч. трудов. Ленинград: ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1975. С. 169–175.

Волкова П. С. «Пиковая дама»: опыт реинтерпретации // Музыкальное искусство: История и современность: Сб. науч. ст. к 40-летию АГК. Астрахань: Изд-во АИПКП, 2009. С. 96–100.

Вуколова В. С. Концептуально-поэтический смысл интертекста «Пиковой дамы» А. С. Пушкина в одноименном рассказе Л. Е. Улицкой // Вестник Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина. Серия: Гуманитарные науки. Вып. 4 (144). Тамбов, 2015. С. 148–153.

Евстратов А. Н. Проблема соотношения рационального и иррационального в повести А. С. Пушкина «Пиковая дама» // Вестник Западно-Казахстанского государственного университета. 2011. № 1. С. 208–212.

Ковач А. Персонализм литературной антропологии Михаила Бахтина (От феноменологической эстетики к поэтике прозы) // Russian Literature. 2012. Vol. LXXII–I. P. 1–44.

Лотман Ю. М. «Пиковая дама» и тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века // Лотман Ю. М. Пушкин. Санкт-Петербург: Искусство-СПб., 1995. С. 786–813.

Лотман Ю. М. Структура художественного текста. Москва: Искусство, 1970. 384 с.

Молнар А., Николина Н. Типы и функции компаративных тропов в современном прозаическом тексте (на материале рассказа Л. Улицкой) // Slavica. XLVIII. Debrecen University Press, 2019. С. 96–100.

Муравьева О. С. Фантастика в повести Пушкина «Пиковая дама» // Пушкин: исследования и материалы. Ленинград: Наука, 1978. Т. 8. С. 62–69.

Побивайло О. В. Комплекс Иокасты в рассказе Л. Улицкой «Пиковая Дама» // Наука. Технологии. Инновации / Материалы всероссийской научной конференции молодых ученых: В 7 ч. Ч. 7. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2006. С. 177–179.

Потебня А. А. Метафора // Потебня А. А. Теоретическая поэтика. Москва: Высшая школа, 1990. С. 202–213.

Пушкин А. С. Пиковая дама // Пушкин А. С. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 5. Романы, повести. Москва: Гослитиздат, 1960. С. 233–262.

Улицкая Л. Е. Пиковая Дама // Улицкая Л. Е. Первые и последние: Рассказы. Москва: Эксмо, 2006. С. 87–157.

Черенкова М. А. Рецепция образов и мотивов повести А. С. Пушкина «Пиковая дама» в творчестве Л. Е. Улицкой «Пиковая Дама» // Амурский научный вестник. Комсомольск-на-Амуре, 2016. № 1. С. 137–146.

Черняев Н. И. Критические статьи и заметки о Пушкине. Харьков: тип. «Юж. края», 1900. 639 с.

Шольц У. А. С. Пушкин в гендерной системе координат: «Пиковая дама» Людмилы Улицкой // Русская литература XIX–XX веков в современном мире. Кострома: Костромской государственный университет им. Н. А. Некрасова, 2009. С. 283–292.

Шукина Д. А. Символика интертекста в русской литературе XXI века // Мир русского слова. Санкт-Петербург, 2011. № 3. С. 80–83.

Юхнова И. С. О формах восприятия повести А. С. Пушкина «Пиковая дама» (В. Шаламов, Л. Улицкая, А. Королев) // Вестник Псковского государственного университета. Сер.: Социально-гуманитарные и психолого-педагогические науки. 2014. № 5. С. 116–120.

Яворник Миха. Двумерность «Пиковой дамы» А. С. Пушкина // Slavica Tergestina. Trieste. 2001. № 9. С. 93–129.

References

Artamonova I. V. “Napoleonovskij kompleks” v russkoj klassike pervoj treti XIX veka (A. S. Pushkin, M. Yu. Lermontov, N. V. Gogol’): Avtoref. dis. ... kand. filol. nauk: 10.01.01 / Rossijskij universitet družby narodov. Moskva, 2018. 18 s.

Baranova O. S. Perechityvaya klassiku...: Iz opyta raboty. Murmansk: Sever, 2004. 64 s.

Bakhtin M. M. Sobranie sochinenij: V 7 t. T. 1: Filosofskaya estetika 1920-kh godov. Moskva: Russkie slovari; Yazyki slavyanskikh kultur, 2003. 957 s.

Vinogradov V. V. Stil’ “Pikovej damy” // Vinogradov V. V. O yazyke khudozhestvennoj prozy. Moskva: Nauka. 1980. S. 176–239.

Virolajnen M. N. Ironiya v povesti Pushkina “Pikovaya dama” // Problemy pushkinovedeniya: Sb. nauch. trudov. Leningrad: LGPI im. A. I. Gercena, 1975. S. 169–175.

Volkova P. S. “Pikovaya dama”: opyt reinterpretacii // Muzykal’noe iskusstvo: Istoriya i sovremennost’: Sb. nauch. st. k 40-letiyu AGK. Astrakhan’: Izd-vo AIPKP, 2009. S. 96–100.

Vukolova V. S. Konceptual’no-poeticheskij smysl interteksta “Pikovej damy” A. S. Pushkina v odnoimyonnom rasskaze L. E. Uliczkoj // Vestnik Tambovskogo gosudarstvennogo universiteta im. G. R. Derzhavina. Ser.: Gumanitarnye nauki. Vyp. 4 (144). Tambov, 2015. S. 148–153.

Evstratov A. N. Problema sootnosheniya racional’nogo i irracional’nogo v povesti A. S. Pushkina “Pikovaya dama” // Vestnik Zapadno-Kazakhstanskogo universiteta. 2011. № 1. S. 208–212.

Kovach A. Personalizm literaturnoj antropologii Mikhaila Bakhtina (Ot fenomenologicheskoy estetiki k poetike prozy) // Russian Literature. 2012. Vol. LXXII—I. P. 1–44.

Lotman Yu.M. “Pikovaya dama” i tema kart i kartochnoj igry v russkoj literature nachala XIX veka // Lotman Yu.M. Pushkin. Sankt-Peterburg: Iskusstvo-SPb., 1995. S. 786–813.

Lotman Yu.M. Struktura khudozhestvennogo teksta. Moskva: Iskusstvo, 1970. 384 s.

Molnar A., Nikolina N. Tipy i funkcii komparativnykh tropov v sovremennom prozaicheskom tekste (na materiale rasskaza L. Uliczkoy) // Slavica. XLVIII. Debrecen University Press, 2019. S. 96–100.

Murav'yova O. S. Fantastika v povesti Pushkina “Pikovaya dama” // Pushkin: issledovaniya i materialy. Leningrad: Nauka, 1978. T. 8. S. 62–69.

Pobivajlo O. V. Kompleks lokasty v rasskaze L. Uliczkoy “Pikovaya Dama” // Nauka. Tekhnologii. Innovacii / Materialy vsrossijskoj nauchnoj konferencii molodykh uchonykh: V 7 ch. Ch. 7. Novosibirsk: Izd-vo NGTU, 2006. S. 177–179.

Potebnya A. A. Metafora // Potebnya A. A. Teoreticheskaya poetika. Moskva: Vysshaya shkola, 1990. S. 202–213.

Pushkin A. S. Pikovaya dama // Pushkin A. S. Sobranie sochinenij: V 10 t. T. 5. Romany, povesti. Moskva: Goslitizdat, 1960. S. 233–262.

Uliczkaya L. E. Pikovaya Dama // Uliczkaya L. E. Pervye i poslednie: Rasskazy. Moskva: Eksmo, 2006. S. 87–157.

Cherenskova M. A. Receptiya obrazov i motivov povesti A. S. Pushkina “Pikovaya dama” v tvorchestve L. E. Uliczkoy “Pikovaya Dama” // Amurskij nauchnyj vestnik. Komsomol'sk-na-Amure, 2016. № 1. S. 137–146.

Chernyaev N. I. Kriticheskie stat'i i zametki o Pushkine. Khar'kov: Tip. “Yuzh. Kraya”, 1900. 639 s.

Shol'cz U. A. S. Pushkin v gendernoj sisteme koordinat: “Pikovaya dama” Lyudmily Uliczkoy // Russkaya literatura XIX–XX vekov v sovremennom mire. Kostroma: Kostromskoj gosudarstvennyj universitet im. N. A. Nekrasova, 2009. S. 283–292.

Shhukina D. A. Simvolika interteksta v russkoj literature XXI veka // Mir russkogo slova. Sankt-Peterburg, 2011. № 3. S. 80–83.

Yukhnova I. S. O formakh vospriyatiya povesti A. S. Pushkina “Pikovaya dama” (V. Shalamov, L. Uliczkaya, A. Korolev) // Vestnik Pskovskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Social'no-gumanitarnye i psikhologopedagogicheskie nauki. 2014. № 5. S. 116–120.

Yavornik Mikha. Dvumirnost' “Pikovej damy” A. S. Pushkina // Slavica Tergestina. Trieste. 2001. № 9. S. 93–129.

Сведения об авторе: Ангелика Молнар; доктор гуманитарных наук (HD); Дебреценский университет; профессор Института славистики; ORCID 0000-0002-7896-1480; manja@t-online.hu; сфера научных интересов: русская литература, литературоведение.

The author's profile: Angelika Molnar; HD (Humanities, Philology); University of Debrecen; Professor at the Institute of Slavistic; ORCID 0000-0002-7896-1480; manja@t-online.hu; research interests: Russian literature, literary studies.

МИФ И ЛИТЕРАТУРА

УДК 821.811.17.09"1917/1991"

DOI: 10.25688/2619-0656.2020.14.04

ОТ МИФА К ИСТОРИИ: ВАРИАЦИИ СКАЗКИ «ЭГЛЕ, КОРОЛЕВА УЖЕЙ» В ЛИТОВСКОЙ СОВЕТСКОЙ И ПОСТСОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

FROM MYTH TO HISTORY: VARIATIONS OF THE FOLK TALE “EGLE, THE QUEEN OF SERPENTS” IN LITHUANIAN SOVIET AND POST-SOVIET LITERATURE

**Лорета Мачянскайте
Институт литовской литературы и фольклора,
Вильнюс, Литва**

**Loreta Macianskaite
Institute of Lithuanian Literature and Folklore,
Vilnius, Lithuania**

Аннотация

В статье представлены произведения литовской литературы, варьирующие мотивы архетипической сказки, которая гипотетически считается контрольным текстом для понимания литовской культуры. Материал исследования структурирован в соответствии с делением на четыре исторических периода: 1) начало советизации Литвы, 2) время «зрелого социализма», 3) последнее советское десятилетие, 4) этап восстановленной независимости и членства в ЕС. Выявляются семь парадигм отношений истории и мифа, поднимается вопрос о необходимости существования разных текстообразующих механизмов.

Ключевые слова: неомифологизм, литовская литература, эзопов язык, советская эпоха, культура Литвы восстановленной независимости.

Abstract

The idea for this article came from the hypothesis that the famous folk tale “Eglė, the Queen of Serpents” is a foundational text of Lithuanian culture, as it

underpins many other works. According to Eleazar Meletinskij, the method of neo-mythologism helps us understand the chaos of cataclysms by giving form to historical experience in the current literature. The author approaches the work through Lithuanian-born American sociologist Vytautas Kavolis' theory, which facilitates the tracing of internal changes in the history of Lithuanian cultural consciousness, while also studying the transformations of one important motive. Representative texts from the Soviet and post-Soviet era are examined: the poem-tale "Eglė, the Queen of Serpents," by Salomėja Nėris, the poem "Nine Brothers," by Justinas Marcinkevičius, the short story "After They Became Trees," by Kazys Saja, the play "The Daughter of the Earth," by Marcelijus Martinaitis, as well as the production of the same title by Vilnius Theater Lele, by Vitalijus Mazuras, a few episodes from the novel "Vilnius Poker," by Vytautas Gavelis, and finally, the plays "Madagascar" and "Expulsion," by Marius Ivaškevičius. The analysis is divided by historical periods and compares these works to Christoph von Furer-Haimendorf's model of moral systems, which Kavolis proposed for a better understanding of historical processes in Eastern Europe.

We come to the conclusion that seven paradigms of consciousness consecutively replace each other during the discussed period: 1) duplication, by the transition from a system of freedom to a system of rules and authority, selecting the vector of infantilization; 2) the idealization of national unity, the moral system of social harmony, and the tendency for hybridism or archaization; 3) the discovery of Aesopian language, which is an internal form of resistance to Totalitarianism; 4) the loss of connection with archaic culture and the destabilization of values; 5) the understanding of history as an eternal repetition of evil, and the critical evaluation of Lithuanian identity; 6) the transition from a system of rules to the paradigm of freedom, through the demythologization of history, and the unfolding of individual relations with historical figures; 7) fragmentation in the face of new emigration and the establishment of liquid identity in the contemporary world.

This study reveals the emergence of a counter-mechanism capable of opposing the mythologizing and abstraction that are typical of patriarchal forms of consciousness, examples of which can be observed in émigré literature of the 1960s and onward, as well as in creative explorations since the restoration of Lithuania's independence in 1990.

Key words: neomythologism, Lithuanian literature, Aesopian language, Soviet era, Lithuanian culture of restored independence.

Введение

Цель. Исследование нацелено на поиск моделей, выявляющих изменения в общественном сознании Литвы.

Методология. Методологическую основу составляют три компонента: 1) концепция развития мифологизирования в современной литературе, прежде всего представленная в монографии Е. М. Мелетинского «Поэтика

мифа»; 2) исследования американского социолога литовского происхождения Витаутаса Каволиса и модели австрийского антрополога К. Фюрер-Хаймендорфа; 3) семиотика культуры Ю. М. Лотмана, точнее, теория двух текстообразующих механизмов, построенная на антитезе мифологического и исторического времени.

Материал исследования. В статье исследуются репрезентативные произведения от 1940 г. до нынешнего времени: поэма-сказка Саломеи Нерис «Эгле, королева ужей», поэма Юстинаса Марцинкявичюса «Девять братьев», рассказ Казиса Саи «Когда они стали деревьями», пьеса Марцелиуса Мартинайтиса «Дочь земли» и одноименный спектакль Виталиюса Мазуруса, эпизоды из романа Ричарда Гавялиса «Вильнюсский покер», пьесы Мариюса Ивашкявичюса «Мадагаскар», «Изгнание».

Основная часть

Нерасколдованная сказка

История литовской литературы и множество примеров из разных областей искусства, большой интерес исследователей показывают, что одной из важнейших смысловых основ на разных этапах развития культуры была архаическая сказка «Эгле, королева ужей», которую также называют и литовским национальным мифом [Рыжакова: 67].

Вкратце вспомним сюжет. Во время купания в рукав рубашки младшей из дочерей рыбака — Эгле — забрался уж. Девушка пообещала выйти за него замуж, не веря, что это всерьез, но спустя некоторое время, когда ужи стали атаковать отцовский дом, ей пришлось выполнить обещание. Попытки родителей обмануть ужей, вместо девушки подсунув сватам овцу и гуся, были разоблачены. Эгле переселилась на дно моря, в королевский дворец, где уж обернулся прекрасным юношей Жильвиномасом. Королевская чета счастливо жила, у них родились дети (трое сыновей и младшая дочь), но Эгле все сильнее ощущала тоску по родине. Жильвинас дал жене три труднейших задания, и только после их выполнения она с детьми смогла отправиться в отчий дом. Возвращаясь обратно, нужно было на берегу моря произнести секретное заклинание: «Жильвинас, если ты живой, приплывай белопенной волной, если мертв — кровавой». Когда Эгле с детьми пришла в рыбацкую деревню, родня была очень рада, но братья не хотели отпускать сестру и детей обратно домой, на дно моря, и стали выпытывать у детей имя отца, которое выдала младшая дочь, Дребуле. Выманив Жильвинаса, они изрубили его серпами, и на зов Эгле море покрылось кровавой пеной. С горя она заклала себя и детей превратиться в деревья: в ель (Eglė), дуб (Ažuolas), ясень (Uosis), березу (Beržas) и осину (Drebulė).

Исследователи обратили внимание на странности этой сказки: она отличается от других сказок того же типа, по логике которого рискованный брак с необычным партнером оказывается в конце концов счастливым су-

пружеством [Рыжакова: 54]; не соответствует моделям волшебной сказки, представленным в описании В. Я. Проппа [Martinkus: 202–275], для понимания ее финала нужен более широкий мифологический контекст, чем пока удалось реконструировать [Žukas: 448–449]. Именно отклонения от нарративных схем и семантическая многослойность сделали данную сказку особенным повествованием, на редкость подходящим для художественного осмысления не только индивидуальной человеческой судьбы, но и катаклизмов истории всей нации, особенно трагического опыта XX в.

Неомифологизм и проблема модернизма литовской литературы

Главные идеи Елезара Мелетинского об использовании мифа в современной литературе воплотились в концепции художественного приема неомифологизма, исполняющего две функции: 1) создавать «модель» мира, 2) акцентировать определенные ситуации и коллизии прямыми или контрастными мифологическими аналогиями. Формула отношений между мифом и историей впервые четко была сформулирована Томасом Стернзом Элиотом в рецензии на роман Джеймса Джойса «Улисс»: «использование мифа, проведение постоянной параллели между современностью и древностью <...> есть способ контролировать, упорядочивать, придавать форму и значение тому громадному зрелищу тщеты и разброда, которое представляет собой современная история» [Мелетинский: 359; Eliot: 483].

В отличие от Западной Европы первой половины XX в., когда были написаны основные произведения неомифологизма, в литовской литературе того времени было бы напрасно искать проявления этого метода. Период между двумя войнами в Литве — это время становления независимого государства, и ранний литовский модернизм выражает радость и динамику, а не трагический опыт разрушительной истории. Катастрофическое мироощущение придет в литовскую литературу после Второй мировой войны, и в первую очередь — в эмигрантскую литературу, которая уже с первых лет становления заново открыла сказку «Эгле, королева ужей» как модель для осмысления опыта оккупации и потери родины.

На историческом перепутье

Между неомифологизмом зрелого модернизма, характерного для эмигрантской литературы, и традиционным, обычно более ранним, методом использования фольклора (например, перевода прозаического текста в поэтический) мы находим интересный экземпляр промежуточного дискурса — сказку-поэму Саломеи Нерис «Эгле, королева ужей» (поэма начата в 1938 г., закончена и впервые издана в 1940 г.).

Поэма отличается от привычного варианта фольклорной сказки тем, что в ее начале король моря Жильвинас выступает не в роли противника, а претендует на роль помощника, т. е. предлагает ситуацию договора, по которому он действовал бы как оберегающий субъект, гарантирую-

щий спокойствие для рыбаков при условии, что их младшая дочь Эгле станет его женой.

Я клянусь безвинной
Детскою слезой —
Не вздымать пучины
Гибельной грозой.
Пусть ведут лишь зори
Разговор с волной...
Мирным будет море,
Только будь со мной [Нерис: 308; Nēris: 181].

Для понимания интерпретации сказки, переложенной Нерис, важен исторический контекст создания произведения — начало Второй мировой войны, т. е. время ощущения угрозы и раздумья о возможном пути спасения. Политические ассоциации образа Жильвинаса — большой союзник в борьбе маленького народа с темными силами истории — возникают при сравнении «Эгле...» с другими произведениями Нерис сорокового года, например, «Путь большевика», «Поэма о Сталине», где используются аналогичные поэтические образы. Историческая перспектива меняет наше читательское восприятие: поэма Нерис в таком ракурсе смотрится не как просто милая сказка для детей, фрагменты которой многие с малых лет знают наизусть, а как психологическая проекция ее автора¹ и антиципация будущего.

Пользуясь схемой Кристофера Фюрер-Хаймендорфа [von Fūrer-Haimendorf] о трех моральных системах, такую траекторию сознания мы определили бы как переход из парадигмы «личной свободы и ответственности» в систему «правил и авторитета», с этим типом В. Каволис прежде всего и отождествлял эпоху сталинизма, предлагая схему Фюрер-Хаймендорфа как модель для понимания процессов Восточной Европы [Kavolis 1991: 98].

Расширение тематики в послесталинскую эпоху

По понятным причинам долгое время в литературе советской Литвы историческая тема могла интерпретироваться, только следуя принципам т. н. исторического материализма, а фольклор в литературе действовал как выражение народности или прием для педагогических целей. В годы оттепели ситуация менялась: круг дозволенных тем расширялся и интерпретации исторических событий становились сложнее (конечно, некото-

¹ Эта гипотеза принадлежит семиотику Саулюсу Жукасу, она была высказана в устном докладе на семинаре Центра по семиотике и теории литературы А. Ю. Греймаса в Вильнюсском университете в 2017 г.

рые темы, например, советская оккупация, потеря независимости Литвы, ссылки, послевоенная эмиграция были под запретом).

Знаковым произведением времени «зрелого социализма» можно считать поэму-балладу Юстинаса Марцинкявичюса «Девять братьев» (1969–1972), посвященную трагическому опыту послевоенной Литвы. В противостоянии лесных братьев и защитников советской власти поэт видит повторение мифического сюжета и переносит образы из сказки — такие, как братья с косами, кровавая пена — в новые обстоятельства:

С моря воротилось братьев девять,
косы возле клена прислоняют.
Умываются водою гнева
и друг друга «брат!» не окликают.
Надо принести им полотенце,
накормить одной краюхой хлебной.
Судьбы, словно воды, помутились,
волны в берег бьют кровавой пеной
[Марцинкявичюс: 77; Marcinkevičius: 360].

В отличие от сказки, в поэме Марцинкявичюса нет оппозиций типа *свой — чужой, человек — существо* и нет личной ответственности за свои деяния, а лишь полунеосознанное ощущение общей вины, которую выражает поэтический, почти библейский образ кровавой пены, падающей на всех братьев, не разделяя их на врагов, героев, палачей, жертв, праведников и предателей. Поэма заканчивается заклинанием, прямо оппозиционным заклинанию в сказке: «Ах, перестанем убивать друг друга!» [Марцинкявичюс: 90], — и призывает читателей к всеобщему прощению и национальному согласию.

Во времена восстановленной независимости творчество Марцинкявичюса вызывает бурю споров, в свете которых мотивированным становится вопрос — не был ли призыв к всеобщему прощению, высказанный в поэме, на руку советской пропаганде? Этот сложный вопрос допускает и другой подход, например, антропологический, ищущий не политические причины, а иную смысловую основу. По теории К. фон Фюрер-Хаймендорфа, модель, представленная Марцинкявичюсом, может быть распознана как третий тип нравственной системы, т. е. это система социальной гармонии, характерная для более архаического общества [von Furer-Haimendorf: 158–159].

Второй случай того же периода — рассказ Казиса Саи «Когда они стали деревьями» (1972) — продолжает сказку и моделирует жизнь детей Эгле и самой Эгле в облике деревьев, не потерявших способности думать и чувствовать, но наконец обретших спокойствие. Повествование настроено на среднего брата Ясеня, который чувствует себя особенно счастливым

и отличается особенной добротой: смысл его существования — помощь птицам, пчелам и бабочкам. Идиллия кончается, когда в лес приходит человек с топором и начинает выбирать деревья для рубки, создавая ситуацию, в которой люди-деревья проявляют свои настоящие черты:

«И тут, — может, оттого, что не утратил до конца Ясень человеческие свойства, или потому, что уж слишком нравилось ему жить на белом свете, — испугалось деревце, что больно ладное оно да пригожее, и стало от страха ежиться да корежиться, дугой гнуться, чтоб человеку не приглянуться. Только бы человек со своим страшным топором мимо прошел, его не нашел...»

Приминая ягоды, пригибая к земле папоротник, дровосек подходил все ближе, а Ясень успел за это время поникнуть верхушкой и протянуть человеку ветку с гнездом иволги — ни дать ни взять нищий с протянутой рукой... «Пощади... Не за себя, за пташек этих бедных прошу...»

Другие же деревья, соседи Ясеня, стояли гордо и бесстрашно, — казалось, они стали стройнее, чем прежде. Как раз такие и нужны были человеку — то ли для оглобли, то ли для журавля нового...» [Сая: 293; Saja: 668–669].

Ясень начинает терять бытие дерева: он выдергивает из земли свои корни, все больше гибает и постепенно превращается в ужа, т. е., сам того не ведая, повторяет судьбу отца (Жильвинас мог показаться людям лишь в облике ужа и проговаривался Эгле, что «сам виноват»). Цена спасенной жизни бывшего ясеня — отказ от себя самого: в конце рассказа ясень, ставший ужом, в безопасности засыпает у подножья ели и ни разу не просыпается от ее плача.

Этот небольшой текст является примером удваивания смысла и разработки т. н. эзопова языка. Трансформация Ясеня из внутренне свободной субъекта, хотя и лишённого способности двигаться, в *ползучего гада* — это метафора мимикрии, превращающей достойную личность в приспособленца. Говоря терминами Льва Лосева [Loseff: 50–52], мифический сюжет здесь работает как щит (screen) для скрываемого содержания, а жестко негативное отношение нарратора к судьбе Ясеня — «превратился от страха в гада ползучего» [Сая: 294] — становится маркером для распознавания настоящего смысла — становления *homo sovieticus*.

Конец советской эпохи

Пьеса поэта Марцелиюса Мартинайтиса «Дочь земли» (1980) может служить интересным примером «антропологического поворота»: ее автор, будучи выдающимся поэтом, в то же время был исследователем мифологии и фольклора, видевшим ситуацию извне и понимавшим, что изменения в обществе делали передачу традиций почти невозможной. В статье «Где конец сказок?» из сборника пьес для кукольного театра «Пепельная утка» автор объясняет, что замысел пьесы «Дочь земли» родился у него,

когда он услышал спор своих детей о названиях растений и понял, что подрастающее поколение неспособно отличить ясень от осины или рожь от ячменя. По мнению Мартинайтиса, знание разных имен без их связи с самими вещами, с реальным миром — опасно, оно порождает недопонимания и несчастья, предательства в том числе [Martinaitis 1980: 6]. В самом начале «Дочери земли» голосом скрытого нарратора фиксируется ситуация, предвещающая трагедию: «Земля — это старая деревня, уже приобретающая сказочный оттенок. Это родина, воспоминания детства. Ее присутствие ощущает не только Эгле, но и ее дети. Но в ней — как в каком-то воспоминании — живые люди уже не могут жить. “Настоящие” люди живут в море. Но здесь теряется связь с прошлым, дети Эгле уже не знают “происхождения своих имен”, не понимают связи с природой, хотя догадываются, что у их имен есть другой смысл. Поэтому возвращение в “старую деревню” драматично. Противостояние двух миров чувствуется в сценографии всего спектакля» [Martinaitis 2013: 407] (перевод автора статьи. — Л. М.).

Концепция пьесы раскрывается не только в лирических монологах героев пьесы, но и в авторских комментариях и наукоподобных ремарках. Например, в ремарках, объясняющих отношение Эгле к родне, автор довольно неожиданно употребляет выражения из семантического гнезда музея: статичность представителей земли характеризуется словами «как в каком музее», куклы родителей в руках Эгле — «как экспонаты», об отце и матери сказано, что они «уже *нарисованы*, превращены в *искусство*» [Martinaitis 2013: 427]. Главный образ пьесы, отсылающий к «морскому» эпизоду из фольклорной сказки, — нить: только держась за нить, Эгле и дети могут выйти на берег и таким же образом должны вернуться в морское царство; но нить рвется, когда большая красная коса пересекает тело Жильвинаса, и на пол «падает клубок ниток, не связавший двух миров» [Martinaitis 2013: 433]. Эгле и дети замирают, вглядываясь в пространство моря, куда «удаляется кровавая пена, расположенная как разорванная нить» [Martinaitis 2013: 434], в их устах — риторические вопросы о том, куда уходят дороги и каким именем называются земля, море и деревья.

Для режиссера и художника Виталиюса Мазураса эта пьеса Мартинайтиса стала способом говорить об исторической трагедии литовского народа. Он так вспоминает генезис спектакля в 1981 г.: Мартинайтис «за одну ночь написал вторую часть пьесы! О том, как героиня возвращается домой, выходит из воды — и сходит с ума. Потому, что нет уже на земле ее родного дома, нет братьев, время все унесло. А наши политики и критики, которые пришли на премьеру, сказали: “Это же очень “черный”, антисоветский спектакль, о том, как советская власть все уничтожила!”» [Константинова, Мазурас, Мазуриене].

Нетрудно догадаться, что не существует видеозаписей этого театрального произведения, так что мы можем положиться только лишь на воспоминания, в которых как раз подчеркивается политический подтекст спектакля и тихий разговор между залом и сценой. Актер Юозас Марцинкявичюс, исполнитель роли Жильвинаса, вспоминал, что зрители просто рвались на спектакль и замирали, когда смотрели на окно с опустившейся решеткой, сделанной из заржавленной проволоки, и Эгле, кричащую за окном: «Куда вы подевали мою родину!» [Marcinkevičius, Šepetytė]. Театровед и писательница Аудроне Гирдзияускайте рассказывает об эффектной сценографии «Дочери земли»: сверху падал красный парус, и он как бы сметал всю старую жизнь деревни, делал землю неузнаваемой. Впечатление от такой сцены было громадное, она вызывала неоднозначные ассоциации с *красным наводнением* (так называлась книга эмигрантского писателя Игнаса Шейнюса 1953 г.). Это был один из ярчайших примеров эзопова языка в литовском театре [Girdzijauskaitė: 56].

Самым скандальным произведением последнего советского периода является роман Ричардаса Гавялиса «Вильнюсский покер» (1989), признанный символом освобождения литовской прозы. Роман лишен инстанции всезнающего рассказчика, его составляет набор монологов четырех нарраторов, где каждый представляет отличную от других версию убийства красавицы Лолиты. Время повествования — несколько недель октября приблизительно 1978 г., но в монологах нарраторов, особенно главного подозреваемого, вспоминаются и годы независимости, и послевоенное сопротивление, и Сибирский лагерь, и, конечно, брежневская пора. Отсылки к сказке «Эгле...» в романе заметны в двух фрагментах.

Первый — это эпизод наказания за измену в отряде лесных братьев: молодой Варгалис (главный герой романа и нарратор первой части) оказывается в кругу людей, «взявших себе клички деревьев», где бойцу Бяржасу (т. е. березе)¹ вождем отряда Битинасом (на литовском — «пчеласамец») выносится приговор: убить, выпустив кишки и гоня предателя вокруг дерева. Варгалис отказывается испортить живот изменнику, невзирая на аргументы вождя, что воин должен «убить дракона» без малейшей жалости; юношу пытается спасти более зрелый боец — Ясень, но в конце концов экзекуцию совершает сам Битинас. Варгалис наблюдает за ужасной сценой и чувствует, как сам превращается в дракона; через тридцать лет похожим образом он убьет свою возлюбленную Лолиту (по одной из версий).

Вторую отсылку к сказке находим в женском монологе из третьей части под названием «Тутэйша», где повествование ведется от лица Стефы,

¹ В русском переводе — Тополь. Выбор такого дерева, наверное, мотивирован мужским родом тополя. Неопубликованный перевод из архива Института культуры Литвы.

когда-то приехавшей в Вильнюс из деревушки на границе Белоруссии и не до конца принятой в общество чистокровных литовцев — коллег и приятелей. В конце концов она становится жертвой молодого Жильвинаса, сына ее сослуживца по библиотеке программиста Мартинаса, в прошлом педагога-идеалиста, пострадавшего от власти из-за своей теории, а на практике вырастившего *homo sovieticus* — циничного комсомольского лидера и подпольного мафиози. Жильвинас, носитель имени «короля ужей», с друзьями-бандитами насилует «тетю Стефу» (эта сцена соответствует эстетике безобразного: в ней присутствуют и менструальная кровь, и детали анального секса), и во время изнасилования она ощущает не только боль, но и трансформацию самой своей личности: «меня приканчивает дракон, еще немного, и я сама превращусь в дракона» [Gavelis: 367]. После изнасилования Стефа пытается применить свой чудесный кортик и бросается на Жильвинаса, но попытка не удается; потом она едет за город, в дом, где встречаются Варгалис, ее бывший любовник, с Лолитой, и тем же кортиком Стефа убивает соперницу.

Гавялис включил архаичную сказку в свою текстовую конструкцию, передвинув ее семантические акценты и выявляя принцип изоморфизма между эпизодами из сказки и «реальности»: в романе, будто в лабиринте с зеркалами, персонажи и мифологические образы отождествляются и умножаются, воплощая концепцию вечного зла — непобедимого, постоянно меняющего свои подобию, берущего свое начало у истоков цивилизации и расплодившегося в советском тоталитаризме.

Будучи дальше всех продвинутым в плане поиска новых форм выразительности, в плане содержания этот роман все же остается примером мифологического, а не исторического восприятия мира.

В условиях свободы

В послесоветское время «Эгле, королева ужей» не перестала интриговать воображение писателей, появились новые переработки сказки, например, спектакль-акция Оскараса Коршуноваса, соединивший мотивы сказки и пьесу Эльфриды Елинек «Подопечные» (2016) и проблематику беженцев [Ярош]. Наиболее значимый вклад в новейшую историю литературных переработок сказки внес драматург Марюс Ивашкявичюс.

Пьеса «Мадагаскар» (2004) скомпонована как мозаика сцен из вообразимой жизни реальных представителей межвоенного времени Литвы, среди которых главными являются: географ Казис Пакштас (в пьесе его фамилия трансформирована в Покштас, что на литовском языке означает «шутка») и поэтесса Саломея Нерис (в пьесе она действует под именем Саля). Покштас одержим морем, он постоянно провозглашает необходимость для литовского народа вернуться лицом к морю и, предчувствуя войну и опасность для независимости государства, лелеет идеи о переселении Литвы в Африку.

Главная героиня Саля в пьесе повторяет траекторию сказочной Эгле: первая встреча Покштаса и Сали происходит на берегу моря, застывший Покштас вглядывается в просторы Балтики и не понимает, что мешает девушкам выйти на берег после купанья. По странной фантазии Ивашкявичюса, Саля влюбляется в него, вернее, в его придуманный образ идеального возлюбленного, о котором она грезит, а Покштас занят лишь грандиозными проектами спасения нации и не интересуется любовью женщин. Герои вновь встречаются перед поездкой Сали в Москву, когда Покштас приходит к ней в гости и выражает свое восхищение поэмой «Эгле, королева ужей»:

«Покштас. <...> Вы же первая из поэтов, повернувшая женщину в морском направлении. Героиня вашей поэмы, супруга ужá, мне помнится, она в среде наших женщин есть путеводная нить прогресса. Отрекшись от сельских парней, а также наследной земли, смело она отдала себя ползучему гаду. Гад сей и есть устрашающее нас море. Избранная гадом жена — тут легко уже прочитывается нынешняя Литва. Некоторым образом... огорчает финал. Литовцы у вас убивают море острейшими косами, что перво-наперво отображает их континентальное мышление. <...>

Саля: Боже милостивый, это вы. Вы ничего не поняли. Поэма моя о любви. Поэма моя о нас. Женщина стоит в море, мужчина стынет на берегу. И нет никого, кто помог бы соединить эти две стихии в целостный континент...» [Ivaškevičius 2004: 94–95]¹.

Окончательно разочаровавшись в человеческой любви, Саля «поворачивается лицом» к сверхчеловеку, к Чудищу Всепожиратычу (в литовском языке слово «всепожиратель» — *visaryjantis* (висариянтис) — созвучно с *Виссарионович*). Сам Иосиф Виссарионович в пьесе не появляется, о нем только рассказывает трехглавое Чудище Литераторское, которое везет Салю в Москву как невесту, в приданое которой дается Литва. Под образом трехглавого чудища скрывается литературный журнал левой политической ориентации «Третий фронт» (1930–1931), активисты которого Антанас Венцлова, Пятрас Цвирка и Саломея Нерис в 1940 г. участвовали в сессии Верховного Совета СССР с ходатайством о принятии Литвы в состав Советского Союза. После восхождения Сали в «глубину левизны» и слияния с чудищем, по контрасту со сказкой, король ужей не становится человеком и позднее не погибает от мести братьев; наоборот, новая Эгле — Саля — теряет силу жизни и умирает, задыхаясь от ненависти литовского народа. Ее смерть оплакивает лишь Покштас, призывая всех — левых, красных, зеленых, а равно и никаких — «вернуться лицом» к дому, со скорбью понимая, что «Нет никого за нами».

¹ Русский текст пьес Ивашкявичюса цитируется в переводе Георгия Ефремова.

Комическая пародийность, некая кукольность персонажей пьесы выступает как противоположность трагическим судьбам героев, особенно их реальным прототипам. Ивашкявичюс не дает однозначной формулы осмысления истории, но предлагает искать индивидуальный подход к ее пониманию, открывает канал для эмпатии и личного восприятия былого времени и его людей. Сюжет сказки «Эгле, королева ужей», опознаваемый в нескольких фрагментах, не является структурной опорой организации материала; в этой пьесе переплетается много других сюжетов и парадоксальных диалогов между людьми, которые в реальности никогда не встречались и не могли встретиться. Бриколажный метод построения пьесы позволил Ивашкявичюсу создать причудливую картину утопий межвоенной Литвы и обнажить векторы, характерные для литовской культуры: архаическую тягу к социальной гармонии, поиск личной свободы, отказ от себя ради высшего блага.

Плюральность современного мира раскрывает пьеса Ивашкявичюса «Изгнание», посвященная теме эмиграции и попыткам утвердиться в чужой стране, в данном случае — Великобритании. Главная героиня — литовская девушка Эгле, приехавшая в Лондон, — должна отказаться от мечты быть фотографом и постепенно теряет свою идентичность: она в статусе содержанки живет с ненавистным человеком, который искажает ее имя, произнося его как английское *Ugly*. Между Эгле и главным героем Бенасом возникает чувство родства: на одну ночь девушка приводит малознакомого парня в дом сожителя, с надеждой на несколько часов вернуться в литовскую идентичность:

«Эгле: (стелет на полу) Спим у костра, о.к.? Я в его постель не хочу.

Бен: Так я тем более...

Эгле: И не нужно. Ugly пускай там ночует, а мы с тобой тут — в лесу...» [Ivaškevičius 2012: 70].

Утром Эгле выгоняет Бенаса, тем самым выбирая жизнь в «заколдованном облике» *Ugly*, во втором акте она уже уличная девка, а в конце пьесы Эгле предстает неузнаваемой мусульманской женой в никабе, т. е. потерявшей даже и собственное лицо. Вспомним, что в литовском языке употребляется идиоматическое описание дерева «ели» как женщины с платком на голове (или на плечах), таким образом, героиня в никабе тоже вызывает ассоциации с елью и в ироническом ключе актуализирует сказку про Эгле.

Концепцию мира, воплощенную в этой пьесе Ивашкявичюса, целесообразно сравнивать с идеями социолога Зигмунта Баумана о глобализованном и атомизированном обществе: способность героев «Изгнания» трансформироваться — аналогично свойству персонажей сказки менять свои ипостаси (человек, уж, дерево) — и такая нестабильность личности соответствуют метафоре Баумана «текучая современность».

Выводы. Исследование показывает, что модусы функционирования сказки «Эгле, королева ужей» в других произведениях позволяют очертить грани трансформаций общественного сознания советского и постсоветского времени. Таким образом, можно выделить семь траекторий.

- 1) Раздвоение сознания на историческом перепутье 1940 г., вектор инфантилизации и поворот к принятию авторитаризма (Нерис).
- 2) Отказ от строгой поляризации на своих и врагов, восприятие национальной идентичности как главного идеала (Марцинкявичюс). Тенденция сохраняется в мемуарах партийных деятелей, якобы вспоминающих об общих трудах на благо родной Литвы в советские времена.
- 3) Изобретение эзопова языка и рефлексия *homo sovieticus*, внутреннее отвержение советскости в период брежневского застоя. Мифологический параллелизм, особенно ярко работавший в театре (Мазурас) и в детской литературе (Сая), в условиях свободы отчасти теряет свою значимость, хотя сохраняется смысловой потенциал для его актуализации в других контекстах рецепции.
- 4) Дестабилизация ценностей и осознание разрыва с аграрной традиционной культурой, которая со времен оттепели воспринималась как альтернатива (модернизм Мартинайтиса versus архаичность Марцинкявичюса).
- 5) Позднесоветское ощущение безысходности, представление истории как вечного повторения зла, критическое отношение к стереотипам литовской идентичности (Гавялис).
- 6) Деконструкция исторических мифов, субъективный подход к неоднозначным личностям культуры (Ивашкявичюс).
- 7) Осознание невозможности стабильной идентичности, поиск моделей для выражения нового опыта (Ивашкявичюс, Коршуновас).

Распределение гендерных и социальных ролей авторов текстов, рассмотренных в статье, типично для патриархальной культуры: это мужчины (кроме Нерис); в большинстве участников политической и общественной жизни; лауреаты государственных и национальных премий (кроме Гавялиса). Естественно, что общая парадигма культуры незримым образом определяла вектор на тотализацию сознания, стремление к обобщению, преобладание коллективного над индивидуальным, несмотря на разность политических убеждений и эстетических предпочтений писателей.

В литературных интерпретациях сказки об Эгле советского времени выявляется тематическая доминанта насилия, предательства, убийства, ей соответствуют фигуры косы, кровавой пены, девяти братьев. В «мужском» корпусе текстов отсутствует проблематика частной жизни, т. е. любовь,

эротика, семейные отношения, внутренняя жизнь; игнорируется особенность биографии героини сказки, которую Каволис определил как эмансипацию женщины от общества и религиозной традиции, обретение магической силы [Kavolis 1992: 31]. При сравнении этой ветви литовской литературы с эмигрантской становится очевидным, что есть некоторые совпадения в мифологическом восприятии исторической травмы и ее выражения через образ кровавой пены, но с начала шестидесятых ошутима точка бифуркации по отношению к сказке: открытие «женского письма», интерес к личному, несистемному, дискретному — все то, что могло развиваться только в условиях свободы.

В послесоветской литературе переход в другую парадигму обозначает *поворот лицом* к историческому и к текучести современности. Отношение к мифу становится маркером для опознания водораздела между двумя текстопорождающими механизмами: 1) устройством, выполняющим функцию выстраивания картины мира, установления единства между сферами, 2) механизмом-контрагентом, генерирующим тексты, направленные на движение во времени, фиксирующие аномалии и отдельные случаи [Лотман: 225].

Для авторов XXI в. сказка «Эгле, королева ужей» остается открытым текстом, семантические ресурсы которого невозможно разгадать. История литературы доказывает, что эта сказка и впредь будет источником для литовских писателей, если, конечно, они будут расти с этой сказкой с раннего детства, как выросли многие другие поколения.

Литература

Константинова А., Мазурас В., Мазуриене Н. «Я мог делать что хотел. И до сих пор делаю!» // Петербургский театральный журнал. 2011. № 4 (66) URL: <http://ptj.spb.ru/archive/66/kukolnij-dom-66/ya-mog-delat-что-xoteli-do-six-pog-delayu/>.

Лотман Ю. М. Происхождение сюжета в типологическом освещении // Лотман Ю. М. Избранные статьи. Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллинн: Александра, 1992. С. 224–243.

Марцинкявичюс Юст. Девять братьев. Поэма / Перевод М. Родионова // Литва литературная. 1985. № 6. С. 77–91.

Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. Москва: Наука, 1976. 407 с.

Нерис С. Эгле, королева ужей // Нерис С. Ветер новых дней / Перевод М. Петровых. Москва: Художественная литература, 1979. С. 285–326.

Рыжакова С. И. Эгле королева ужей: о способах интерпретации одного сказочного сюжета в литовской культуре // Миф в фольклорных традициях и культуре новейшего времени / Отв. ред. С. Ю. Неклюдов. Москва: РГГУ, 2009. С. 49–70.

Сая К. Когда они стали деревьями / Пер. Е. Йонайтене. Москва: Советский писатель, 1980. С. 288–294.

Ярош К. Nothing to see. Go home // Петербургский театральный журнал. 2016. № 4 (86) ULR: <http://ptj.spb.ru/archive/86/social-theatre-86/nothing-to-see-gohome/>.

Eliot T. S. Ulysses, Order and Myth // The Dial. LXXV. 1923. November. P. 480–483 ULR: http://www.ricorso.net/rx/library/criticism/major/Joyce_JA/Eliot_TS.htm.

Fürer-Haimendorf C. von. Morals and merit. A study of values and social controls in South Asian Societies. Chicago: Chicago University press, 1967. 239 p.

Ivaškevičius M. Išvaymas: vieno obuolio kronika: pjesė. Vilnius: Apostrofa, 2012. 161 p.

Ivaškevičius M. Madagaskaras: trijų veiksmų pjesė. Vilnius: Apostrofa, 2004. 114 p.

Gavelis V. Vilniaus pokeris: romanas. Vilnius: Vaga, 1989. 398 p.

Girdzijauskaitė A. Lietuvių poezijos įvaizdžiai Vitalijaus Mazūro metaforų teatre // Kultūros barai. 2013. № 1. P. 54–58.

Kavolis V. Civilizational Processes in Contemporary Eastern Europe // Revue Baltique. Vol. 2. 1991. № 1. P. 95–100.

Kavolis V. Moterys ir vyrai lietuvių kultūroje. Vilnius: Lietuvos kultūros institutas, 1992. 155 p.

Loseff L. On the beneficence of censorship. Aesopian language in modern Russian literature. München: Verlag Otto Sagner in Kommission, 1984. 299 p.

Marcinkevičius Just. Devyni broliai // Eilėraščiai. Mažosios poemos. Vilnius: Vaga, 1975. P. 345–361.

Marcinkevičius J., Šepetytė D. “Europos virusu nebeužsikrėsiu” // Respublika. 2015. Gruodžio. 27 ULR: https://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/interviu/vilniaus_teatro_lele_vadovas_juozas_marcinkevicius_europos_virusu_nebeužsikrėsiu.

Martinaitis M. Kur pasakų pabaiga? // Pelenu antelė: pjesės lėlių teatrui. Vilnius: Vaga, 1980. P. 3–6.

Martinaitis M. Žemės duktė // Pasaka Eglė žalčių karalienė. T. 6: Variantai grožinėje literatūroje. [Kn.] 2. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013. P. 407–436.

Martinkus A. Eglė žalčių karalienė: viena lietuvių pasaka // Pasaka Eglė žalčių karalienė. T. 4: Tyrinėjimai, kitos žinios. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidykla, 2008. P. 202–275.

Nėris S. Eglė žalčių karalienė // Pasaka Eglė žalčių karalienė. T. 6: Variantai grožinėje literatūroje. [Kn.] 2. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013. P. 168–198.

Saja K. Po to, kai jie pavirto medžiais // Pasaka Eglė žalčių karalienė. T. 6: Variantai grožinėje literatūroje. [Kn.] 2. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013. P. 665–670.

Žukas S. Greimas ir lietuvių pasaka apie žaltį // Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos. T. 2. Sudarė Sverdiolas A., Landowski E. Vilnius: Baltos lankos, 2018. P. 445–458.

References

Konstantinova A., Mazuras V., Mazuriene N. “Ya mog delat’ chto hotel. I do sikh por delayu!” // Peterburgskij teatral’nyj zhurnal. 2011. № 4 (66) URL: <http://ptj.spb.ru/archive/66/kukolnij-dom-66/ya-mog-delat-chto-xotel-i-do-six-por-delayu/>.

Lotman Yu.M. Proiskhozhdenie syuzheta v tipologicheskom osveshhenii // Lotman Yu.M. Izbrannye stat’i. T. 1: Stat’i po semiotike i tipologii kul’tury. Tallinn: Aleksandra, 1992. S. 224–243.

Marcinkyavichyus Yust. Devyat’ brat’ev. Poema / Perevod M. Rodionova // Litva literaturnaya. 1985. № 6. S. 77–91.

Meletinskij E. M. Poetika mifa. Moskva: Nauka, 1976. 407 s.

Neris S. Egle, koroleva uzhej // Neris S. Veter novykh dnei / Perevod M. Petrovykh. Moskva: Khudozhestvennaya literatura, 1979. S. 285–326.

Ryzhakova S. I. Egle koroleva uzhej: o sposobakh interpretacii odnogo skazochnogo syuzheta v litovskoj kul’ture // Mif v fol’klornykh tradiciyakh i kul’ture novejshego vremeni / Otv. red. S.Yu. Neklyudov. Moskva: RGGU, 2009. S. 49–70.

Saya K. Kogda oni stali derev’yami / Per. E. Jonajtene. Moskva: Sovetskij pisatel’, 1980. S. 288–294.

Yarosh K. Nothing to see. Go home // Peterburgskij teatral’nyj zhurnal. 2016. № 4 (86) URL: <http://ptj.spb.ru/archive/86/social-theatre-86/nothing-to-see-gohome/>.

Eliot T. S. Ulysses, Order and Myth // The Dial. LXXV. 1923. November. P. 480–483 URL: http://www.ricorso.net/rx/library/criticism/major/Joyce_JA/Eliot_TS.htm.

Fürer-Haimendorf C. von. Morals and merit. A study of values and social controls in South Asian Societies. Chicago: Chicago University press, 1967. 239 p.

Ivaškevičius M. Išvaymas: vieno obuolio kronika: pjesė. Vilnius: Apostrofa, 2012. 161 p.

Ivaškevičius M. Madagaskaras: trijų veiksmyų pjesė. Vilnius: Apostrofa, 2004. 114 p.

Gavelis V. Vilniaus pokeris: romanas. Vilnius: Vaga, 1989. 398 p.

Girdzijauskaitė A. Lietuvių poezijos įvaizdžiai Vitalijaus Mazūro metaforų teatre // Kultūros barai. 2013. № 1. P. 54–58.

Kavolis V. Civilizational Processes in Contemporary Eastern Europe // Revue Baltique. Vol. 2. 1991. № 1. P. 95–100.

Kavolis V. Moterys ir vyrai lietuvių kultūroje. Vilnius: Lietuvos kultūros institutas, 1992. 155 p.

Loseff L. On the beneficence of censorship. Aesopian language in modern Russian literature. München: Verlag Otto Sagner in Kommission, 1984. 299 p.

Marcinkevičius Just. Devyni broliai // Eilėraščiai. Mažosios poemos. Vilnius: Vaga, 1975. P. 345–361.

Marcinkevičius J., Šepetytė D. “Europos virusu nebeužsikrėsiu” // Respublika. 2015. Gruodžio. 27 ULR: https://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/interviu/vilniaus_teatro_lele_vadovas_juozas_marcinkevicius_europos_virusu_nebeužsikrėsiu.

Martinaitis M. Kur pasakų pabaiga? // Pelenų antelė: pjesės lėlių teatrui. Vilnius: Vaga, 1980. P. 3–6.

Martinaitis M. Žemės duktė // Pasaka Eglė žalčių karalienė. T. 6: Variantai grožinėje literatūroje. [Kn.] 2. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013. P. 407–436.

Martinkus A. Eglė žalčių karalienė: viena lietuvių pasaka // Pasaka Eglė žalčių karalienė. T. 4: Tyrinėjimai, kitos žinios. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidykla, 2008. P. 202–275.

Nėris S. Eglė žalčių karalienė // Pasaka Eglė žalčių karalienė. T. 6: Variantai grožinėje literatūroje. [Kn.] 2. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013. P. 168–198.

Saja K. Po to, kai jie pavirto medžiais // Pasaka Eglė žalčių karalienė. T. 6: Variantai grožinėje literatūroje. [Kn.] 2. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013. P. 665–670.

Žukas S. Greimas ir lietuvių pasaka apie žaltį // Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos. T. 2. Sudarė Sverdiolas A., Landowski E. Vilnius: Baltos lankos, 2018. P. 445–458.

Сведения об авторе: Лорета Мачянскайте; доктор гуманитарных наук (PhD); старший научный сотрудник Института литовской литературы и фольклора; доцент Вильнюсского университета; ORCID 0000-0001-8106-3406; loperpetua@gmail.com; сфера научных интересов: современная литовская литература и театр, семиотика культуры.

The author's profile: Loreta Macianskaite; PhD in Humanities; Senior researcher at the Institute of Lithuanian Literature and Folklore; Associate Professor at the Vilnius University; ORCID 0000-0001-8106-3406; loperpetua@gmail.com; research interests: Modern Lithuanian literature and theatre, semiotics of culture.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНОЕ ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ

УДК 811.161.1

DOI: 10.25688/2619-0656.2020.14.05

РИТОРИКА И ГОМИЛЕТИКА В ИНТЕРВЬЮ СЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА О СВЯЗИ РОССИЙСКИХ ПРОБЛЕМ С ПРОБЛЕМАМИ ГЛОБАЛЬНЫМИ

RHETORIC AND HOMILETICS IN AN INTERVIEW WITH HIS HOLINESS PATRIARCH KIRILL ON THE CONNECTION OF RUSSIAN PROBLEMS WITH GLOBAL PROBLEMS

**Журат Валиевич Ганиев,
Московский городской педагогический университет,
Москва, Россия**

**Zhurat Valievich Ganiev,
Moscow City University,
Moscow, Russia**

Аннотация

В разбираемом интервью Святейшего Патриарха Кирилла и в комментариях к нему раскрывается растущая роль Русской Православной Церкви и ее предстоятеля в общественной жизни России и оценки ее деятельности за рубежами нашей Родины. В исследовательской части работы анализируются лексические и стилистические особенности речи Патриарха, выделяются риторические приемы и тактики, использованные в рассматриваемом тексте, отмечаются ключевые слова, концептуализирующие содержание интервью.

Ключевые слова: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, рождественское интервью, риторика, гомилетика, нравственность.

Abstract

The Holy Patriarch's interview and commentaries on it reveal the growing role of the Russian Orthodox Church and its Primate in the public life of Russia and assess its activities abroad. We will learn how the ROC evaluates such moral

norms as conscience, justice, Western European moral duty, Orthodox prayer, the role of the ROC in the middle East, etc.

Among the countless speeches of the Metropolitan, and after the enthronement of the Patriarch he has delivered over the decades, the epideictic or encomium is a smaller part of them, among them more missionary speeches intended for the widest audience, warning or preventive, in which the Holy Patriarch acts as a spiritual pastor, calling on believers and non-believers, the people as a whole to live according to the laws of Evangelical morality. Of the many thoughts and feelings in such speeches, the concern of His Holiness in the context of the relationship between Church and society, Church and state is most often seen.

As a rule, his Holiness Patriarch's missionary speeches are devoted to revealing the basic truths of the Gospel, and most often they raise issues of human conscience. Such speeches include the "Christmas interview of his Holiness Patriarch Kirill" to one of the prominent journalists from the Rossiya TV channel on January 7, 2018. The major spiritual problems worthy of clarification and explanation during the Christmas holidays are in most cases global problems, in the context of which Russia plays the role of a defender of the truth in the world today, which is especially clear for objective people, for example, in international relations. In this interview, his Holiness touches on the problem of Russia's national identity, the degree of danger for Russia in overcoming risks, the reality of the global Apocalypse, the canonization of the family of Emperor Nicholas II, the Ukrainian issue — the end of the civil war; the interview touches on neighboring problems— Syria as a hot spot, where even in the 21st century there is still a danger of the destruction of Christians by radical forces, the election of the President of Russia, opportunities for building a digital economy in Russia, property stratification, as a blatant phenomenon in our society.

Key words: his Holiness Patriarch Kirill, Christmas interview, rhetoric, homiletics, moral duty.

Прокомментируем практически все интервью Святейшего патриарха, ответ за ответом¹, чтобы найти причину финальной эмоциональной оценки, которую дал текстам Патриарха Дмитрий Киселев — директор отдела информации ВГТРК, один из самых успешных работников российского телевидения: «это удивительное интервью».

Блестящий знаток публицистической и научной речи, точнее — указанных стилей книжной речи, Святейший Патриарх употребляет слова *совестливая*² (о России), *совестливость* и *прагматизм* в необычном («не первом»)

¹ Для удобства комментируемый текст также приводится в статье в отдельных сносках. Важнейшие с точки зрения риторики и гомилетики слова Святейшего Патриарха выделены в его ответах полужирным шрифтом.

² *Святейший Патриарх:* Есть нечто такое, что лежит в основе мотивации абсолютного большинства наших людей, если они прислушиваются к внутреннему голосу, который

значении. О богатстве речи его говорит синонимика *голос совести* — *совестливый* (*совестливость*). С другой стороны, значение слова *прагматизм* (употребленное в ответе настойчиво, трижды) «следование узкопрактическим интересам, соображениям пользы, выгоды во всяком деле, поведение, деятельность, вытекающие не из принципиальных соображений, а из корыстных побуждений», по приводимым текстовым противопоставлениям безошибочно становится антонимом гнезда слов *совестливый*, *совестливость* «поступающий по совести, стыдящийся делать что-л. несправедливое, неблагоприятное; чувство стыда за несправедливый, нечестный, неделикатный поступок». Возвращаясь к антонимическому противопоставлению и поясняя слова о «не первом» значении в толковании, поясним, что славянские *совестливость*, *совестливый* употреблены Патриархом в первом по словарному порядку значении (т.е. именно оно даже в изолированном употреблении первым приходит нам на ум). А *прагматизм*, который мы безошибочно в этом тексте противопоставляем приведенным словам, все же назван в словарях в конце соответствующих статей, в нем еще сильны древнегреческие значения.

Глубокую правоту слов Патриарха о мотивации, о совести как о внутреннем голосе большинства наших людей подтверждают свидетельства многих философов, критиков, писателей. Обратимся к размышлениям по поводу мирового национального своеобразия концептов *совесть* у разных известных народов, поскольку это слово вынесено Патриархом в начало его ответа. На рубеже XIX–XX вв. философ и писатель Л. И. Шестов писал о разных духовных «опорах» у известных народов Европы; так, для немца главное — чувствовать себя правым, это символ справедливости, «справедливость в ходу у культурных расчетливых народов. ...У русского — вечные дела с совестью, которые ему обходятся во много раз дороже, чем самому нравственному немцу или даже англичанину его справедливость...». На полвека раньше о совести писал публицист и славянофил И. В. Киреевский: «Западный всегда доволен своим нравственным со-

мы называем совестью. Думаю, своеобразие во многом определяется тем, что Россия совестливая, хоть это иногда создавало проблемы для нашей страны. В истории страны очень много случаев, когда совестливость брала верх над прагматизмом. Это Крымская война 1853–56 гг., защита Православия на Святой земле. Не геополитические идеи вдохновляли наших людей защищать святыни и защищать православных на Святой земле, а совесть. А балканские войны при Александре II? Тысячи и тысячи простых русских людей пошли воевать за братьев-славян, а вместе с ними и генералы, члены царской семьи, — что это, только прагматизм? Да разве ради прагматизма человек способен умереть? Никогда в жизни. Это движение навстречу опасности, ради того, чтобы защитить — тоже от голоса совести. А Николай II и начало Первой мировой войны, когда мы заступились за сербских братьев? В истории России эта совестливость просматривается очень ясно.

стоянием, почти каждый из европейцев готов, с гордостью ударяя себя по сердцу, говорить себе и другим, что совесть его вполне спокойна, что он совершенно чист перед Богом и людьми. Русский человек, напротив того, всегда живо чувствует свои недостатки, даже в самые страстные минуты всегда готов осознать его нравственную незаконность». В оценках философов хорошо просматривается едкая ирония при противопоставлении мук совести русского человека и «морального долга» западноевропейцев. Известный русист, петербуржец, наш современник профессор СПбУ В. В. Колесов писал совсем недавно: «...В европейской христианской культуре рациональность в проявлениях совести связана с действием рассудка, определяется нормами личного поведения и обращена на оценку действий — своих (у англичан), чужих (у французов) и абстрактных (у немцев). В русской ментальности «совесть» предстает как чувство личной ответственности за свои мысли, слова и деяния — внутренняя потребность дать нравственную оценку, прирожденное чувство справедливости, правды и чести, инстинктивное стремление к добру и любви — чисто духовный концепт, не определяющий характер возможного действия, но связанный с рефлексией о нем» [1, т. 2: 289–291].

В следующем вопросе журналиста¹ имеется слово *крест* в переносном значении сакральной метафоры. Поскольку оно евангелического происхождения, в этом же духе оно сохраняется и в ответе Патриарха. В центре внимания его ответа-разъяснения², в отличие от предыдущего ответа Патриарха, находится понятие *нравственности* (*нравственное измерение, нравственное чувство*) и *справедливости*. Как пишет В. В. Колесов, нравственность — это представление о добре и зле, истине и справедливости, определяющее духовную сторону существования человека и регулирующие его поступки, помыслы и намерения. Нравственность — результат развития идеи ответственности потомков перед предками и перед последующими поколениями. Эти идеи существуют не столько в разуме, сколько

¹ *Журналист*: Многие считают, что Россия пытается играть в мире несоразмерную роль и в этом даже есть некие риски для нашей страны. Так по силам ли крест?

² *Святейший Патриарх*: От креста не полагается отказываться, — учит Православная Церковь. Если Россия принимает на себя этот крест, то Бог даст и силы его нести. Самое главное, чтобы нравственное измерение в политике никогда не поглощалось сугубо прагматическими целями, далекими от нравственности. И если мы в политике, в жизни, своем общественном устройстве будем стремиться к тому, чтобы справедливость существовала, чтобы нравственное чувство людей было спокойно, то нам непременно придется нести некий крест. Несомненно, в мире есть люди, которые не согласны с нашей позицией. Но еще раз хочу сказать: если Бог возлагает крест, то дает и силы его нести. Сам факт несения этого креста имеет огромное значение для всего человеческого сообщества. Как бы ни пытались представить в иных красках нашу внешнюю политику, она будет притягательной для очень многих людей в мире до тех пор, пока будет сохранять нравственное измерение.

в душе и обуславливают добровольное желание любить мир и людей. Добрый смысл жизни должен быть понят и усвоен верою, разумом и опытом человека — тогда его жизнь будет нравственной. Нравственность порождена христианским учением; не подкрепленная христианством, нравственность убывает от поколения к поколению. Нравственность определяется каждым человеком в его душе по законам природы, чести и совести; нравственности нет там, где нет свободы выбора. Совесть у честных людей стоит выше и ценится выше, чем нравственность. В этом нравственность принципиально отличается от западноевропейской *морали* — последняя рационально устанавливает систему этических норм общества, которые выступают как должное, но не как сущее и не означают их реального исполнения. Для Запада это внешний закон, но не как внутренняя потребность добра. Поэтому разумный, логически мыслящий человек там всегда придерживается общепринятой морали, но не всегда является нравственным человеком (см. [1, т. 1: с. 525]).

Славянофил и патриот, активный политик в годы русско-турецкой войны 1870-х гг. И. С. Аксаков считал: «...Наше преимущество заключается именно в том, что всякое уклонение нашей политики от начал нравственных нам удается плохо и возбуждает сильный протест нашей собственной, общественной исторической совести». Российский религиозный философ Н. А. Бердяев, вынужденный с 1922 г. жить вне исторической родины, утверждает: «В русском мышлении нравственный момент преобладает над моментом чисто интеллектуальным. Западным же людям свойствен объективирующий интеллектуализм, который очень охраняет от вторжений в чужую жизнь» (см. [там же: с. 525–526]).

Далее речь заходит о конце света. *Апока́липсис* (с прописной буквы) — часть Библии, одна из книг Нового Завета, содержащая рассказы о судьбах мира и человека, пророчества о конце света. Вместе с упоминанием об ответственности Церкви — это еще один случай употребления понятия из гомилетики в интервью.

Исчезновение света означает в бытовой речи всеобщую катастрофу (*конец света*). При обозначении Вселенной *свет* осознается как гипероним (слово в широком значении: *этот свет*); то же при обозначении потустороннего мира (*отправить на тот свет*). На противоположении добра и зла построены все наши нравственные понятия, вся наша нравственная деятельность. Добром называется то, что ведет к счастью, злом — то, что ему противоречит. С. Л. Франк, русский религиозный философ, высланный из РСФСР в 1922 г., считал: «...Добывает и накапливает добро только подвижник — и каждый из нас лишь в той мере, в какой он есть подвижник и посвящает свои силы внутреннему подвигу... А единственный способ реально уничтожить зло есть вытеснение его сущностным добром; ибо зло, будучи пустотой, уничтожается только заполнением и, будучи тьмой, рассеива-

ется только светом...» Свидетельство добра есть истина. Зло есть образ нашего плена. Добро — образ нашей свободы. Добром называется только то, что способствует общему благу. Добро — это реализованная свобода, абсолютная конечная цель мира... И только человек, поскольку он может быть и злым, добр. Добро и зло неразделимы... (см. [1, т. 1: с. 206–207]). Зло вводит человека в грех, приводит к беде, ввергает в горе и отчаяние, так как отнимает надежду и лишает счастья. Философ-славянофил И. В. Киреевский высказал мнение: «...Зло столько же противоречит уму, сколько чувству, следовательно, зло не что иное, как слабость». Историк В. О. Ключевский: «Зло не рождается из самого себя, а выделяется при неумелом обращении с добром». Философ XIX в. С. Н. Трубецкой, отец филолога и философа Н. С. Трубецкого: зло — «это жизнь паразита...: она может осуществляться лишь за счет какого-либо другого существа...» Философ Н. А. Бердяев: «Зло есть перемещение в центре бытия, сдвиг в мировой иерархии, после которого низшее становится на место высшего, материальное начало овладевает гордым духом, материальное становится на место духовного...Зло связано с личностью, только личность может творить зло и отвечать за зло... Зло всегда крадет у добра». Недостаточно избегать зла — надо еще делать добро (см. [там же: с. 310–311]).

Опираясь на эту тему, журналист вновь подталкивает Патриарха к разговору о сущности русского человека, задавая вопрос о гибели царской семьи¹. Как и в ответе на первый вопрос, здесь в ответе Патриарха основным речевым феноменом становится антонимическая пара *слабый* человек — *сильный* человек (напомню, что в ответе на 1-й вопрос контекстуальной парой были *совесть* — *прагматизм* как этические качества). В тексте ответа употреблены прилагательные, которые в иных контекстах могут иметь множество других значений². Сильным ли был или слабым импера-

¹ *Журналист*: Но у нас были в истории периоды, когда добро и зло оказывались неразличимы, тому пример — убийство царской семьи, свершившееся 100 лет назад. Что же означает эта дата? И когда же кончатся, наконец, всевозможные экспертизы?

² *Святейший Патриарх*: Сейчас распространено мнение, что царь был слабым. Но давайте подумаем: он был внутренне слабым или внутренне сильным человеком? Ведь он обладал властью прикончить Государственную Думу одним хлопком, разогнать все партии, вновь ввести цензуру, — у него была реальная политическая власть. Но он ею не воспользовался. Наши либеральные историки до сих пор поливают императора Николая II грязью и превозносят императора Александра II. Но кто больше сделал для того, чтобы открылись демократические обсуждения проблем участия общества в формировании государственной политики — Александр II или Николай II? Конечно, Николай II. Но смотрите, что происходит! Его свергают, — как он сам говорил, «кругом предательство», затем зверски уничтожают всю семью, имя смешивают с грязью, и даже те, кто к нему относится без особого негативного чувства, говорят: «Слабый был». Но если бы он был слабым человеком, то не принял бы смерть так, как он ее принял.

тор Николай II — это рассуждение Патриарха станет нам понятнее, если при обсуждении антонимической пары мы используем производящие лексико-грамматические антонимы *слабость* — *сила*. Сохраняя постоянную семантическую связь с прилагательными, производящие существительные (в переносном значении) в своих контекстах более определённы и лучше поддаются лексикографической обработке. Приведем примеры. «К духу тоже применима категория *силы*. Христос говорил, как власть имеющий, т.е. говорил *с силой*. И это есть образ иной *силы*, чем та, которой поклоняется наш мир. Мы ведь говорим: *сила духа, сила веры, сила мысли, сила любви, сила подвига и жертвы, сила творческого подъема*. Мы говорим о *силе правды, силе свободы, о силе чуда*, опрокидывающего власть силы природной... От чего зависит *сила права*, противопоставляемая *силе бесправия*? Это целиком зависит от сознания людей, от верования людей и народов, от господства совести...» (Н. А. Бердяев). Н. О. Лосский, как и Н. А. Бердяев, изгнанный из Родины в 1922 г., считал: «К числу первичных основных свойств русского народа принадлежит могучая *сила воли*. Отсюда становится понятно страстность многих русских людей».

Обратимся к антониму: «Сама по себе *слабость* не является пороком, потому традиционно вызывает в зрелых людях жалость, а не осуждение...» (В. В. Колесов). «Русский человек, и в особенности человек интеллигентный, редко страдает излишним сомнением; скорее его можно упрекнуть в противоположной *слабости*» (П. Н. Ткачев, народник-публицист). Могут вызвать улыбку слова французского ученого Ж. А. Пуанкаре: «...Многие из нас пугаются истины; они видят в ней причину *слабости*; и все же не надо бояться истины, потому что только она прекрасна» (см. [1, т. 2: с. 252–253]).

Гомилетика, представленная в ответе о ситуации в Украине¹, по сравнению с гомилетической составляющей в других предшествующих ответах, мощнее всего. А это ясно даже при «развязывании» конфликтов в окружающей нас жизни: если мы не видим ясно, чем можно помочь, чтобы

¹ *Святейший Патриарх*: Сама по себе молитва — это очень сильный момент. Понимаю, люди нерелигиозные этого понять не могут, но те, кто проходил через опыт молитвы, знают, что небеса отвечают. В течение жизни человек постоянно обращается с молитвой к Богу и остается до конца дней верующим. Это означает, что он получает ответ, что небо для него не закрыто. И в этом смысле, когда мы говорим, что молимся за мир, за примирение людей на Украине, за преодоление братоубийственного конфликта, мы вкладываем в свои слова нашу уверенность в том, что Господь приклонит в какой-то момент милость к украинскому народу и междоусобная брань прекратится.

Кроме того, очень большую роль играет наша Украинская Православная Церковь. Сегодня она является миротворческой силой на Украине, ведь паства у нее есть и на востоке, и на западе, и в центре страны. Она не может обслуживать политические интересы отдельных групп, партий или географических районов Украины. Она призвана нести

«уладить дело», мы стремимся с помощью молитвы прибегнуть к Божьей помощи. А что это означает относительно содержания ответа на вопрос о ситуации в Украине? Реальных рычагов для примирения враждующих сторон беседующие (и мы с ними) не видят. Началось все это с концепции Союза Советских Социалистических Республик, принятой в качестве конституционной основы в декабре 1922 г. по инициативе В. И. Ленина. А концепция выросла из ленинского предложения об установлении Советской власти, изложенного в Декларации от октября 1917 г. на съезде Советов: любая национальная часть бывшей Российской империи получала право полной автономии и отделения от бывшей метрополии. Так РСФСР осталась без добровольно отделившихся Польского королевства, Финляндии, Латвии, Литвы, Эстонии. Казалось бы, это массовое «бегство» должно было насторожить, но нет — формулировка о праве на добровольное отделение сохранялась во всех последующих редакциях советских конституций. Вообще-то, как часто бывало в политике, одно прокламируется, а на самом деле происходит несколько другое. Так, в 50-е гг. президент Финской Республики, большой «друг» СССР и Н. С. Хрущева, затронул вопрос о референдуме в одной из 16-ти социалистических республик — в Карело-Финской ССР: не желает ли население быть гражданами Финляндии? Реакция последовала мгновенно: наши конституционные власти республику переименовали в Карельскую АССР и включили в состав РСФСР. Автономные республики, в отличие от 15-ти советских социалистических республик, не имели конституционного права на самостоятельное отделение. И все же ленинский план права на самостоятельность национальных республик сработал: после бурных событий в Прибалтике, Закавказье, в Средней Азии и т.д. СССР по «инициативе» трех «основоположниц» СССР (РСФСР, Украина, Белоруссия) в конце 1991 г. превратился в СНГ (Союз Независимых Государств). Нельзя сказать, что этот развал произошел без вмешательства недругов Советского Союза, но тем не менее руководство трех названных республик подписали соответствующий договор.

Поскольку Украина не укрепляла единство своих составных частей с их разнообразным по национальному составу, национальным культурам, по хозяйственному (промышленному и аграрному) развитию,

всем ту весть, которая способна преобразовать умы и сердца людей и в том числе содействовать примирению.

Что же касается всей нашей Церкви, то мы в меру своих сил пытались содействовать возвращению пленных. По милости Божией, в преддверии Нового Года и Рождества Христова произошел массовый обмен военнопленными, хоть и не такой, как мы бы хотели. Поэтому мы считаем, что это первый этап программы обмена военнопленными, в реализации которой с самого начала и до сегодняшнего дня активное участие принимает наша Церковь.

то в конце 80-х гг. и вплоть до 2014 г. противостояние трех ее крупнейших регионов нарастало. «Западенцы», центральные районы и юго-восток все больше расходились по самым насущным проблемам совместной жизни, причем губительную политику всё интенсивнее стали проводить националисты-экстремалы из западных районов. Они диктовали свои требования центральной власти в Киеве, не гнушались насильственными методами устрашения инакомыслящих. В этих условиях весной 2014 г. крымчане провели референдум и отделились от Украины. Такое же решение приняло население юго-восточных областей, и были образованы непризнанные Донецкая и Луганская Народные Республики. Между населением этих республик и «нациками» началась гражданская война, причем экстремалы западного толка хотят силой вернуть население юго-востока в состав «Незалежной ридной України». В настоящее время почти непрерывно ведется обстрел и бомбардировка населенных пунктов Донбасса, за 5 лет погибли тысячи бойцов и мирное население из Донбасса, разрушены десятки тысяч строений. Правительство Киева наотрез отказывается выполнять требования Минского протокола, где прописана «дорожная карта» реального развязывания украинского «узла» при соблюдении интересов враждующих сторон. В этих условиях в очень трудном положении находится Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, она была неоднократно свидетельницей религиозных расколов и замен митрополитов.

Возвращаясь к началу ответа Святейшего Патриарха на вопрос журналиста о ситуации в Украине, остается только уповать на Господа Бога, на силу молитвы. Вот почему мы находим нарастание гомилетического начала в ответе Патриарха. Он начинает с сути молитвы и говорит о ее силе, нашей уверенности в том, что *Господь приклонит милость к украинскому народу и междоусобная брань прекратится.*

Молитва в словесной форме содержит выражение покаяния, любви, просьбы и благодарности за помощь. Молитва облечена в определенную каноническую форму, предполагает смирение и покорность человека. Как проявление культового обряда молитва является неотъемлемой частью человеческой жизни. Молитву принимают как что-то торжественное, возвышенное, исключительное. Условием настоящей молитвы является прошение. В православии большое значение придается способу молитвы (тихая молитва, одинокая, общая, во время богослужений и в другое время, на коленях, с поклонами, лежа крестом; паломничество, пост. Молитва — это единение человека с Богом в виде непрерывной памяти о Нем (см. [1, т. 1: с. 452–453]). Кроме непрекращающейся молитвы, РПЦ постоянно оказывает страдающему населению гуманитарную помощь и настаивает на обмене военнопленными.

Следующий фрагмент рождественского интервью посвящен войне в Сирии. Ближний Восток — это место зарождения христианства, которое тесно связано с иудаизмом как с предшествующей монотеистической религией и является по сути ересью древнееврейской религии (с отклонениями от официальной церковной доктрины в области догматики и культа). Это можно проиллюстрировать хотя бы сопоставлением содержания десяти Моисеевых заповедей с Нагорной проповедью Господа нашего Иисуса Христа в Евангелии от Марка. Среди стран, население которых в самую раннюю пору приняло христианство, находится и Сирия со своим особым, ныне почти утраченным сирийским языком. Мы не намерены перечислять другие государства в качестве оплотов раннего христианства, добавим только, что Сирия соседствует с Иорданией, где Иоанн, двоюродный брат Христа, крестил Спасителя в полноводной в те времена реке Иордан, в одном из сирийских православных храмов хранится усекновенная глава Иоанна-крестителя, а в недалеком от Сирии Иерусалиме находится Храм Гроба Господня.

Нынешний конфликт на территории Сирии носит в основном геополитический характер, направленный в конечном итоге против российского народа и законной власти в России. Зачинщиком противоборства после Второй мировой войны были США с их агрессивной политикой — попытками играть первую, ведущую, решающую роль в любой точке земного шара. Еще с XIX в. агрессивные круги этой страны в своей захватнической политике избрали тактику подкупа, направленную против враждебных правительств с целью овладения их территориями. Таким образом они сумели подчинить правительства и воюющие с США армии практически всех государств Центральной и Южной Америки, присоединили несколько важнейших штатов (напр., Техас, юг Калифорнии, территории на севере США и т.д.) в войнах с Испанией, Мексикой; у России были куплены п-ов Аляска и Алеутские о-ва, у Франции — Западная Луизиана. Что касается последних десятилетий американских диверсий на Ближнем Востоке и севере Африканского континента, на этих территориях путем подкупа созданы вооруженные силы, состоящие в основном из боевиков. Все «победы» в указанных районах (с физической ликвидацией лидеров суверенных стран Ирака, Ливии и др. Хуссейна, Каддафи и др.) одержаны путем подкупа ближайших к будущим жертвам лиц, в том числе из числа генералитета, и направлены на военное и политическое ослабление Российского государства и впоследствии на захват наиболее важных регионов нашей страны. К такому южному направлению в агрессии против России американцев натолкнули наши военные и политические неудачи ограниченного военного контингента СССР в афганской войне при наших генсеках Брежнев, Горбачеве и др. Выяснилось, что наше командование во главе с министрами обороны не готово одолеть «душманов»,

которым американцы оказали существенную военную помощь, а живую силу привлекли из арабских стран, числившихся союзниками США. Исход афганской кампании подготовил США к вторжению силами арабских экстремистов на Северный Кавказ и к привлечению на свою сторону экстремистски настроенных чеченских, дагестанских и др. боевиков. Две кампании, проведенные нашими войсками в Чечне, не снискали им особых лавров, пока к концу 90-х гг. не стало ясно, что с такими «оппонентами» весьма эффективными оказываются политические методы, в том числе метод переговоров. В Чечне такой работой занялись работники нашей госбезопасности и здоровая часть чеченского общества, которую в наше победное время олицетворяли отец и сын Кадыровы, избранные поочередно руководителями Чеченской Республики.

Такой опыт принес крупный успех вооруженным силам законного правительства Сирии во главе с президентом Асадом, которых поддерживает небольшой контингент наших войск, обосновавшихся на законной договорной основе на военных базах — военно-морской Тартус и военно-воздушной Хмеймим на территории суверенной Сирии. Почему США и их арабские союзники избрали южный путь для возможной агрессии против России («слабое южное подбрюшье»)? Они рассчитывают на поддержку своих авантюрных действий при помощи сторонников т. н. мусульманского экстремизма из числа незрелой и недалёковидной части населения республик Северного Кавказа, а также со стороны политически близкой к ним части населения бывших среднеазиатских республик распавшегося СССР. Наша страна противопоставляет этим попыткам зрелую национальную политику на взаимоуважительной и взаимовыгодной основе. Нельзя сказать, что наша национальная политика в советские времена снискала уважение и мы обрели надежных союзников в лице представителей местной национальности. Об этом говорят события, сопровождавшие распад СССР: случаи ожесточенного бытового национализма, массового изгнания русскоговорящих с насиженных мест их проживания и мест работы. Чего стоит, например, борьба вокруг «государственных» языков и обсуждения реального места русского языка в хозяйственном и культурном строительстве на местах, в работе с молодежью?! А ведь десятки миллионов молодых людей из союзных республик обрели специальности, обучаясь на русском языке как в пределах родных им республик, так и за пределами их, в особенности на российской территории, среди русскоговорящей молодежи. Конечно, выгоднее учиться на чужих ошибках, нежели на своих, допущенных в прошлом, в ходе претворения в жизнь национальной политики, но что ж тут поделаешь, в особенности задним числом? Но и тут надо использовать опыт «старых» кадров, стараться выигрывать на всех «площадках», где встречаются интересы разных сил. Одно можно сказать, что у этих сил име-

ется общая основа интересов — и экономических, и культурных, и гуманитарных, и административных, направленная против общих недругов, которые, кстати, не скрывают сути своих, полярных по отношению к нам, интересов.

Далее журналист спрашивает об отношении Церкви к президентским выборам. Несмотря на то что специфика выборов в Церкви не совпадает со структурой и охватом электората в выборах светской, гражданской власти, накануне выборов Президента РФ в 2018 г. Святейший Патриарх счел возможным воспользоваться аналогией в процедурах избрания высших должностей в Церкви и в РФ и призвал граждан страны принять активное участие в выборах президента страны. Другими словами, авторитет Святейшего Патриарха способствует увеличению процента участия граждан в таком ответственном деле, как прямые и всеобщие выборы главы государства. Не секрет, что при налаженной процедуре демократических выборов во всем цивилизованном мире проведение повторных выборов сопровождается падением интереса граждан к этой ответственной процедуре. Несколько десятилетий назад в СССР, чтобы искусственно повысить процент участвующих в голосовании, выборы на высокие государственные должности проводились в зимние месяцы, а по квартирам рассылались «агитаторы» (как правило, молодые люди, которые не всегда находили нужные слова по сути выборов или убедительные слова об авторитете кандидатов), так что люди в возрасте и «бывалые» граждане считали возможным уклониться от участия в выборах. Поэтому и вопрос политобозревателя ВГТРК, одного из самых популярных телеканалов страны, и ответ Патриарха с соответствующей параллелью из практики избрания высшего иерарха в РПЦ являются уместными и политически оправданными.

Следующей проблемой становится отношение к цифровизации экономики России. Ответ Патриарха выглядит неожиданным¹: он впервые

¹ *Святейший Патриарх.* У нас в Церкви тема цифровой экономики связывается с двумя понятиями. С одной стороны, существует понятие эффективности, на этом настаивают светские люди, особенно управленцы. Несомненно, внедрение цифровых технологий обеспечит большую эффективность процесса принятия решений, что, конечно, хорошо. Но у Церкви есть еще и другое понятие — безопасность. И речь идет не только о возможности злонамеренных сил использовать цифровые технологии для того, чтобы оказать непоправимый ущерб стране, обществу или кому-то из людей, это все технологический уровень. Я бы сейчас поговорил о духовном уровне. Церковь очень обеспокоена тем, что современные технические средства способны тотально ограничить человеческую свободу. Приведу простой пример. У нас есть горячие головы, которые с восторгом говорят о необходимости ликвидировать наличные деньги и перейти исключительно на электронные карточки. Это обеспечит прозрачность, контроль — ну, все те аргументы, которые многим хорошо знакомы. Все это так. Но если вдруг, в какой-то момент исторического развития, доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность? Сегодня, чтобы получить гражданство в одной

в открытом доступе заговорил об опасности ограничения политических свобод с использованием цифровых технологий и возможности формирования взаимосвязи прав личности (в том числе экономических) с ее лояльностью к любым, даже крайне спорным, решениям действующей власти.

В финале интервью обращается собственно к рождественской теме, но также в проблемном ракурсе¹. Содержание ответа Патриарха² производит сильнейшее эмоциональное и экспрессивное впечатление на нас, воспитанных официальной пропагандой правящих кругов страны начиная с 30-х гг. Какое же гражданское мужество и бесстрашную откровен-

из европейских стран, людям, которые желают натурализоваться, получить гражданство или вид на жительство, предлагают посмотреть ролик, в котором рассказывается о жизни этой страны, ее обычаях и законах. В этом ролике очень ярко представлена тема ЛГБТ, после просмотра задается вопрос: «Вы со всем этим согласны?» Если человек говорит: «Да, согласен, все это для меня нормально», — он проходит отсев и становится гражданином либо получает вид на жительство. Если же он скажет: «Нет», — то не получит. А что если доступ к финансам будет ограничен такого рода условиями? Вот об этих опасностях Церковь сегодня говорит во весь голос.

¹ *Журналист*: Все же возвратимся к рождественской теме. В эти дни, конечно, накрываются столы, и видна разница: кому-то, так сказать, омаров не хватает, а кто-то рад и шоколадке. Тем не менее, мы говорим о единстве общества, хотя расслоение налицо. Не глупость ли это единство?

² *Святейший Патриарх*: Расслоение общества — это огромная проблема. Все это присутствует в нашей жизни. Социализм пытался решить эту проблему, но давайте честно скажем: он ее не решил. Я застал еще свидетельство своей тети, которая в 50-е годы жила в деревне. У нее не было паспорта, но она каким-то чудом вырвалась в Ленинград навестить родственников. Она рассказала об ужасающем положении тогдашней деревни — все это было в социалистическом обществе! Поэтому проблема социальных диспропорций существовала всегда. Но стабильность общества и общественная справедливость, о чем мы с Вами с самого начала говорили, зависит, в первую очередь, от преодоления этого разрыва. Чем этот разрыв больше, тем больше дестабилизация общества, тем больше негативной энергии, тем больше у людей отторжения от всего, что происходит в обществе, в стране, тем больше критики. Поэтому эта тема имеет политическое, социальное и духовное измерения, и это, конечно, вызов для власти, законодательной и исполнительной.

С тем, о чем Вы сказали, нельзя мириться. Нужно ставить задачу преодоления этих противоречий. Еще раз хочу сказать, что богатые и бедные будут всегда, но очень важно, чтобы разрыв сокращался и чтобы бедность не означала бы тяжелейшего положения человека, буквально на грани выживания.

Конечно, тревогу вызывает и состояние многих пенсионеров. Тревогу вызывает и то, что многие люди в конце жизни лишаются жилья, их выбрасывают из квартир «черные риэлторы», дельцы, которые захватывают их собственность. В государстве должна быть предусмотрена очень четкая система, которая страховала бы людей от такого рода жизненных ситуаций. И дай Бог, чтобы развитие экономики и правильная внутренняя политика содействовали тому, чтобы преодолевалось огромное разделение между людьми состоятельными и неимущими и чтобы справедливость все более и более проникала в недра нашей национальной жизни.

ность надо иметь Патриарху, чтобы в эфире произнести слова о главных наших бедах. Граждане нашей страны в своем большинстве возлагают вину за колоссальную диспропорцию между имущими и неимущими, за это вопиющее неравенство на правящие партии и круги.

Как часть заключительной молитвы, которая в сакральном контексте начинается со слов «Дай Бог, чтобы...», звучат пожелания Патриарха: «И дай Бог, чтобы развитие экономики и правильная внутренняя политика содействовали тому, чтобы преодолевалось огромное разделение между людьми состоятельными и неимущими и чтобы справедливость все более и более проникала в недра нашей национальной жизни».

Православная церковь сближает людей, и никогда Русская Митрополия не натравливала свою паству с целью захвата чужого, умерщвления духовных противников, превращенных во врагов. Надо прямо сказать, что не было случаев, чтобы РПЦ наживала себе недругов-ненавистников. И как бы ни был ожесточен оппонент, наши священнослужители во взаимоотношении с ним поступают в духе евангельских истин.

Думается, мы научились убедительно говорить об отваге бойцов прошлого, об умении побеждать в битвах, о постепенном становлении святости в православном человеке страны, постоянно находящейся под угрозой вражеской агрессии. Такими лидерами народ гордится: еще бы, чрезвычайно редко лидеры страны «носят нимб» святости с ранних лет до своей достойной кончины.

Теперь о теософском осмыслении человеческой кончины. О примере достойного конца (а умереть предстоит каждому в отпущенные Господом сроки) замечательно написал, имея в виду своего отца — раба Божия Алексея, наш великий классик, нобелевский лауреат И. А. Бунин. Великий миссионер Святейший Патриарх Кирилл учит нас, рабов Божиих, не страшиться кончины близких и, в частности, своей кончины; более того, он считает неизбежным и тоже в порядке вещей предстоящий конец света — апокалипсис. Это событие можно оттянуть во времени, но с каждым десятилетием все больше и больше силы зла (пренебрегающие моралью, евангельскими истинами) делают все для ускорения этой всемирной кончины. Об этом говорил еще будучи в сане митрополита Кирилл в книге «Слово пастыря»: «В рамках наших земных понятий невозможно отобразить реалии потустороннего мира. И потому часто используемые в Священном Писании метафора, иносказание и притча являются наиболее подходящей формой повествования о духовных реальностях, находящихся за пределами чувственного опыта человека. Притча о богатом и Лазаре носит совершенно особый характер, ибо в ней приоткрывается тайна загробного существования и излагаются чрезвычайно важные для нашего спасения религиозные истины.

Первая из них состоит в том, что с прекращением физического существования человека, с его смертью не прерывается жизнь его самосознающей и уникальной личности, не уходит в небытие его индивидуальная духовная природа. Ибо есть некая сверхчувственная реальность, таинственная и непостижимая для ума, принимающая в свое лоно человека после его смерти.

Другая истина заключается в том, что эта нездешняя реальность дифференцирована, неоднородна. Она состоит как бы из двух миров: из мира добра, именуемого раем, и из мира зла, известного нам под именем ада. После физической смерти человеческая личность наследует либо тот, либо другой мир, в строгом соответствии с состоянием души каждого из нас. В обретении нами посмертной участи не может быть несправедливости, лицемерия или обмана: «Ты взвешен на весах», по слову пророка (Дан. 5:27), и добрая душа вознаграждается переходом в соприродный ей мир благодати и света, а злая душа находит посмертное воздаяние в присоединении к погибельному миру зла». У индивидуальной кончины имеется много общего в духовном отношении с концом света, с апокалипсисом. Это ясно показано в Евангелии — в ответах Иисуса Христа своему окружению (фарисеям и Своим ученикам), вопрошающему о катастрофе, по природе своей сродни той, которую пережил Ной. Вопрос об апокалипсисе — часть символа Веры, а в той обстановке он звучит, словно о событии в мире реалий, которое можно, как и бывает в жизни, предугадать. Вспомним это место из Евангелия в толковании Святейшего Патриарха. «Это повествование о конце истории и о Втором Пришествии Спасителя в высшей степени примечательно тем, что в нем сугубо подчеркивается неожиданность грядущих великих событий. Господь не дает никаких конкретных указаний о «временах и сроках» (Деян. 1:7), не сообщает каких бы то ни было определенных знаков, примет и знамений, не делает астрономических предсказаний и не предлагает каких-либо способов счисления конца времен. Сын Человеческий вновь явится в мир неожиданно, «как Божия гроза», как молния, в мгновение ока пронзающая небесный свод от края и до края. В другом месте Господь прямо говорит: «О дне же том и часе никто не знает...» (Мф. 24:36).

Люди всегда должны обращаться к этим словам, сталкиваясь с пропагандой всевозможных сект, которые, распространившись по лицу земли, ложно проповедуют о якобы известных им точных датах конца света. У нас на памяти общественные беспорядки и социальные потрясения, спровоцированные в России и на Украине «Белым братством», проповедовавшим близкую гибель мира. Известна и другая страшная тоталитарная секта — «Аум-Синрикё», адепты которой в своей замешенной на терроризме деятельности также вдохновлялись идеей последних времен.

Почему человеконенавистнические секты столь активно эксплуатируют в собственных преступных целях религиозную истину о конце мира, соблазняя множество людей лживыми «откровениями»?

Все дело в том, что эсхатологические пророчества о завершении истории и Втором Пришествии, о тайне ожидающей нас загробной жизни и всеобщем воскресении, о новом небе и новой земле в грядущем Царствии Божием — все это не может оставить безразличным ни одного человека, интересующегося духовными истинами и имеющего определенную чувствительность к такого рода проблематике. Эту естественную человеческую предрасположенность к восприятию того, что Ф. М. Достоевский называл «последними вопросами», и пытаются поставить себе на службу шарлатаны от религии, вводя в греховное заблуждение огромное число духовно непроросвещенных людей и подчиняя собственным интересам их волю и жизнь.

И поэтому, услышав проповедь с означенной точной датой конца света и наступающих вселенских катаклизмов, не искушайтесь, не слушайте и не верьте. Памятуйте слова Господа, которыми Он твердо отвечал не только Своим апостолам, но и нам с вами: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти» (Деян. 1:7).

Это безусловно благодатное для человека неведение времен и сроков конца истории призвано поддерживать нас в состоянии постоянного духовного бодрствования и трезвения, побуждая к заботе о чистоте собственной жизни — жизни, которая может завершиться в любой момент. В конце концов, если задуматься, неизбежная смерть и есть своего рода индивидуальный конец света для каждого человека, так что для покидающего этот мир нет большой разницы — всеобщий ли апокалипсис наступает или приближается великая минута его собственного расставания с жизнью. Человек духовно зрелый, для которого понятие «страх Божий» не просто слова, всегда помнит о том, что каждый день его жизни может оказаться последним, что рано или поздно ему придется предстать пред Богом [3: 121–124; 124–126 («Иисус Христос о конце света». «Учение о загробной жизни»)].

Литература

Иларион (Алфеев), митрополит Волоколамский. Патриарх Кирилл: жизнь и мирозерцание. 2-е изд. М.: Эксмо, 2010. 560 с.

Кирилл, митрополит. Слово пастыря. Москва: Православная энциклопедия «Азбука веры», 2007 URL: <https://azbyka.ru/slovo-pastyrya>

Колесов В. В., Колесова Д. В., Харитонов А. А. Словарь русской ментальности: В 2 т: Т. 1. А—О; Т. 2. П—Я. Санкт-Петербург: Златоуст, 2014. 592 с.

Риторика Патриарха. К 70-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла / Сост. А. В. Щипков. М.: Русистика, 2016. 256 с.

Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла. ВГТРК, 07.01.2018 г. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/5095439.html>

References

Illarion (Alfeev), mitropolit Volokolamskij. Patriarch Kirill: zhizn' i mirosozercanie. 2-e izd. M.: Eksmo, 2010. 560 p.

Kirill, mitropolit. Slovo pastyrya. Moskva: Pravoslavnaya enciklopediya "Azбука very", 2007 URL: <https://azbyka.ru/slovo-pastyrya>.

Kolesov V. V., Kolesova D. V., Kharitonov A. A. Slovar' russkoj mental'nosti: V 2 t: T. 1. A–O; T. 2. P–Ya. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2014. 592 s.

Риторика Патриарха. К 70-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла / Сост. А. В. Шchipков. М.: Русистика, 2016. 256 с.

Сведения об авторе: Журат Валиевич Ганиев; доктор филологических наук; доцент; Московский городской педагогический университет; профессор кафедры русского языка и методики преподавания филологических дисциплин института гуманитарных наук; ORCID 0000-0003-0821-871X; ganiew.juratganiev@yandex.ru; сфера научных интересов: риторика, фонетика, теория языка.

The author's profile: Zhurat Valievich Ganiev; Doctor of Philology; Associate Professor; Moscow City University; Professor at the Department of Russian Language and Methods of Teaching Philological Disciplines of the Institute of Humanities; ORCID 0000-0003-0821-871X; ganiew.juratganiev@yandex.ru; research interests: rhetoric, phonetics, language theory.

УДК 81'276.6:355, 81'362
DOI: 10.25688/2619-0656.2020.14.06

**ОТРАЖЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА
В ВОСПРИЯТИИ ИСТОРИЧЕСКОГО АФОРИЗМА
(ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
РЕАЛИЗАЦИЯ ФРАНКОФОНИИ-РУСОФОНИИ)**

**REFLECTION
OF THE NATIONAL MENTALITY
IN THE PERCEPTION OF HISTORICAL APHORISM
(A SPECIAL CASE OF THE IMPLEMENTATION
OF FRANCOPHONIE-RUSSOPHONIE)**

Юлия Николаевна Сдобнова
Московский государственный лингвистический университет,
Москва, Россия

Алла Олеговна Манухина
Московский государственный лингвистический университет,
Москва, Россия

Yulia Nikolaevna Sdobnova
Moscow State Linguistic University,
Moscow, Russia

Alla Olegovna Manukhina
Moscow State Linguistic University,
Moscow, Russia

Аннотация

Работа посвящена изучению роли французского языка в европейском обществе начиная с XVI в. до нашего времени. Исследование проведено на материале различных версий известного афоризма, приписываемого Карлу V (взятого из текстов XVI, XVII, XVIII и XX вв.). Цель статьи — выявить и описать особенности лингвистической перцепции французского языка в XVI–XX вв.: французский язык рассматривается в диахроническом аспекте как средство международного культурного диалога: от ранне-новофранцузского периода до современного французского языка.

Ключевые слова: национальный литературный язык Франции; франкофония; русофония; французские письменные памятники Ренессанса; диахронические исследования.

Abstract

The work is devoted to the study of the French language role in European society from the 16th century to our time. The peculiarity of the national mentality is always manifested in the evaluative attitude of the subject to the surrounding objective reality. The purpose of the article is to identify the specifics of the linguistic perception of the French language in the 16–20 centuries: the French language is considered in a diachronic aspect as a means of international cultural dialogue: from the early French period to the period of the modern French language. The purpose of the article, along with the analysis of specific textual material, is also to study and describe the historical and cultural context. The empirical material consists of various versions of the famous quotation about the role of the French language attributed to Charles V, which we have discovered in the works of writers and public speakers of the 16–20 centuries. The work is of an interdisciplinary nature and is performed from the standpoint of the linguistic approach with the involvement of historical data and related social Sciences (political science, sociology, cultural studies). The article examines the history of aphorism and analyzes the value attitude to the French language viewed by foreign Francophones (and Russophones) through the analysis of value judgments in the text. We came to the following conclusions. First, the famous statement of Charles V is a hypertext with many implicit references, referring the reader to the archetype: nonextant original source (that perhaps never actually existed). Secondly, by examining the various versions of this quotation that appeared and were published at different times, it is possible to consider separate “cultural layers” of the Francophone culture of different historical epochs. Thus, the closest version of the quotation to the archetype was found in a Latin work written in the late 16th — early 17th century, where the French language is characterized as *linguam nobilem* (“noble language”). Later, in French versions in the 17th and 18th centuries, French is rated as *français aux hommes* (“French for men”), and in the XXth century as *le français pour me parler à moi — même* (lit.: “French to talk to myself”, that is, “language for myself”, part of the personal space, part of the true “I”). Thus, the perception of the French language as a carrying agent of French values and French culture is determined by the system of norms that make up the content of the collective consciousness in a particular epoch in the 16–20 centuries.

Key words: national literary language of France; Francophonie; French written monuments of Renaissance; diachronic research, linguistic perception.

Введение. Цель статьи состоит в выявлении особенностей французского и русского менталитетов посредством анализа цитаты, приписываемой Карлу V, возглавлявшему Священную Римскую империю, знаковому го-

сударственному деятелю XVI в., эпохи позднего европейского Ренессанса. Материал исследования — известное высказывание о французском языке и его роли среди других европейских языков, которое, по сути, представляет собой гипертекст со множеством имплицитных ссылок, адресующий читателя к архетипу: не дошедшему до наших дней (а возможно, и никогда в действительности не существовавшему) первоисточнику. Изучаемое выражение, выявленное в самых разнообразных версиях в текстах франкофонных и русофонных авторов, отображает в своей эволюции и многочисленных метаморфозах особенности лингвистической перцепции XVI—XX вв. В современной науке под перцепцией в языке подразумевается «восприятие, непосредственное отражение объективной действительности индивидуумом, обеспечивающее ориентацию в окружающем мире» [Тихонов: 369], под *лингвистической перцепцией* в данном случае мы подразумеваем восприятие языка в конкретную историческую эпоху носителем определенной культуры сообразно политическим, идеологическим и ценностным установкам социума, в котором он живет. В статье рассматривается лингвистическая перцепция французского языка как средства международного культурного диалога в диахроническом аспекте: от ранненовофранцузского периода до современного французского языка.

Методология. Работа выполнена в рамках междисциплинарного подхода: для раскрытия культурных оснований оценочных суждений, содержащихся в тексте, привлекались данные лингвистики, истории и смежных с историей социальных наук (политологии, социологии, культурологии). Методологической основой исследования являются принципы, применяемые с позиций исторического подхода (*approche historicisante*) [Разумова 2016: 142]: проблемно-хронологический принцип (при описании материала) и принцип историзма, который заключается в изучении историко-культурного контекста в сочетании с анализом конкретных срезов.

Основная часть. Изречение Карла V о роли французского языка было известно и современникам, и потомкам. Однако, насколько нам удалось установить, оригинала этой цитаты не существует ни в одном (!) сохранившемся документе XVI в. Рассмотрим историю афоризма.

Впервые это изречение со ссылкой на авторство императора встречается в 1603 году (спустя 40 лет после смерти Карла V) в латинском сочинении «Трактат о речи и ее инструментах» (*De locutione et eius instrumenti tractatus*) итальянского философа и медика Иеронима Фабриция (1533—1619):

Unde solebat, ut audio, Carolus V Imperator dicere, Germanorum linguam esse militarem, Hispanorum

Поэтому, как я слышал, Карл V император имел обыкновение говорить, что немецкий язык — для во-

amatoriam, Itolorum oratoriam, Gallogum nobilem [Миньяр-Белоручев: 120]¹

енных, испанский — для влюбленных, итальянский — для ораторов, французский — для благородных.

Приведенная цитата считается наиболее ранней и близкой к архетипу. В этом фрагменте автор ссылается на Карла V, однако не приводит точный источник, а ограничивается обобщенным *ut audio* («как я слышал»), адресуя читателя к абстрактному прототипу. Подобная формула-обращение к авторитету — личности из прошлого была своего рода гарантией почетности, и встречается не только у Иеронима Фабриция: это один из общеупотребительных топосов, свойственный многим жанрам классических сочинений. Интересно отношение автора к французскому языку. С одной стороны, французский язык назван *lingua Gallorum*: начиная со Средневековья противопоставлялись *lingua Latina* (как элитарный язык науки и образования) и *lingua Gallorum* (народный, низшего сословия, букв.: «язык галлов»). С другой стороны, французский язык оценивается как *nobilem* (букв.: «знатный, благородный, возвышенный»). Хотя в XVI в. престиж латинского языка по-прежнему был в Европе неоспорим, французский язык завоевывает все увереннее новые функциональные ниши. Если до XVI в. отношение к французскому было исключительно как к неправильной, «испорченной» форме латинского языка и французский существовал в виде просторечной формы речи (*langue vulgaire*), то в конце XVI — начале XVII в. употребление французского постепенно становится *bon usage*, «своеобразной элитарной сверхнормой, основанной на узусе королевской элиты общества и опирающейся на понятие «культуры языка» (*langue cultivée*)» [Разумова 2012: 119]. Таким образом, авторское восприятие французского языка отражает обобщенное оценочное отношение эпохи.

Версия этой цитаты на французском языке появилась уже в середине XVII в., в произведении филолога-иезуита Доминика Буура (1628–1702) «Разговоры Ариста и Эжена» (*Entretiens d’Ariste et d’Eugène*):

Je parle espagnol à Dieu, italien aux femmes, français aux hommes et allemand à mon cheval [Bouhours: 126].

Я говорю по-испански с Богом, по-итальянски с женщинами, по-французски с мужчинами и по-немецки с моей лошастью.

Как следует из текста, изречение *Je parle français aux hommes* подразумевает, что французский язык стал «языком мужчин», то есть неотъемлемой

¹ Fabrici Girolamo (1533–1619). De locutione et eius instrumentis liber. Edited by Johannes Leopoldita Ursinus (1563–1613). Padua: Lorenzo Pasquato, 1603. Цит. по: Миньяр-Белоручев К. В. Династии и монархии Европы. От Средневековья к Новому времени. Москва: Неолит, 2017. 336 с.

частью деловой, «мужской» сферы жизни: коммерции, дипломатии, политики, науки, образования и литературы. Действительно, после 1539 г., согласно ордонансу Вилер-Котрэ (Villers-Cotterêts) французский становится, вытеснив латынь, единственным языком официальных документов и «языком короля» во всех регионах Франции, а впоследствии — не только языком французской нации, но и языком международного общения. Считается, что именно в XVI в. начался новый исторический этап, получивший название «французская Европа» [Семенов, Сдобнова: 87].

В XVIII веке похожий вариант цитаты на французском мы встречаем в «Историческом и критическом словаре Пьера Беля» (“Dictionnaire historique et critique par M. Pierre Bayle”) 1734 г.:

Si Charles-Quint revenoit au monde, il ne trouveroit pas bon que vous missiez le françois au dessus du castillan, lui qui disoit, que s’il vouloit parler aux dames, il parleroit italien; que s’il vouloit parler aux hommes, il parleroit françois; que s’il vouloit parler à son cheval, il parleroit allemand; mais que s’il vouloit parler à Dieu, il parleroit espagnol [Bayle: 148].

Если бы Карл V вернулся в этот мир, он не одобрил бы, что вы ставите французский язык выше кастильского, — он, говоривший, что, если бы он хотел говорить с дамами, он бы говорил по-итальянски; если бы хотел говорить с мужчинами, то он говорил бы по-французски; с лошадью — по-немецки; но, если бы он хотел говорить с Богом, он говорил бы по-испански.

Несмотря на категоричность приписываемой Карлу V оценки касательно приоритета кастильского языка над французским, автор произведения характеризует французский как «язык мужчин», по сути, повторяя цитату из текста XVII в. Из этого можно сделать вывод, что восприятие французского языка как средства делового общения уже укоренилось в европейском сознании XVIII в.

Популярность афоризма Карла V начиная с XVI в. (возможно, еще при жизни автора) является свидетельством своего рода «французской языковой экспансии» в Европе [Налетова: 45].

Для самого Карла V, правителя огромной империи от Нидерландов до Каталонии, именно французский язык был родным: он не был французом, но был франкофоном и носителем французской культуры, которую ему привил отец, Филипп Красивый Габсбург, герцог Бургундский. Для многих монархов и королевских дворов Европы французский язык в XVI в. был официальным языком общения: такова была роль *Norman French* (языка парламента) и *le français du loi* (рабочего языка суда) в Англии. Влияние Франции на Европу представляло собой так называемую

«мягкую силу» на международной арене: через образование, культуру, язык и воздействие на элиты европейских государств.

Джозеф Най-младший, разрабатывая концепт «мягкой силы», отождествлял такую политику, прежде всего, с французским государством, подчеркивая, что «культурная политика, равно как и дипломатия — французские изобретения» [Най: 34]. С XVI в. культурная политика и культурный аспект международных отношений входят в дипломатическую жизнь, став частью политики Франции, мирной французской экспансии того времени [Ковалевска, Чернов, Ягья: 160].

Французская философская, научная и художественная мысль в XVIII в. начинает свое проникновение в Россию при правлении Елизаветы Петровны, а своего расцвета культурное влияние франкофонной культуры достигает при Екатерине II.

Русофонному читателю впервые высказывание Карла V стало известно благодаря упоминанию М. В. Ломоносовым в «Российской грамматике» 1755 г.: «Карл Пятый, римский император, говаривал, что испанским языком с Богом, французским — с друзьями, немецким — с неприятелями, итальянским — с женским полом говорить прилично...» [Ломоносов: 6]. В этой известной цитате упоминание о первоисточнике присутствует в виде реминисценции, то есть «мысленной отсылки, сравнения с неким образцом, сознательное или неосознанное сопоставление, взгляд в прошлое» [Ахманова: 205]. Здесь, несмотря на отсылку к личности Карла V и XVI вв., субъектом повествования и оценки является сам автор. В изучаемом фрагменте роль французского языка в обществе определяется как «язык для общения с друзьями». Ломоносов — носитель русской культуры XVIII в., и данная цитата вербализует особенности восприятия французского языка именно русским образованным человеком XVIII в.

В XX в. афоризм Карла V был переосмыслен через призму современного мировоззрения. Так, в одной из речей, посвященных Франкофонии, Шарль Элу (1913–2001), председатель Международной ассоциации франкоязычных парламентариев (ныне *Assemblée parlementaire de la francophonie*, APF) приводит следующую версию афоризма Карла V:

Charles-Quint, dont on a fréquemment déformé les propos, disait : “J’ai appris l’italien pour parler au pape; l’espagnol pour parler à ma mère; l’anglais pour parler à ma tante; l’allemand pour parler à mes amis; le français pour me parler à moi-même” [Hélou: 10].

Карл V, чьи высказывания часто искажали, говорил: «Я выучил итальянский, чтобы говорить с Папой, испанский — чтобы говорить с моей матерью, английский — чтобы говорить с моей теткой, немецкий — чтобы говорить с моими друзьями, французский — чтобы говорить с самим собой».

Автор речи признает, что существует множество вариантов изречения Карла V (*dont on a fréquemment déformé les propos*), но также имплицитно претендует на истинность именно этой, приведенной им версии цитаты. Здесь роль французского языка определяется как «язык для себя» (*le français pour me parler à moi-même*). Смысл этого отрывка можно понимать по-разному: французский язык как средство индивидуального саморазвития (самосовершенствования и самопознания); французский — родной язык (в отличие от выученных итальянского, испанского, английского и немецкого) как часть самоидентичности субъекта, французский язык — как часть личного, интимного пространства, часть истинного «Я» (поэтому на нем говорят, оставшись наедине с собой). Но при любом из приведенных выше толкований такое восприятие французского языка — отражение культуры и менталитета человека XX века, нашего современника.

Выводы. Как можно видеть из проведенного исследования, афоризмы, подобные цитате Карла V, представляют собой своего рода мультитекст, анализируя который современный исследователь может, с одной стороны, рассмотреть отдельные «культурные слои» разных исторических эпох, с другой — воссоздать единый архетип, собирая разнородные элементы воедино. Общее содержание такого рода афоризма — это собрание пестрых вариантов, своего рода палимпсест, где, по мнению М. Фуко, всегда присутствуют более ранние культурные слои: при работе с такого рода текстами исследователь «имеет дело с неразборчивыми, полустертыми, много раз переписанными пергаменами» [Фуко: 77]. Воссоздание цитаты-архетипа в его первоизданном виде может стать предметом отдельного исследования. В рамках же данной работы объектом рассмотрения являлась специфика лингвистической перцепции французского языка на материале различных версий афоризма Карла V: от XVI в. до наших дней.

Заслуживает отдельного внимания тот факт, что ни Карл V, ни авторы цитируемых фрагментов сочинений не были французами (хотя и были франкофонами), а самый ранний из выявленных вариантов афоризма написан автором-итальянцем на латыни. Таким образом, оценка французскому языку дана с позиций иностранцев-франкофонов и дает возможность рассматривать оценочные суждения о французском языке как объективную «оценку со стороны».

Становление национальной культуры и национального языка, активно проходившее в XVI в., пробудило со стороны интеллектуальной элиты интерес к языку и культуре Франции за ее пределами. Через изучение в диахронии роли французского языка на международной арене и отношения к нему современников представляется возможным проследить зарождение и становление франкофонии в Европе и впоследствии в мире. Эволюционируя от эпохи Ренессанса до наших дней, французский язык вышел за пределы национального языка и стал языком универсального

общения, объединяющим в настоящее время в рамках МОФ (Международной организации Франкофонии) народы 88 государств.

Литература

Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. Москва: Советская энциклопедия, 1966. 606 с.

Ломоносов М. В. Российская грамматика. Санкт-Петербург: Печ. при Имп. Акад. наук, 1755. 216 с.

Ковалевская Н. В., Чернов И. В., Ягья В. С. Лингвифан. Роль лингвистического фактора в социальном управлении и историческом развитии // Управленческое консультирование. 2016. № 7. С. 156–175.

Миньяр-Белоручев К. В. Династии и монархии Европы. От Средневековья к Новому времени. Москва: Неолит, 2017. 336 с.

Най Дж. С. Мягкая сила. Слагаемые успеха в мировой политике. Нью-Йорк: Паблицафферз, 2004. 192 с.

Налетова Д. В. Международная организация Франкофония: исторический опыт и современные политические ориентиры (вторая половина XX — начало XXI века). Дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03. Тамбов, 2018. 215 с.

Разумова Л. В. Репрезентация языковой нормы во французской грамматической традиции XVI века // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 28 (282). Филология. Искусствоведение. Вып. 70. С. 118–121.

Разумова Л. В. Репрезентация языковой нормы в вариантах французского языка за пределами Франции (квебекский и бельгийский варианты). Дис. ... докт. филол. наук: 10.02.05. Москва, 2016. 562 с.

Семенов С. Г., Сдобнова Ю. Н. Франкофония: Структура, деятельность, лингвосоциокультурные маркеры. Французский язык как базовый актив в системе международных отношений: Учебное пособие. Москва: Языки народов мира, 2019. 162 с.

Фуко М. Ницше, генеалогия и история // Философия эпохи постмодерна. Минск: Изд. ООО «Красико-принт», 1996. С. 74–97.

Энциклопедический словарь-справочник лингвистических терминов и понятий. Русский язык. [Электронный ресурс]: В 2 т. / Под общ. ред. А. Н. Тихонова, Р. И. Хашимова. Т. 2. Москва: Флинта, 2014. 814 с. URL: <https://lib.rucont.ru/api/efd/reader?file=316407>.

Bouhours D. Les Entretiens d'Ariste et d'Eugène. Dialogues. Paris, 1671. 516 p.

Dictionnaire historique et critique par Mr. Pierre Bayle. Cinquième édition, revue, corrigée et augmentée de remarques critiques, avec la vie de l'auteur, par Mr. des Maizeaux. Tome second. Amsterdam, par la compagnie des libraires. MDCCXXXIV. 446 p.

Hérou Ch. Discours // Quelle francophonie pour le XXI siècle? 2ème Prix international de la Francophonie Charles-Hérou. Agence de la Francophonie et édition Karthala. 1997. 282 p.

References

Akhmanova O. S. Slovar' lingvističeskikh terminov. Moskva: Sovetskaja enciklopedija, 1966. 606 s.

Lomonosov M. V. Rossijskaja grammatika. Sankt-Peterburg: Pech. pri Imp. Akad. nauk, 1755. 216 s.

Kovalevskaja N. V., Chernov I. V., Jag'ja V. S. Lingviafan. Rol' lingvističeskogo faktora v social'nom upravlenii i istoričeskom razvitii // Upravlenčeskoe konsul'tirovanie. 2016. № 7. S. 156–175.

Min'jar-Beloručev K. V. Dinastii i monarii Evropy. Ot Srednevekov'ja k Novomu vremeni. Moskva: Neolit, 2017. 336 s.

Naj Dzh. S. Mjagkaja sila. Slagaemye uspeha v mirovoj politike. New York: Publikafferz, 2004. 192 p.

Naletova D. V. Mezhdunarodnaja organizacija Frankofonija: istoričeskij opyt i sovremennye političeskie orientiry (vtoraja polovina XX — nachalo XXI veka). Dis. ... kand. ist. nauk: 07.00.03. Tambov, 2018. 215 s.

Razumova L. V. Reprerentacijaazykovej normy vo francuzskoj grammatičeskoj tradicii XVI veka // Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo universiteta. 2012. № 28 (282). Filologija. Iskusstvovedenie. Vyp. 70. S. 118–121.

Razumova L. V. Reprerentacijaazykovej normy v variantah francuzskogo jazyka za predelami Francii (kvebekskij i bel'gijskij varianty). Dis. ... dokt. filol. nauk: 10.02.05. Moskva, 2016. 562 s.

Semenov S. G., Sdobnova Yu. N. Frankofonija: Struktura, dejatel'nost', lingvosociokul'turnye markery. Francuzskij jazyk kak bazovyj aktiv v sisteme mezhdunarodnykh otnoshenij: Učebnoe posobie. Moskva: Jazyki narodov mira, 2019. 162 s.

Fuko M. Nicshe, genealogija i istorija // Filosofija jepohi postmoderna. Minsk: Izd. OOO "Krasiko-print", 1996. S. 74–97.

Enciklopedičeskij slovar'-spravočnik lingvističeskikh terminov i ponjatij. Russkij jazyk [Elektronnyj resurs]: V 2 t. / Pod obshh. red. A. N. Tikhonova, R. I. Khashimova. T. 2. Moskva: Flinta, 2014. 814 s. URL: <https://lib.rucont.ru/api/efd/reader?file=316407>.

Bouhours D. Les Entretiens d'Ariste et d'Eugène. Dialogues. Paris, 1671. 516 p.

Dictionnaire historique et critique par Mr. Pierre Bayle. Cinquième édition, revue, corrigée et augmentée de remarques critiques, avec la vie de l'auteur, par Mr. des Maizeaux. Tome second. Amseterdam, par la compagnie des libraires. MDCCXXXIV. 446 p.

Hérou Ch. Discours // Quelle francophonie pour le XXI siècle? 2ème Prix international de la Francophonie Charles-Hérou. Agence de la Francophonie et édition Karthala. 1997. 282 p.

Сведения об авторах: Юлия Николаевна Сдобнова; кандидат филологических наук; Московский государственный лингвистический университет; декан факультета французского языка; доцент кафедры лексикологии и стилистики французского языка; ORCID 0000-0001-8480-4142; e-mail: vk-sdobnova@yandex.ru; сфера научных интересов: франкофония; русофония; аксиологические понятия, институциональная коммуникация, франкофонный дискурс.

Алла Олеговна Манухина; кандидат филологических наук; Московский государственный лингвистический университет; доцент кафедры фонетики и грамматики французского языка факультета французского языка; ORCID 0000-0002-3550-8635; e-mail: amanuhina@mail.ru; сфера научных интересов: диахронические исследования, франкофония; аксиологические понятия, латинские и французские письменные памятники Средневековья и Ренессанса; письменные памятники эпохи Крестовых походов.

The author's profile: Yulia Nikolaevna Sdobnova; Candidate of Philology; Moscow State Linguistic University; Dean of the Faculty of the French Language; Associate Professor of the Department of Lexicology and Stylistics of the French Language; ORCID 0000-0001-8480-4142; vk-sdobnova@yandex.ru; research interests: Francophonie; Russophonie; axiological concepts, institutional communication, Francophone discourse.

Alla Olegovna Manukhina; Candidate of Philology; Moscow State Linguistic University; Faculty of the French Language; Associate Professor at the Department of Phonetics and Grammar of the French Language; ORCID 0000-0002-3550-8635; amanuhina@mail.ru; research interests: diachronic research, Francophonie; axiological concepts, Latin and French written monuments of the middle Ages and Renaissance; written monuments of the Crusades.

**ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИРОНИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА**

**FACTORS IN THE FORMATION
OF AN IRONIC CONTEXT**

Мария Валентиновна Захарова
Московский городской педагогический университет,
Москва, Россия

Maria Valentinovna Zakharova
Moscow City University,
Moscow, Russia

Аннотация

Статья посвящена проблеме функционирования иронии в коммуникации. Исследуется вопрос порождения и восприятия иронического контекста как с точки зрения его создателя, так и с точки зрения реципиента, принимающего или не принимающего иронический посыл субъекта иронии. Особое внимание обращено на коммуникативное поведение реципиента иронии и взаимосвязь личности коммуникантов и возможности порождения, понимания и поддержки иронического контекста.

Ключевые слова: иронический контекст, ирония, коммуникация, реципиент вербального воздействия.

Abstract

The article is devoted to the study of the phenomenon of irony in the psycholinguistic aspect. Ironic discourse is one of the most difficult to study and understand, since the very definition of irony as a hidden, implicit form of communicative influence implies the preservation of a programmed duality of potential perception. The aim of the research is to understand the factors that generate an ironic context in the consciousness of the Creator of irony and the consciousness of its recipient. The psycholinguistic theory of speech generation and perception pushes us to the need to understand the presence of two independent processes that form an ironic context: the formation of an ironic

context in speech generation due to the implementation of the author's ironic intention and the formation of an ironic context in the recipient's mind in the process of speech perception and recreation of the meanings embedded in it by the author. As a hypothesis it was suggested that, first, for the generation and perception of ironic context, the Creator and the recipient of irony must have certain common characteristics and, secondly, that the factors that form an ironic context, are primarily associated with the characteristics of the individual communicating entities, not the features of the communicative situation itself.

To confirm the hypothesis, a series of experiments was conducted, including the diagnosis of the subjects' personality by various parameters and indicators (preliminary stage) and the analysis of the perception and evaluation by these subjects of texts of various origins containing irony (main stage). The stimulus material was fragments of Russian classical works (novels by L. N. Tolstoy, short stories by A. P. Chekhov, works by A. S. Pushkin, etc.), modern fantasy novels (M. Frai, V. Sverzhin, H. van Zaychik, etc.), Internet memes and fragments of everyday discourse communication containing irony. About 200 students and teachers of educational institutions of Moscow took part in the study as subjects (the majority of them, about 150 subjects, were first or second-year students of philological and non-philological training profiles; among the rest of the participants were teachers of Moscow universities, schoolchildren and teachers of Russian language and literature of Moscow high schools).

The results of the experiment confirmed the hypothesis that the personal characteristics of participants in ironic communication are related to the ability to recognize, maintain and form an ironic context. The key features were the degree of formation of communicative competence, the level of development of critical thinking and skills of analyzing text material. The connection of the ability to perceive irony with the intellectual development.

Key words: an ironic context, irony, communication, the recipient of the verbal action.

Введение. Иронический дискурс — один из наиболее сложных для изучения и понимания, так как само определение иронии как скрытой, неявной формы коммуникативного воздействия подразумевает сохранение запрограммированной двойственности потенциального восприятия.

Целью нашего исследования является попытка осмысления факторов, порождающих иронический контекст в сознаниях создателя и реципиента иронии. Психолингвистическая теория порождения и восприятия речи подталкивает нас к необходимости понимания наличия двух самостоятельных процессов, формирующих иронический контекст: формирование иронического контекста при порождении речи вследствие реализации авторской иронической интенции и формирование иронического контекста в сознании реципиента в процессе восприятия речи и воссоздания заложенных в ней автором смыслов.

В качестве **гипотезы** исследования мы выдвигаем предположение о том, что, во-первых, для порождения и восприятия иронического контекста создатель и реципиент иронического контекста должны обладать общностью каких-либо характеристик, а во-вторых, что факторы, формирующие иронический контекст, преимущественно связаны с особенностями личности коммуницирующих субъектов, а не с сущностью самой коммуникативной ситуации.

Объектом работы, таким образом, становится иронический контекст, а **предметом** — особенности личности создателя и реципиента высказывания, формирующих иронический контекст при порождении и восприятии речи.

Методология исследования. Основными **методами** исследования послужили: эмпирический и теоретический анализ изучаемого явления; экспериментальные методы трех смежных гуманитарных дисциплин: лингвистики, психолингвистики и психологии; метод включенного наблюдения.

Приоритет экспериментальной деятельности обуславливается, прежде всего, тем, что в подавляющем большинстве исследований сущность иронии описывается в рамках изучения и описания результатов иронического взаимодействия, тогда как фактическая речевая деятельность, приводящая к реализации иронического контекста, предметом научного поиска обычно не является. Недостаток фактических данных о речевом поведении участников общения, содержащего иронический модус, конечно, не может быть восполнен в рамках данной работы, однако направление нашей деятельности представляется важным и актуальным для развития современной науки.

В завершение вводной части нам представляется необходимым прояснить два значимых терминологических разночтения. Во-первых, это касается трех терминов, применяемых для описания иронической коммуникации, значение которых в разных работах часто пересекается и наслаивается друг на друга: *иронический контекст*, *иронический дискурс* и *иронический модус*. Используемое во многих областях научного знания понятие *контекст* в наиболее широком и универсальном значении нам представляется возможным определить как «совокупность планов, в которых сталкиваются окружение и ряд связей, в данном окружении конструируемых и осуществляющихся» [Менш: 164]. При таком ракурсе не только возникает возможность совместного рассмотрения всех уровней и направлений контекстуального взаимодействия, но и актуализируется ключевая для нашего анализа иронического контекста дихотомия «столкновение — соединение», без которой, на наш взгляд, невозможно само представление о коммуникативном пространстве, порождаемом иронической интенцией автора и, в свою очередь, провоцирующем ироническую интерпретацию сообщаемого реципиентом.

Среди других интересных для нас способов понимания данного термина следует отметить еще два: сугубо *когнитивное*, объединяющее в рамках модели коммуникации контекст с личностью и дискурсом [Карасик 2009: 264–269], и *психолингвистическое*: «Контекст есть соединение знаний реальной действительности, деятельности, знаний участника коммуникации. Контекст является условием понимания и создания значения, смысла» [Урубкова: 103].

Таким образом, *контекст* для нас — это не только материальное сопровождение иронического высказывания (вербальное, невербальное или какое-либо иное), но и поддерживающие и формирующие иронию в сознании автора и адресата условия, порожденные языковой и неязыковой деятельностью участников коммуникации, их личностными особенностями, историей жизни, социальным и психологическим окружением.

Понятие *дискурс* мы понимаем в наиболее общем и универсальном значении «Дискурс — это текст, погруженный в ситуацию общения, или, по Н. Д. Арутюновой, в жизнь» [Карасик 2015: 147]. При таком понимании представление о дискурсе сближается с выбранным нами пониманием контекста, однако направление анализа меняется на диаметрально противоположное: от текста к его окружению, а не от окружения к тексту, как при анализе контекста.

Для определения термина *модус* мы воспользуемся точкой зрения Е. С. Ярыгиной: «...термином *модус* следует обозначать ментальное состояние говорящего, а термином *модальность* — соответствующую окраску языковых средств» [Ярыгина: 37].

Таким образом, для нас:

- *иронический контекст* есть рассмотрение фрагмента реальности, в котором формируется ирония;
- *иронический дискурс* — материальный результат этого формирования;
- *иронический модус* — ментальное состояние: субъекта-создателя при порождении иронии и реципиента при ее восприятии/опознании/понимании.

Термин *фактор*, в принципе, не требует отдельного описания, однако необходимо отметить, что в рамках данного исследования мы будем пользоваться максимально широким его значением, не связанным с какой-либо определенной областью научного знания: «Фактор [*лат.* factor — “делающий, производящий”] — 1) причина, движущая сила совершающегося процесса или одно из его условий...» [Словарь: 716].

Таким образом, в сферу нашего интереса попадут все возможные причины, условия, движущие силы, предпосылки, катализаторы и стимулы процесса порождения, восприятия и идентификации иронического кон-

текста с обеих сторон коммуникативного взаимодействия. Это позволит нам сосредоточиться на ключевой проблеме исследования — выявлении и описании факторов формирования иронического контекста в общем виде, — не отвлекаясь на второстепенные, в данном случае, вопросы классификации и осмысления воздействия на процесс факторов разных типов и различной этимологии.

Вторым спорным терминологическим моментом, по поводу которого хотелось бы обозначить нашу позицию, является именование участников иронического коммуникативного взаимодействия. *Субъектом* иронии, очевидно, следует называть инициатора активации иронического модуса в коммуникации. *Объектом* иронии, само собой разумеется, является то лицо, явление, качество, событие и т.д., которое осмысляется и оценивается субъектом иронии. *Адресатом* иронии является тот или те, с кем субъект стремится поделиться своими выводами и наблюдениями. Однако, подходя к вопросу с позиций психолингвистической теории и описывая ироническую коммуникацию как воздействие, мы будем использовать термин *реципиент* в значении объекта не иронии как таковой, а именно иронического воздействия субъекта, продуцера, автора или, что нам кажется более точным термином в этом контексте, *создателя* иронического контекста (термины *субъект*, *продуцер*, *автор*, *создатель* в данном контексте используются нами как взаимозаменяемые, однако приоритет отдается терминам, акцентирующим сознательную созидательную деятельность говорящего / пишущего, — *автор* / *создатель*).

Основная часть

Говоря о сущности психолингвистики как науки, О. С. Зорькина, ссылаясь на Л. В. Сахарного, отмечает: «Основной чертой, отличающей ее от лингвистики, является, во-первых, фактор ситуации, в которой речевые высказывания конструируются и воспринимаются; во-вторых, фактор человека, производящего или воспринимающего речь» [Зорькина: 205]. Мы, со своей стороны, добавили бы «от классической лингвистики», потому как говорить о современных лингвистических исследованиях вне представлений о языковой личности, языковой картине мира, коммуникативной ситуации и ее участниках не представляется, на наш взгляд, возможным. Тем не менее абсолютно бесспорно, что психолингвистическая модель коммуникативного взаимодействия должна строиться с учетом трех факторов:

- *ситуации*, в которой возникает коммуникативное намерение и в которой происходит восприятие вербального воздействия;
- *личностей субъекта*, формирующего коммуникативное пространство, и *реципиента*, воспринимающего коммуникативный посыл;

- самого коммуникативного *пространства*, в котором происходит вербальное и невербальное взаимодействие коммуникантов и создается материальное тело коммуникации.

Естественно, порождение и восприятие иронии происходит в рамках той же схемы коммуникативного взаимодействия и подчиняется тем же правилам и алгоритмам. Однако есть важный отличительный аспект иронической коммуникации, связанный с особой природой иронии. Ирония суть индивидуальная речевая деятельность, в процессе которой сознательно и обязательно нарушаются принцип кооперации Грайса и следующие из него максимы, прежде всего качества информации и манеры, так как по определению иронии субъект и реципиент иронии имеют разные цели. Для понимания сущности проблемы обратимся к определению текста, данному А. А. Леонтьевым: «любой структурно организованный продукт общения, организующий само общение, то есть это любая, не обязательно речевая или языковая, структура, отчужденная от человека и используемая для воздействия» [Леонтьев: 13], т.е. порожденный текст отторжен и от своего создателя, и от реципиента и является самостоятельным фактом действительности, влиять на который в процессе рецепции создатель не может, особенно если речь идет о письменных безадресных текстах, наиболее ярким примером которых является художественная литература. Каким же тогда образом возможно понимание иронического текста? Сам П. Грайс объяснял факт существования коммуникаций, содержащих иронию, с помощью понятия *конверсационной имплицатуры* — невыраженного содержания, которое может быть восстановлено путем инференции на основе сказанного [Грайс: 222], которое, впрочем, не объясняет, почему говорящий решает использовать иронию, а реципиент принимает решение интерпретировать высказывание не как ложь или правду, а именно как иронию.

Основные современные концепции рассматривают иронию в трех формально противоречащих друг другу пониманиях: ирония как скрытая агрессия (Дж. Хайман, С. Аттардо), ирония как стратегия вежливости и смягчения критики (П. Браун и С. Левинсон, Дж. Лич) и ирония как способ показать превосходство над окружающими (К. М. Шилихина, П. Бурдые). Представляется очевидным, что указанные способы понимания иронии фактически отражают одно и то же явление в разных ракурсах: объект иронии вызывает у адресанта аксиологическое, деонтическое, смысловое или иное неприятие, которое тот стремится высказать, т.е. демонстрирует агрессивное поведение, однако делает это в неявной, смягченной, неочевидной форме, т.е. проявляет вежливость и/или скрывает/сглаживает агрессивное неприятие чужого поведения. И, бесспорно, адресант иронии ощущает себя вправе принимать или не принимать чужое поведение, оценивать и демонстрировать собственную оценку, при-

чем в форме, требующей для понимания авторской интенции внимания и высокого уровня развития коммуникативной компетенции адресата. Такое речевое поведение, естественно, свойственно человеку, ощущающему свой высокий интеллектуальный и коммуникативный статус, что вызывает вполне оправданное представление о собственном превосходстве над окружающими, во всяком случае, в плане оценки конкретной ситуации и способности выразить свое отношение к ней в неявной и сложной для восприятия форме.

Единого непротиворечивого определения иронии в современной ситуации выработать, очевидно, невозможно. Однако необходимо признать, что явление иронии связано не только и не столько с формой выражения своего мнения, но и со способом осмысления действительности и взаимодействия с ней. Поэтому нам кажется целесообразным характеризовать иронию либо как способ мышления (в рамках философского и когнитивного понимания проблемы), либо как стратегию коммуникативного взаимодействия (в рамках прагматики и дискурсивной лингвистики).

Именно когнитивный потенциал иронической коммуникации и привлекает носителей современного русского языка, так как он позволяет не только смягчать выражение собственного неприятия ситуации, демонстрировать собственную значимость и интеллектуальную состоятельность, но и защищать свое и чужое сознание от негативной информации, а также совершенствовать собственное представление о действительности и когнитивные способности в процессе углубленного анализа стандартных и стереотипных ситуаций и реакций, сложившихся в обществе и мировоззрении.

Используя терминологию теории когнитивного диссонанса Л. Фестингера, состояние реципиента иронической коммуникации можно описать следующим образом:

- I этап. *Реализуемый субъектом иронический дискурс вступает в противоречие с личными знаниями реципиента и его представлением о мире.* Реципиент наблюдает или только ощущает возникающую некогерентность высказывания ситуации, каким-то ее аспектам и/или поведению, личности субъекта или своим представлениям о ней. Несоответствие порождает в сознании реципиента когнитивный диссонанс, вызывающий дискомфорт.
- II этап. *Происходит выбор стратегии дальнейшего развития коммуникации под влиянием личностных характеристик реципиента и того, как он оценивает возникшее противоречие.* Реципиент либо оценивает ситуацию негативно и стремится избежать, разрешить или разрушить диссонансное состояние, либо оценивает ситуацию позитивно (в терминологии К. М. Шилихиной как модус *non bona fide*) [Шилихина] и включается в игровое взаимодействие.

Мы представляем себе ироническую коммуникацию как сложную диалогическую столкновения-соединения двух коммуникативных пространств: пространства создателя иронии и пространства реципиента иронического послыла создателя (см. рис. 1):

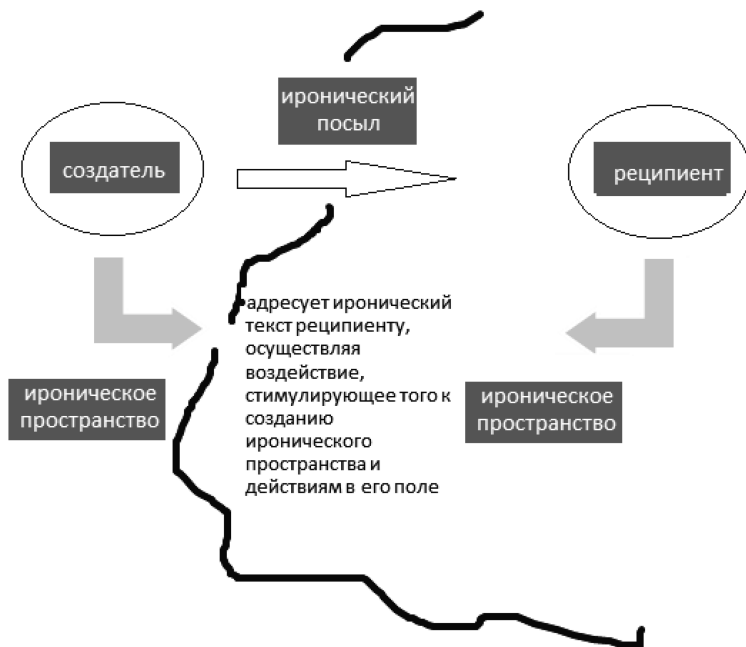


Рис. 1. Ироническая коммуникация

Создатель организует воздействие таким образом, чтобы реципиент (любой/обладающий определенными характеристиками/конкретный) ощутил когнитивный диссонанс: несовпадение ожидаемого поведения создателя (именно этой личности или любой, находящейся в данной ситуации) с его фактическим поведением и содержанием порожденного им текста. Очевидно, в процессе этого вокруг создателя или им самим формируется ироническое пространство, законы которого позволяют устранить возникшее противоречие. Если реципиент понимает и принимает иронический посыл, то когнитивный диссонанс благополучно разрешается, и затем уже сам реципиент под воздействием иронического пространства становится создателем и ретранслятором иронического послыла. В этом случае коммуникация проходит успешно. Если же реципиент не понимает или не принимает иронию, то когнитивный диссонанс разрешается негативно, вызывая конфликт или срыв коммуникации.

Если же адресатом иронии является не реципиент воздействия, а объект коммуникации или актуализируется автономная самоирония, реципиентом которой является alter ego ее создателя, то к срыву коммуникации приводит, напротив, понимание иронического посыла. Естественно, за исключением тех ситуаций, в которых адресат, вопреки ожиданиям создателя, принимает и поддерживает иронический посыл. Непонимание же иронии при таком типе коммуникативного взаимодействия позволяет субъекту коммуникации реализовать собственные цели, а объект, принимая за истину содержание высказывания, оказывается в ином коммуникативном пространстве и также маркирует коммуникацию как успешную.

В процессе экспериментальной работы нами делались попытки выявить связь между способностью опознавать и принимать иронию и характеристиками личности и мышления участников эксперимента.

Диагностика проводилась по следующим методикам:

- Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра¹.
- Тест креативности Э. Торренса, адаптированный в 1993–1994 гг. в лаборатории диагностики способностей и ПВК Института психологии РАН².
- Новый опросник толерантности — интолерантности к неопределенности Т. В. Корниловой³.
- Тест на быстроту мышления, предложенный для психодиагностики Б. Д. Карвасарским⁴.
- Тест на лабильность мышления⁵.
- Тест на ригидность/гибкость мышления А. Лачинса⁶.
- Опросник «Определение способов регулирования конфликтов» К. Томаса, в адаптации Гришиной⁷.
- Тест критического мышления Л. Старки, в обработке Е. Н. Волкова⁸.

¹ Кондрашихина О. А. Дифференциальная психология. Киев: Центр учебной литературы, 2009. С. 143–164.

² Тест креативности Торренса. Диагностика творческого мышления [Электронный источник] // Психология счастливой жизни URL: <https://psycabi.net/testy/577-test-kreativnosti-torrensa-diagnostika-tvorcheskogo-myshleniya>.

³ Корнилова Т. В. Новый опросник толерантности-интолерантности к неопределенности // Психологический журнал. 2010. Т. 31. № 1. С. 74–86.

⁴ Карвасарский Б. Д. Клиническая психология: Учебник. Санкт-Петербург: Питер, 2004. С. 442.

⁵ Психологические тесты / Сост. С. Касьянов. Москва: Эксмо, 2006. С. 553–559.

⁶ Психологический практикум «Мышление и речь»: Учебно-методическое пособие / Сост.: А. А. Маленов, А. Ю. Маленова. Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. С. 19–21, 84.

⁷ Малкина-Пых И. Г. Психосоматика: Справочник практического психолога. Москва: Эксмо, 2005. 992 с.

⁸ Starkey L. Critical Thinking Skills Success in 20 Minutes a Day. New York: United States by LearningExpress, LLC, 2004. 180 p.

Последовательно выдвигались следующие гипотезы:

1. *Способность к опознанию иронии связана с уровнем интеллекта реципиента.* Реципиенты с высоким интеллектом легче понимают и принимают ироническую интенцию автора.

Гипотеза не подтвердилась: прямой корреляции между пониманием иронии и уровнем развития интеллекта не выявлено. Хотя, в целом, реципиенты демонстрировали средний и высокий уровень интеллекта, что позволяет выдвинуть предположение о том, что реципиенты с низким уровнем интеллекта не смогут справиться с поставленной задачей. Также не прослеживается связь между уровнем развития вербального интеллекта и способностью распознавать иронию: реципиенты с высоким и низким уровнем показали сходные результаты. Единственный фактор, демонстрирующий возможную корреляцию, — высокий уровень вербального интеллекта в сочетании с высоким уровнем числового интеллекта почти всегда совпадает с высоким уровнем понимания и интерпретации иронии.

2. *Способность к опознанию иронии связана с высоким уровнем креативности.* Креативные реципиенты проявляют большие способности к взаимодействию с ироническим контекстом.

Гипотеза не подтвердилась. Высокий уровень креативности не гарантирует понимания иронии. Низкий уровень креативности не препятствует пониманию иронии. Более креативные реципиенты чаще модифицируют свою речь, отступая от постулатов Грайса. Однако принятие иронического модуса собеседника и навязывание его собеседнику от этого показателя зависимости не продемонстрировало.

3. *Способность к опознанию иронии связана с лабильностью мышления.* Скорость мышления, приспособляемость, динамичность процессов мышления определяют восприимчивость к иронии.

Гипотеза отчасти подтвердилась. Скорость мышления определенно коррелирует со способностью воспринимать текстовую иронию, однако зависимость описать не удалось. Необходимо дальнейшее исследование вопроса. Лабильность и ригидность мышления видимой корреляции со способностью опознавать иронию не продемонстрировали.

4. *Способность к опознанию иронии связана с толерантностью к неопределенности,* так как ирония предполагает формирование зоны неопределенности в коммуникативном пространстве, за счет обязательного сохранения возможности прямой интерпретации сообщаемого.

Гипотеза нашла свое подтверждение, хотя прямую зависимость выявить не удалось. Тем не менее есть основания предполагать, что способность к опознанию иронии зависит от соотношения уровня толерантности (ТН) и уровня интолерантности к неопределенности (ИТН). Наиболее высокие результаты в опознании иронического контекста показали респонденты, имеющие высокий уровень ТН (выше 65) при уровне ИТН от 50

до 60 (выше среднего). Наиболее низкие показатели продемонстрировали респонденты с уровнем ТН от 50 до 60, уровень ИТН которых находился в диапазоне 60–70.

5. *Способность к опознанию иронии связана с развитием критического мышления и преобладающим способом разрешения конфликтов.* Основанием для такого предположения послужило предположение о мотивах обращения к иронии: недовольство несовершенством мира (как общая модель обращения к ироническому дискурсу) и нежелание выходить на прямой конфликт.

Гипотеза также нашла свое подтверждение, опять же не продемонстрировав прямую зависимость. Было установлено, что респонденты, склонные отстаивать свое мнение и обладающие высокой степенью развития креативного мышления, легче опознают иронию в тексте. Респонденты, стремящиеся избегать конфликтных ситуаций или жертвовать своим мнением, а также не обладающие развитым критическим мышлением, демонстрируют намного более слабые результаты.

В результате проведенного исследования мы получили следующие результаты:

- **Филологи опознают иронию в художественном тексте лучше, чем нефилологи (рис. 2).**

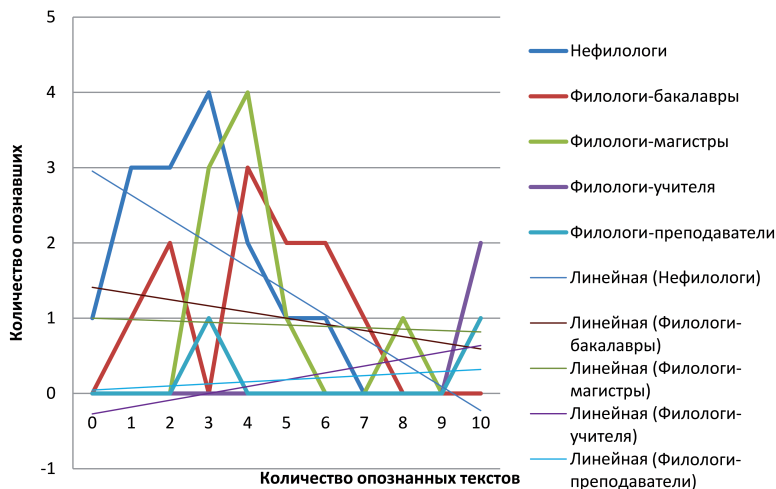


Рис. 2. Опознание иронии филологами и нефилологами

Следовательно, одним из факторов, участвующих в формировании иронического контекста, является степень сформированности коммуникативной компетенции. Чем выше уровень коммуникативной и речевор-

ческой компетенции, тем легче в сознании носителя языка формируется ироническое пространство.

- Оценка иронии связана со способностью воспринимать и формировать иронический контекст (рис. 3).



Рис. 3. Связь принятия и понимания иронии

Принятие иронического контекста и стиля поведения иронизирующего субъекта напрямую связана с тем, понимает ли реципиент ироническую интенцию, замысел автора, может ли он грамотно и самостоятельно идентифицировать и интерпретировать иронический контекст. Направление этой взаимосвязи мы однозначно определить в данный момент не можем, хотя полагаем, что первичным является все же отношение, которое препятствует верной интерпретации. Косвенно это мнение подтверждается тем, что реципиенты, опознающие текст как классический, чаще приписывают ему серьезность и скучность и склонны воспринимать текст в прямом значении. В то же время возможна и обратная интерпретация: непонимание иронии вызывает ментальный дискомфорт, что провоцирует раздражение и неприятие всего контекста и поведения коммуниканта, виновного в дискомфортном состоянии. Но хотелось бы повторить, что однозначный ответ, если он существует, может дать только экспериментальное исследование.

- Ключевым фактором, формирующим иронический контекст, является коммуникативное поведение говорящего и его соответствие ожиданиям реципиента.

Если реципиент не может интерпретировать поведение говорящего в соответствии со своими представлениями о ситуации и нормативном

поведении в ней, возникает когнитивный диссонанс, который разрешается либо маркированием говорящего как нарушителя коммуникативной и/или этической/когнитивной или иной нормы, либо формированием иронического контекста, позволяющего продолжить коммуникативное взаимодействие в рамках иронического модуса обоих участников.

- Оpozнание иронии в художественном тексте затруднено отсутствием визуально наблюдаемого говорящего, поведение которого можно интерпретировать.

Однако принцип когнитивного диссонанса как один из решающих факторов опознания (а следовательно, и формирования в сознании реципиента) иронического контекста реализуется вне зависимости от формы и типа текста, так как при любом коммуникативном взаимодействии у реципиента присутствуют определенные ожидания в адрес субъекта-создателя, а также представления о нормальном и аномальном для определенной ситуации. Интонации и личностного поведения автора в художественном тексте мы, конечно же, не наблюдаем, но это не мешает нам, при наличии сформированной коммуникативной компетенции, видеть нарушения нормы и интерпретировать их в силу собственных когнитивных возможностей.

- Общность знаний и представлений о мире у создателя и реципиента является непреложным условием формирования единого когнитивного пространства, без которого ироническое взаимодействие невозможно.

Подтверждением этому служит текст V (фрагмент из романа В. Свержина «Трехглавый орел») основного эксперимента. Созданный в начале 2000-х гг., он актуализирует интертекстуальную отсылку к экранизации романа С. Лукьяненко «Ночной дозор», цитаты из которой в это время были крылатыми. Современные школьники и студенты не имеют этого элемента в своем языковом пространстве, в связи с чем данный текст имеет наименее хорошие показатели опознания, оценки и восприятия иронии и не был верно понят ни одним из реципиентов младше 25 лет.

- Ключевой сложностью в опознании иронии является подтверждение предположения о ее наличии.

Если реципиент не имеет достоверных сведений или хотя бы указаний на наличие иронии в тексте, то опознать иронию может лишь каждый четвертый из респондентов-филологов и лишь десятая часть респондентов, не имеющих филологической компетенции. При наличии указания на то, что в тексте есть ирония, количество верных интерпретаций сообщаемого увеличивается минимум в два раза. Очевидно, это связано со склонностью многих реципиентов в случае сомнений отдавать предпочтение прямому, выраженному вербально, а не находящемуся (или нет) на втором плане косвенному значению сообщаемого.

Выводы

В целом, факторами, формирующими иронический контекст, можно считать: высокий уровень коммуникативной компетенции, несовпадение ожидаемого и фактического поведения субъекта коммуникации, наличие общих фоновых знаний и общности миропонимания субъекта и реципиента иронического взаимодействия, а также готовность реципиента к взаимодействию в поле иронии.

Далеко не каждый носитель языка способен использовать иронию в своей коммуникативной деятельности. Способность распознавать и верно интерпретировать иронию не является неотъемлемой частью общей коммуникативной компетенции носителя языка. В то же время выделить факторы, которые определяют способность носителя языка распознавать и продуцировать иронический контекст, представляется достаточно сложным. Очевидно, влияние оказывают многие факторы, определяющие тип мышления, личности и языкового сознания, провоцирующие субъект или объект коммуникации к формированию иронического контекста. Наиболее очевидным признаком все же остается позитивная оценка иронического контекста и субъекта иронии. Чем более точно реципиент понимает внутреннюю интенцию иронизирующего субъекта при условии, что оценивает он ее положительно, тем точнее он идентифицирует ироническую окраску сообщаемого.

Именно поэтому, на наш взгляд, «ирония часто имеет у интеллектуалов конвенциональный смысл опознания «своего». Это «пробный камень», которым испытывают «чужого», прежде чем принять его в свой круг» [Пивоев: 30].

Адресат иронии не является объектом иронии, а становится сообщником и единомышленником адресанта, так как основная функция иронии, на наш взгляд, — качественно новое критическое осмысление существующей реальности и сложившегося в обществе отношения к ней и донесение обретенного знания или понимания до адресата. Поэтому в качестве адресата иронии может быть собеседник автора иронического высказывания лишь в том случае, когда ирония направлена на оценку ситуации или способа ее оценки и представления. Если же ирония направлена на оценку собеседника, то адресатом иронии становятся реальные или потенциальные наблюдатели коммуникативного акта.

Литература

Грайс Г. П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. Москва: Прогресс, 1985. С. 217–237.

Зорькина О. С. О психолингвистическом подходе к изучению текста // Язык и культура. Новосибирск: Центр развития научного сотрудничества, 2003. С. 205–210.

- Карасик В. И.* Дискурс // Дискурс — Пи. 2015. № 3—4. С. 147—148.
- Карасик В. И.* Языковые ключи. Москва: Гнозис, 2009. 405 с.
- Леонтьев А. А.* Психолингвистика в рекламе // Вопросы психолингвистики. 2006. № 4. С. 7—24.
- Мени П. ван.* Контекст // Вопросы музеологии. 2014. № 31 (9). С. 38—63.
- Пивоев В. М.* Ирония как феномен культуры. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2000. 106 с.
- Словарь иностранных слов. Москва: ЮНВЕС, 1995. 832 с.
- Урубкова Л. М.* Контекст в познании и переводе // Вопросы когнитивной лингвистики. 2010. № 4. С. 102—111.
- Шилихина К. М.* Дискурсивная практика иронии: когнитивный, семантический и прагматический аспекты: Дис. ... докт. филол. наук. Воронеж, 2014. 399 с.
- Шханацева М. Х.* Коммуникация в зеркале психолингвистики // Вестник Адыгейского государственного университета. 2006. № 1. С. 172—176.
- Ярыгина Е. С.* Модус и модальность — терминологические синонимы? // Вестник Вятского государственного университета. 2012. № 2. С. 32—38.

References

- Grajs G. P.* Logika i rechevoe obshchenie // Novoe v zarubezhnoj lingvistike. Vyp. XVI. Moskva: Progress, 1985. S. 217—237.
- Zor'kina O. S.* O psiholingvisticheskom podhode k izucheniyu teksta // Yazyk i kul'tura. Novosibirsk: Centr razvitiya nauchnogo sotrudnichestva, 2003. S. 205—210.
- Karasik V. I.* Diskurs // Diskurs — Pi. 2015. № 3—4. S. 147—148.
- Karasik V. I.* Yazykovye klyuchi. Moskva: Gnozis, 2009. 405 s.
- Leont'ev A. A.* Psikholingvistika v reklame // Voprosy psikholingvistiki. 2006. № 4. P. 7—24.
- Mensh P. van.* Kontekst // Voprosy muzeologii. 2014. № 31 (9). S. 38—63.
- Pivoev V. M.* Ironiya kak fenomen kul'tury. Petrozavodsk: Izd-vo PetrGU, 2000. 106 s.
- Slovar' inostrannykh slov. Moskva: UNVES, 1995. 832 s.
- Urubkova L. M.* Kontekst v poznanii i perevode // Voprosy kognitivnoj lingvistiki. 2010. № 4. P. 102—111.
- Shilikhina K. M.* Diskursivnaya praktika ironii: kognitivnyj, semanticheskij i pragmaticheskij aspekty: Dis. ... dokt. filol. nauk. Voronezh, 2014. 399 s.
- Shkhapaceva M. H.* Kommunikaciya v zerkale psiholingvistiki // Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta. 2006. № 1. P. 172—176.
- Yarygina E. S.* Modus i modal'nost' — terminologicheskie sinonimy? // Vestnik Vyatskogo gosudarstvennogo universiteta. 2012. № 2. P. 32—38.

Сведения об авторе: Мария Валентиновна Захарова; кандидат филологических наук; доцент; Московский городской педагогический университет; доцент кафедры русского языка и методики преподавания филологических дисциплин; ORCID 0000-0002-3634-699X; mary-zaharova@yandex.ru; сфера научных интересов: история русского языка, психолингвистика, языковая игра.

The author's profile: Maria Valentinovna Zakharova; Candidate of Philology; Associate Professor; Moscow City University; Associate Professor at the Department of Russian Language and Methods of Teaching Philological Disciplines; ORCID 0000-0002-3634-699X; mary-zaharova@yandex.ru; research interests: history of Russian language, psycholinguistics, language games.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

УДК 811.161

DOI: 10.25688/2619-0656.2020.14.08

СЕМАНТИКА «СЛАДКОГО» В ЯЗЫКЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ (НА МАТЕРИАЛЕ «СЛОВАРЯ ЯЗЫКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ XX ВЕКА»)

SEMANTICS OF THE CONCEPT “SWEET” IN THE LANGUAGE OF RUSSIAN POETRY (AS EXEMPLIFIED IN THE “DICTIONARY OF THE LANGUAGE OF THE 20TH CENTURY RUSSIAN POETRY”)

Анна Владимировна Гик
Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН,
Москва, Россия

Anna Vladimirovna Gik
Vinogradov Russian Language Institute, Russian Science Academy,
Moscow, Russia

Аннотация

В статье анализируется лексико-семантическое поле «сладкого» в языке русской поэзии. Материалом исследования является «Словарь языка русской поэзии XX века» (СЯРП). Статьи включают в себя стихотворные строки из источников словаря — произведений десяти поэтов начала XX века: И. Анненского, А. Ахматовой, А. Блока, С. Есенина, М. Кузмина, О. Мандельштама, В. Маяковского, Б. Пастернака, В. Хлебникова, М. Цветаевой. Поэтические тексты ярко иллюстрируют особенности эволюции семантики обозначенной группы слов. В статье анализируются прямые и переносные значения слов, особенности их сочетаемости. Прослеживается временной интервал активного и пассивного включения в поэтические произведения полных и кратких форм прилагательного *сладкий*, наречия *сладко*. Отдельно описывается группа окказиональных образований с корнем *слад-*: *сладелый* (Кузмин); *дикарско-сладкий* (Ман-

дельштам); сладколичие (Цветаева); ладанно-сладок (Ахматова); сладыка (Хлебников).

Ключевые слова: поэтический язык, авторская лексикография, семантика прилагательного «сладкий», Серебряный век.

Abstract

The article analyzes the semantics of “sweet” in the language of Russian poetry. The material of the study is the ongoing multivolume edition “Dictionary of the Language of the 20th Century Russian Poetry” (DLRP), a concordance of a commenting type. The DLRP vocabulary includes the words of all parts of speech found in the sources — the works of ten outstanding poets of the Silver Age: A. Annensky, A. Akhmatova, A. Blok, S. Yesenin, M. Kuzmin, O. Mandelstam, V. Mayakovsky, B. Pasternak, V. Khlebnikov, M. Tsvetaeva. The purpose of the work is to identify dictionary entries whose headwords contain an element of meaning “sweet”; to analyze the data of dictionary entries, to study the basic semantic features of the use of lexemes. To achieve these goals, the following tasks are solved in the article: 1. Headwords with the indicated semantics are identified (50 units in total). 2. The features of the functioning of these words in the poetic contexts of the poets of the Silver Age are explained. The statistical characteristics of the words are analyzed separately (the most frequent word is “sweet” 98).

The relevance of the study is due to the lack of a description of the semantics of the category of taste in the poetic texts of the Silver Age. The basis of this group is the adjective “tasting sweet”. The article proves that the nominative meaning of the adjective “sweet” is realized only in a small number of cases and is found in the texts of several authors. An important feature of the compatibility of words with “sweet” semantics is the presence of synesthetic contexts: smell-taste, sound-taste (sweet smell of white roses; sweet choirs of Orpheus). This work describes such a semantic phenomenon of the adjective as emotionally expressive enantiosemy. The evaluative element of the value depends on the “embedded” positive or negative component: “positive” — a sweet voice (Kuzmin, 1911-12); “negative” — with sweet bass (Mayakovsky, 1928); “Oh, woe, bitter, sweet life!” “Torn coat, Austrian rifle!” (Blok, 1918).

In the work, special attention is paid to occasional formations with the root “sweet”. Besides, the stylistic characteristics of words are analyzed. Poetic texts vividly illustrate the features and evolution of the semantic and functional characteristics of a group of words with designated semantics.

Key words: language of poetry, author’s lexicography, semantics of the adjective “sweet”, “Silver Age”.

Введение. Анализ функционирования слов в поэтических текстах должен опираться на их узуальную сочетаемость, учитывать поэтическую тра-

дицию и авторские предпочтения. Особенности формирования списка заглавных слов в СЯРП предоставляет уникальную возможность описать специфику поэтического произведения, в котором как полнозначные элементы выступают не только традиционные части речи, но и формы слов. В словник СЯРП включены слова всех частей речи, встречающиеся в источниках — произведениях десяти выдающихся поэтов Серебряного века: А. Анненского (Анн), А. Ахматовой (Ахм), А. Блока (АБ), С. Есенин (Ес), М. Кузмина (Куз), О. Мандельштама (ОМ), В. Маяковского (М), Б. Пастернака (П), В. Хлебникова (Хл), М. Цветаевой (Цв). Таким образом, материалом исследования стали все тексты, включенные в источники словаря. Были выбраны издания, содержащие представительный корпус стихотворных произведений, в том числе поэм и драматических произведений в стихах.

В виде самостоятельных статей в СЯРП оформляются не только имена существительные, имена прилагательные, глаголы, наречия и др., но и причастия, деепричастия, прилагательные и причастия в краткой форме, прилагательные в сравнительной, превосходной степени и в значении существительного. Данный принцип выделения заглавных слов позволит заострить внимание исследователя поэтического текста на эстетической значимости как «классических» лексем, так и их поэтических вариантов (ср., например, *сладостнее* и *сладостней*), как членов словообразовательных гнезд, так и окказиональных образований. Таким образом, СЯРП, как и другие авторские словари, может быть использован «при изучении истории русского литературного языка, при изучении собственно языка художественной литературы, индивидуальных лексиконов и стилей» [Шестакова].

Группу слов, которые содержат сему «сладкий», составляют и однокоренные слова, принадлежащие к различным частям речи, и формы слов. Анализ материала показывает, что случаи использования прилагательного *сладкий* в номинативном значении сведены к минимуму. По мере удаления слов от ядерной зоны (*сладкий* (вкус меда, сахара), *сладостный* (доставляющий удовольствие, наслаждение)), меняются семантические акценты слов, входящих в данную группу, меняется и эмоционально-экспрессивная оценка слов (с положительной — *сладкая вода*, до отрицательных — *сладострастие*).

Материалом исследования стали словарные статьи «Словаря языка русской поэзии XX века» (СЯРП)¹.

В группу слов с семантикой «сладкий» вошло большое количество единиц — 50 слов, вариантов слов и форм слов. Прилагательные, существи-

¹ Словарь языка русской поэзии XX века. М.: Языки славянской культуры / Издательский дом ЯСК, 2001–2017. Т. I–VII (СЯРП). Т. VII. 1064 с.

тельные, наречия, глаголы — все основные части речи входят в круг слов с семантикой «сладкий». Большой объем группы слов отчасти объясняется их сложной и синкретичной природой, описывающей не только вкусовые предпочтения человека, но и в целом способы и формы чувственного познания мира.

Методология. В современных лингвистических исследованиях текста его словарное представление становится необходимым элементом описания художественных произведений. Как писал в работе начала XX в. А. Белый: «В руках чуткого критика словари — ключи к тайнам духа поэтов; и в обычных руках они — хлам» [Белый]. М. Л. Гаспаров считал, что «конкорданс — это расширенный словарь языка писателя». Сегодня авторская лексикография является одной из самых востребованных направлений в изучении художественного языка. В ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН организован Отдел экспериментальной лексикографии. Сотрудники отдела работают над словарем Ф. И. Достоевского. Методы корпусного анализа текста проходят разработку и апробирование в отделе Корпусной лингвистики и лингвистической поэтики. В рамках корпусных и словарных методологических приемов и проводится изучение семантики *сладкого* в данной статье.

Используются также методы статистического анализа текста, семантической интерпретации материала.

Основная часть. Самыми частотными в поэтическом языке начала XX века стали наречие *сладко* — 98 и прилагательное *сладкий* — 93¹. *Сладко* употребляется также в значении сказуемого (например: «Как сладко, и светло, и больно, / Мой голубой, далекий брат! / Душа в слезах, — она довольна / И благодарна за наряд» АБ906; «но иволга не знает, / Русалке не понять, как сладко мне бывает / Его поцеловать!» Ахм917; «Мне сладко при свете неярком, / Чуть падающем на кровать, / Себя и свой жребий подарком Бесценным твоим сознать» П956).

На порядок реже встречаются производные слова (*сладок* 40, *сладостный* 40, *сладость* (также в форме множественного числа *сладости* — кондитерские изделия) 39, *сласть* 20, *сладостно* (также в значении сказуемого) 17) и сравнительная форма имени прилагательного *сладкий* — *слаще* 36.

¹ Данные приводятся по опубликованным томам СЯРП. Цифра после лексемы указывает на количество контекстов с данным словом: *сладострастье*, 9. Если слово встречается один раз, то указывается только автор и год написания стихотворения: *сладко-гласный* [книжн. устар.] ОМ937. При необходимости в квадратных скобках приводятся специальные пометы стилистического или энциклопедического характера. Годы написания стихотворений приводятся без первой цифры: 922–1922. Отдельные пометы вводятся для новых слов — [нов.], субстантивированных форм — [субст.], для слов, выступающих в роли сказуемого — [тж в знач. сказ.].

Варианты сравнительной формы имени прилагательного *сладкий* встречаются по одному разу: *сладостнее* ОМ909; *сладостней* Куз908. Прилагательное *сладковатый*, обозначающее слабую степень выраженности признака, названного в производящем слове *сладкий*, также встречается лишь в одном тексте Мандельштама в 1931 г.: «Чтобы в мире стало просторней, / Ради сложности мировой, / Не втирайте в клавиши корень / Сладковатой груши земной».

Простая превосходная степень прилагательного — *сладчайший* 14 — становится более популярной у поэтов начала XX века. Эта форма прилагательного появляется в языке И. Анненского в 1909 г.: «Она [тоска] бесполоя, у ней для всех улыбки, / Она притворщица, у ней порочный вкус — / Качает целый день она пустые зыбки, / И образок в углу — Сладчайший Иисус...» (Анн909). С религиозной тематикой связаны стихотворения, в которых встречается данная форма слова и у других авторов начала века: Блок, Есенин, Кузмин, Ахматова.

Последнее зафиксированное в словаре употребление превосходной степени прилагательного — 1923 г. в стихотворении М. Цветаевой: «В тот час, душа, мрачи / Глаза, где Вегой / Взойдешь... Сладчайший плод, / Душа, горчи» (Цв923). Прилагательное *сладчайший* вступает в семантическое противостояние с глаголом *горчи*, который, в свою очередь, паронимически объединяет смыслы вкуса (горький) и чувства (горе).

Для поэтического языка значимым становится и отрицательный материал. Данная форма прилагательного не встречается у Мандельштама, Маяковского и Пастернака.

Стилистически окраска слов изучаемой группы представляет из себя два полюса: от разговорных и областных, до книжных. Самое часто встречающееся слово, имеющее стилистическую окраску, — разговорное наречие *вслась*, встречается 12 раз, самым частотным книжным словом стало имя существительное — *сладострастье*, 9. Приведем список слов, имеющих стилистические пометы: *наслаивать* [разг.] Цв922; *подсласка* [разг.] П931; *сладимый* [обл.; сладкий, сладковатый] Ахм939; *сластёна* [разг.] Хл921; *сладкогласец* [книжн., устар.] П922; *сладкогласный* [книжн. устар.] ОМ937; *сладострастен* [книжн.] Куз927; *сладострастный* [книжн.] Цв917; *сластолюбивый* [книжн.] Цв921; *сладкозвучный* [книжн. устар.] 2 Анн904, Хл915.

Прилагательное *сладкий* переходит в разряд существительных: «У страшной солдатки / Под огненной пяткой — Твой сладкий!» Цв920. «Мы / не подносим — / “Готово! / На блюде! / Хлебайте сладкое с чайной ложки!” / Клич футуриста: / были б люди — / Искусство приложится» М918.

Окказиональные образования являются неотъемлемым признаком поэтического языка начала XX в. В группе изучаемых слов около 20 единиц являются новыми (по правилам СЯРП такие слова имеют помету —

нов. (новое)). Они образованы по продуктивным моделям русского языка с использованием аффиксов, путем сложения основ и сложения слов: *Волшебно-сладоострастный* Анн 899 («Певец волшебного-сладоострастного, / Нас жег в безмолвии ночей / Тоскою нежной и напрасной» (об А. С. Пушкине)); *сладелый* 7 Куз906–926; *голубино-сладокий* Куз917; *сладело-озорно* Куз 918; *дикарско-сладокий* Ом937; *сладоколичие* Цв921; *сладоко-непонятно* Анн900-е; *сладоклюнчат* Цв922; *сладоко-строгий* Куз907; *сладокострунчат* Цв922; *ладанно-сладоко* Ахм943; *сладоостро-воздушный* Анн900-е; *сладоостро-непоправимый* Куз922; *сладоостро-сильный* Анн909; *неназванно-сладоостро-ный* Цв910; *волшебно-сладоострастный* Анн899; *сладыка* Хл920–22; *сласть-чернослив* Цв928, 29–30.

И хотя сложное прилагательное *кисло-сладокий* фиксируется в толковых словарях, в поэтическом языке сочетаемость слова расширена (вкусом наделяются «земля» и «дух»). Всего два примера использования находим у Мандельштама: «Кисло-сладокая земля...» Ом931; «Дух кисло-сладокий двух мегер» Ом937. Сложные прилагательные, в состав которых входят слова интересующей нас семантики, сочетаются с относительными прилагательными: *Голубино-сладокий*, *дикарско-сладокий* Куз907. Оксюморонное сочетание — *солено-сладокий* близко по основе семантики к сочетанию *сладокий-сладокий* (*сладокий* восходит к *соленый* (И.-е. корень с -d- представлен гот salt — «соль»¹): «Солоно-солону сердцу досталась / Сладокая-сладокая Ваша улыбка!» (посв. Ю. А. Завадскому) Цв918.

Чаще других создают новые слова с семантикой «сладокий» такие поэты, как Анненский — пять слов, Кузмин — пять слов, Цветаева — три слова.

Как видим, все новые слова имеют уникальные контексты употребления, однако есть одно исключение. Прилагательное *сладелый* встречается в различных текстах Кузмина (для полноты картины мы использовали данные Конкорданса к стихам М. Кузмина [Кузмин: 202]). Приведем ближайшее окружение данного прилагательного: «Алела яркость губ, вился сладелый дым» (906); «А в жилах, в сухожильях / Течет сладелый страх» (917); «Сладелая фиалка / Свой запах тычет, как слепец костыль» (917); «Отчего, будто в час смертный, / Такая сладелая боль?» (918); «Любопытно и ужасно / И сладело-озорно» (918); «Сладелой стружкой вьется тлен» (921); «Сирены, сирены, сладелый плен» (923); «Дымок сладелый вьется» (926).

Чтобы определить семантику нового слова, обратимся к анализу способа его образования. Прилагательные с суффиксом -л- имеют значение «находящийся в состоянии, возникшем в результате процесса, названного мотивирующим словом» — *прелый*, *умелый*, *лежалый*, *усталый*, *спе-*

¹ Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. 2. М.: Русский язык, 1993. С. 173.

лый (по данным [Русская Грамматика: 297]). Этот словообразовательный тип является продуктивным, преимущественно в разговорной и художественной речи (*помутнёный флакон* (Пастернак), *покраснелые глаза* (Есенин)). Если реконструировать мотивирующее слово — «*сладеть*», то можно предположить, что *сладельный* — это такой, который находится в состоянии «сладости». Сочетаемость слов говорит о неоднозначной и даже оксюморонной семантике прилагательного. *Дым, дымок, страх, боль, плен, тлен, фиалка* — характеризуется таким образом, что интерпретация данного свойства приближается к шкале — «отрицательная оценка состояния». Однако семантика «сладкого», описывающего базовый приятный вкус, вступает в конфликт с контекстом. Двойственная природа слова хорошо видна в сложном прилагательном: *сладело-озорно*. Таким образом, поэтический текст использует языковой потенциал семантики «сладкого», раскрывает скрытые смыслы, добавляя индивидуальные ассоциации.

Новое слово *сладельный* не стало общеупотребительным, но сходную модель образования находим в современном названии торгового дома. В интернете нашлась фирма, использующая существительное *сладелия* в названии предприятия: «ТД Сладелия. Компания-производитель, г. Москва, приглашает к сотрудничеству оптовых покупателей и дилеров» (<https://productcenter.ru/producers/8942/sladieliia>).

Перейдем к разбору семантических особенностей употребления слов в тексте (ср. различные аспекты описания прилагательных в работах [Грошева], [Колбенева], [Кустова], [Рахилина], [Шрамм]). Качественные имена прилагательные, в частности прилагательные, обозначающие вкусовые ощущения человека, обладают высокой семантической «мобильностью», могут сочетаться с разными классами объектов. Поэтические тексты наглядно и ярко иллюстрируют особенности эволюции семантико-функциональных характеристик этой группы «эмпирирных»¹ слов.

В Толковом словаре русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова выделяется восемь значений слова *сладкий*. Мы прибегаем к материалам данного словаря по причине наименьшей временной разбежки между описываемыми поэтическими произведениями и словником лексикографического издания. Первые два значения относятся к номинативным, обозначают свойства «сладкого» (*сладкий кисель, сладкое тесто*). Отдельно выделено значение «десертное блюдо». Переносные значения связаны

¹ «Эмпирирные прилагательные» (от греч. *empeiria* — опыт, восприятие) в терминологии работ А. Н. Шрамма. Это прилагательные, обозначающие признаки, «воспринимаемые органами чувств и осознаваемыми человеком в результате одноступенчатой мыслительной операции сопоставления с «эталоном». Эмпирирные (перцептивные) прилагательные обозначают собственный признак конкретных предметов, их содержание находится в полном соответствии с логико-философской категорией качества» [Шрамм: 21].

с чувственными приятными ощущениями (сладкий поцелуй свиданья) — о вещах, доставляющих удовольствие.

Номинативное значение лексемы *сладкий* реализуется в ограниченном числе контекстов СЯРП. Семантическая сочетаемость слова реализуется с наименованиями продуктов (в том числе с устаревшим наименованием родового обозначения еды: *брашна*) и жидкостей. Наименования жидкостей выходят в данном случае на первый план: «сладких брашен» Куз903; «нам дадут сладких напитков», Куз905—08; «Сломались сахарные ножки / И в сладкой лужице лежат...» [о сахарной фигурке] АБ909; «Мёду¹ сладкому смешаться / Со скорбными росами» Куз909; «Не будем пить из одного стакана / Ни воду мы, ни сладкое вино» Ахм913; «Их вода — не сладкая» Цв920; «И солнце перезревшей девой (Верно, сладкое любит варенье), Сладко, ласково закатилось на львиное плечо» Хл921,22; «Чай не сладкий, хлеб не белый — / Личиком бела зато!» Цв920); «Это — сладкий заглохший горох, / Это — слезы вселенной в лопатках» П917.

Номинативное значение прилагательного реализуется в сравнительных конструкциях: «Мои поцелуи не слаще ли сладкого яблока?» Куз905—08; «Землю, / где воздух / как сладкий морс, / бросишь / и мчишь, колеся» М927.

Материал показывает, что больше всего случаев прямого использования слова находим в поэтических произведениях М. Кузмина.

Прилагательное включается в метафорические преобразования текста. Блок использует развернутую метафору — сладкая капля из чаши счастья: «из полной, светлой чаши / Мы счастье пьем, пока не видя дна. / Когда-нибудь, с последней каплей сладкой, / Судьба столкнет упрямо нас» АБ898.

Яркую картину реализации метафоры «жизнь — сладкая сайка» находим у Пастернака: «Привыкши выковыривать изюм / Певучестей из жизни сладкой сайки, / Я раз оставил должен был стезю / Обьевшего рифмами всезнайки» П925—31. «Сладкие плоды» любви собирает лирический герой стихотворения Кузмина: «Как счастлив был я с милою Надиной, / Как жадно пил я кубок томных нег! / Но ах! недолго той любви нежной / Мы собирали сладкие плоды» Куз906.

В словарных статьях СЯРП встречаются метафорические парафразы с лексемой «сладкий»: *сладкая дымность* (Хл908) — воспоминания; *сладкая лихорадка* — любовь (П925—31).

¹ «Мёд является тем эталонным продуктом, который характеризуется вкусовым признаком “сладкий”, что позволяет использовать название этого продукта при сравнении для раскрытия вкусового признака другого объекта»; ср. диссертацию по теме: *Шуклина Т. Ю.* Семантическое развитие прилагательных со значением вкуса в истории русского языка: Дис. ... канд. филол. наук. Казань, 1995. 356 с.

Сочетания с наименованиями жидкости активизируют переносное значение прилагательного *сладкий* (имеющий положительную оценку для говорящего). Переносное значение прилагательного *сладкий* — *сладкая вода* находим в контекстах Кузмина и Хлебникова: «Ты приведешь меня в тихую, сладкую воду, / Где я узнаю покорности ясной свободу» Куз909; «Как по речке по Ирану, / По его зеленым струям, / По его глубоким сваям, / Сладкой около воды, / Ходят двое чудаков / Да стреляют судаков» Хл921.

Среди качественных прилагательных вкуса чаще других появляются синестетические контексты, то есть такие, в которых реализуется возможность восприятия с помощью органов какого-то одного чувства, явления, относящегося к области другого, например, восприятие звука через вкус: «Где-то хоры сладкие Орфея» ОМ908–25; «И сладким голосом влеком, / Я вопрошал» Куз911–12; «Однозвучно запели ручьи, / Сладкой песнью меня оглушили» АБ915; «Голос — сладкий для слуха, / Только взглянешь — светло» Цв917; «Не сладкий глас, а ярый крик / Прорежет темную утробу» Куз921; «Обворовывая / массу, / разжиревши понемногу, / подытожил / сладким басом: / “День прожил — /и слава богу”» М928.

Последний пример может служить иллюстрацией такого семантического явления прилагательного, как эмоционально-экспрессивная энантиосемия [Ермакова] [Цоллер]. Когда речь заходит об оценочной функции прилагательного, то мы должны признать, что положительный или отрицательный элемент оценки слова зависит от «вложенного» положительного или отрицательного компонента: «сладкий голос» Куз911–12 — «сладким басом» М928. Сравним также примеры из поэзии Блока и Марины Цветаевой. У первого автора очевидно ироническое употребление выражения «сладкое житье», у второго словосочетание «сладкая речь» размещено в ряду негативных наименований: «Как пошли наши ребята / В красной гвардии служить — / В красной гвардии служить — / Буйну голову сложить! / Эх ты, горе-горькое, / Сладкое житье! / Рваное пальтишко, / Австрийское ружье!» АБ918; «От бессонницы, от речи сладкой, / От змеи, от лихорадки, / От подружкина совета, / От лихого человека, / От молодых друзей, / От чужих князей — / Заклинаю государыню-княгиню, / Молодую мою, верную рабыню» Цв917.

Еще один синестетический перенос используется в контекстах, где вкус приравнивается к запаху: «Сладкий запах белых роз...» Куз906; «От роз струится запах сладкий» Ахм912; «Я жареных гусей вдыхаю сладкий запах» ОМ913; «Можжевелника запах сладкий / От горящих лесов летит» Ахм914; «запах тленья обморочно сладкий» Ахм921; «Размыло все, / даже запах капустный / с кухни / всегдашний, / приторно сладкий» М923; «И в памяти черной пошарив, найдешь / До самого локтя перчатки, / И ночь Петербурга. / И в сумраке лож / Тот запах и душный и сладкий» Ахм944–60.

Оксюморонные сочетания [Кожевникова: 30] становятся ключевым стилистическим приемом большинства авторов СЯРП (*сладкий яд, сладкий обман, сладкое лекарство, сладкая мука, сладкая смерть* и др.): «Дай сладкий яд мне — стражу отравить!» АБ899; «Тоской неведомой, но сладкой / Вся грудь полна» АБ899; «И ядом сладким заморочь» АБ906; «И опять твой сладкий сумрак, влюбленность» АБ907; «Душе влюбленной невозможно / О сладкой смерти не мечтать» АБ908; «Вся комната напоена / Источной — сладкое лекарство!» ОМ909; «О, какой сладкий обман!» Цв910; «И там, как здесь, мне будет сладкой мукой / Твой тихий жест» Цв910; «О, старый мир! Пока ты не погиб, / Пока томишься мукой сладкой, / Остановись, премудрый, как Эдип, / Пред Сфинксом с древнею загадкой! / Россия — Сфинкс» АБ918; «Веселые, вы пили сок / И пьянства сладкие грехи» Хл919, 20–22.

Качественные прилагательные имеют такую семантическую особенность, как градуируемость признака. Признак может принимать значение неопределенности, становиться пограничной характеристикой между физическими свойствами объектов и их *эмоциональной интерпретацией*: «Какую сладкую пустыню я нашел!» Куз920; «Какой молочный, сладкий плен!» Куз920.

Поэтической традицией поддерживается сочетаемость слов с наименованием психических процессов, оцениваемых авторами как «значимо приятные». Прилагательное *сладкий* в данных контекстах служит также для передачи интенсивности восприятия чувства (нега, любовь, страсть и др.). Чаще всего в непрямых значениях СЯРП фиксирует сочетания с существительными: запах, 6; надежда, 4, яд, 4, волна, 2, голос, 2, му́ка, 2, ласка, 2: «Теперь одной любви полны сердца, / Одной любви и неги сладкой» АБ898; «Он молчал, замороженный / Сладкой близостью души. АБ902; «В порыве безумном и сладком» АБ902; «сладкий намек...» АБ903; «Не знаю почему — богини изваянье / Над сердцем сладкое имеет обаянье... [о статуе Мира в Царском Селе]» Анн905; «сладкую надежду» Куз906; «<...> В сладких ласках прежних рук» Куз906; «Здесь страстью сладкою волнуясь и горя, / Меня спросили Вы, люблю ли» Куз907; «Возлюби в лобзаннях сладких волн медлительную лень» Куз908; «Но лишь только скажу в сладкой надежде “твой”» Куз909; «Не покинет Он меня, / Сладкой вестью возмания!» Куз909. «Да, я томлюсь надеждой сладкой» АБ914; «Ой ты, Русь моя, милая родина, / Сладкий отдых в шелку купырей» Ес914. Время создания таких поэтических произведений, в которых встречаются переносные значения прилагательного, имеют временную границу: до 1917 г.

Среди уникальных авторских сочетаний назовем сочетание «Сладкая вольность гражданства»: «Еще волнуются живые голоса / О сладкой вольности гражданства! / Но жертвы не хотят слепые небеса: / Вернее труд и постоянство» ОМ917. Это же сочетание похоже на парафразу текста

Дж. Г. Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда»: «Как Ватерлоо повторило Канны, / Так повторен Моратом Марафон. / Там выиграли битву не тираны, / А Вольность, и Гражданство, и Закон».

В одной строке могут встречаться контекстуальные антонимы (ср. вариативные антонимичные пары: *сладкий* и *горький* [Апресян: 298–299]): *сладкое* и *кислое* (субстантивированные прилагательные): «Я не знаю, были ли мо[ими] бабушкой и дедом / Обезьяны, т[ак] к[ак] я не знаю, хочется ли мне сладкого или кислого» Хл909.

Для употребления наречия *сладко* также характерны контексты, которые описывают ситуацию восприятия мира с помощью обоняния: «Хан в чистом белье / Нюхал алый цветок, сладко втягивал в ноздри запах / Жадно глазами даль созерцая» Хл921,22 (355.3); «Ничто не пробилося мне в душу, / Ничто не смутило меня. / Струилися запахи сладко» Ес925 (111,187).

Для краткого прилагательного *сладок* законы синестетического сочетания те же, что и для полного (запах — вкус): «Запах грядок прян и сладок» Куз907 (39.1); «Сладок запах синих виноградин...» Ахм909 (44.2).

Пересечение семантических зон «сладкий» и «сон» является традиционным поэтическим приемом, что подтверждают материалы СЯРП: «Могу увидеть сладкий сон» АБ903; «Сладкий сон вам пошлю» АБ904; «хрупки и минутны сны» Куз907; «Не потому ль кабацкий звон гитары / Мне навевает сладкий сон?» Ес924; «Да будет так же сладок / И нерушим твой сон» П953 (11,164).

Сладкий *сон* плавно перетекает в *дурман*: «И запомнилось мне, / Что в избе этой низкой / Веял сладкий дурман» АБ905 (11, 26); «И прядет, и прядет королева, / Опустив над работой пробор. / Сладким сном одурманила нас» АБ905 (11,26).

Сходные семантические процессы наблюдаются в рамках анализа словарных статей других слов, входящих в разбираемую группу слов. Так, прилагательное *сладостный*, превосходная форма прилагательного *сладчайший* сочетаются с существительным *сон*: «Безмирные и сладостные сны» АБ902; «Ты — как грешник, видящий райский / Перед смертью сладчайший сон...» Ахм916; «На утренней заре придут ко мне друзья, / И мой сладчайший сон рыданьем потревожат, / И образок на грудь остывшую положат» Ахм922.

Выводы. Семантическое ядро разбираемой группы слов — прилагательное *сладкий* — обладает чрезвычайно высоким семантико-словообразовательным потенциалом. Сходные семантические процессы: использование в основном переносных значений; включение в антонимические пары и др. характерны для всех единиц, объединяемых семой «сладкий». Материалы «Словаря языка русской поэзии XX века» позволяют сделать вывод, что в поэтическом языке номинативное значение слов дан-

ной группы встречается гораздо реже, чем переносные. Еще одна особенность употребления лексем с элементом значения «сладкий» — синестезия вкусовых и звуковых элементов значения сочетающихся слов. Это мнение подтверждают материалы различных авторских словарей (Пушкин, Батюшков, Боратынский) и ресурсы Национального корпуса русского языка.

Все стихотворные строки в словарных статьях СЯРП сгруппированы по десятилетиям. Поэтому легко вычислить, что временной промежуток использования единиц данной группы смещен к началу XX в. Так, самыми активными годами использования прилагательного *сладкий* стали 1900–1920 гг., единичные контексты зафиксированы в следующее десятилетие 1921–1930 гг., а в 1940-е гг. — всего два контекста. Наречие *сладко* имеет схожую историю употребления. Почти все окказиональные образования также встречаются в текстах начала XX в.: 1900–1920 гг. Стихотворные строки с кратким прилагательным *сладостен*, наречием *сладостно*, сравнительной формой прилагательного *сладчайший* зафиксированы до 1922 г. Последний контекст с именем существительным *сладострастье* — 1917 г. Существительное *сладость* имеет самую длинную историю, от 1898 г. в стихотворении Блока до 1964 г. в стихотворении Ахматовой.

В заключение приведем весь список слов в порядке убывания частоты употребления: сладко, 98 (тж в знач. сказ.); сладкий, 93, сладок, 40; сладостный, 40; сласть, 20; сладость (тж мн. сладости — кондитерские изделия), 39; слаще, 36; сладостно (тж в знач. сказ.), 17; сладчайший, 14; всласть (разг.), 12; сладострастье (книжн.), 9; сладостен, 8; наслажденные, 6; наслаждение, 4; насладиться, 3; сладкое, 3 (субст. прил.); слащавый, 3; кисло-сладкий, 2 ОМ931,937; сладкозвучный (книжн. устар.), 2 Анн904, Хл915; голубино-сладкий (нов.), Куз917; дикарско-сладкий (нов.), ОМ937; ладанно-сладок Ахм943; наслачивать (разг.) Цв922; под-сластка (разг.) П931; сладелый (нов.) 4 Куз917–926; сладимый [обл.; сладкий, сладковатый] Ахм939; сладкий (субст. прил.) Цв920; сладкий-сладкий Цв918; сладковатый ОМ931; сладкогласец (книжн., устар.) П922; сладкогласный (книжн. устар.) ОМ937; сладколичице (нов.) Цв921; сладко-непонятно (нов.) Анн900-е; сладкопеевец Куз909; сладкослюнчат (нов.) Цв922; сладко-строгий (нов.) Куз907; сладкострунчат (нов.) Цв922; сладостнее ОМ909; сладостней Куз908; сладостнейший Цв924; сладостно-воздушный (нов.) Анн900-е; сладостно-непоправимый (нов.) Куз922; сладостно-сильный (нов.) Анн909; неназванно-сладостный (нов.) Цв910; сладострастен (книжн.) Куз927; сладострастный (книжн.) Цв917; волшеб-но-сладострастный (нов.) Анн899; сладыка (нов.) Хл920-22; сла-стёна (разг.) Хл921; сластолюбивый (книжн.) Цв921; сласть-чернослив Цв928,29–30.

Литература

Апресян Ю. Д. Лексическая семантика (синонимические средства языка) // *Апресян Ю. Д. Избранные труды: В 2 т. Т. 1.* Москва: Языки русской культуры, 1995. 472 с.

Белый А. Из книги «Поэзия слова»: Пушкин, Тютчев и Баратынский в зрительном восприятии природы // *Семиотика: Антология.* Москва: Академ. проект; Деловая кн., 2001. С. 480–485.

Гик А. В. Конкорданс к стихам М. Кузмина: В 4 т. Т. 4. Москва: Рукописные памятники Древней Руси, 2015. 376 с.

Грошева А. В. Прилагательные со значением *сладкий* в поэмах Гомера // *Материалы семнадцатых чтений памяти И. М. Тронского «Индоевропейское языкознание и классическая филология — XVII».* Санкт-Петербург: Наука, 2013. С. 228–243.

Ермакова О. П. Существует ли в русском языке энантиoseмия как регулярное явление? Вспоминая общую этимологию начала и конца // *Логический анализ языка.* Москва: Индрик, 2002. С. 61–68.

Кожевникова Н. А. Словоупотребление в русской поэзии начала XX века / Отв. ред. В. П. Григорьев. Москва: Наука, 1986. 253 с.

Колбенева М. Г. Органы чувств, эмоции и прилагательные русского языка: лингво-психологический словарь. Москва: Языки славянских культур, 2010. 366 с.

Кустова Г. И. Прилагательные // *Материалы к корпусной грамматике русского языка.* Вып. 3. Части речи и лексико-грамматические классы. Санкт-Петербург: Нестор-История, 2018. С. 40–107.

Рахилина Е. В. В зеркале прилагательных // *Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость.* Москва: Издательский центр «Азбуковник», 2010. С. 444–238.

Русская грамматика. Т. 1. Москва: Наука, 1980. 754 с.

Цоллер В. Н. Эмоционально-оценочная энантиoseмия в русском языке // *Филологические науки.* Москва, 1998. № 4. С. 79–80.

Шестакова Л. Л. Современное состояние русской авторской лексикографии // *Вопросы языкознания.* 2019. № 2. С. 126–150.

Шрамм А. Н. Очерки по семантике качественных прилагательных (на материале современного русского языка). Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1979. 134 с.

References

Apresyanyan Yu. D. Leksicheskaya semantika (sinonimicheskie sredstva yazyka) // *Apresyanyan Yu. D. Izbrannyye trudy: V 2 t. T. 1.* Moskva: Yazyki russkoj kul'tury, 1995. 472 s.

Belyj A. Iz knigi “Poeziya slova”: Pushkin, Tyutchev i Baratynskij v zritel’nom vospriyatii prirody // *Semiotika: Antologiya*. Moskva: Akadem. proekt; Delovaya kn., 2001. S. 480–485.

Gik A. V. Konkordans k stikham M. Kuzmina: V 4 t. T. 4. Moskva: Rukopisnye pamyatniki Drevnej Rusi, 2015. 376 s.

Grosheva A. V. Prilagatel’nye so znacheniem *sladkij* v poemakh Gomera // *Materialy semnadcatykh chtenij pamyati I. M. Tronskogo “Indoevropskoe yazykoznanie i klassicheskaya filologiya — XVII”*. Sankt-Peterburg: Nauka, 2013. S. 228–243.

Ermakova O. P. Sushchestvuet li v russkom yazyke enantiosemiya kak reguljarnoe yavlenie? Vspominaya obshchuyu etimologiyu nachala i konca // *Logicheskij analiz yazyka*. Moskva: Indrik, 2002. S. 61–68.

Kozhevnikova N. A. Slovoупotreblenie v russkoj poezii nachala XX veka / Otv. red. V. P. Grigor’ev. Moskva: Nauka, 1986. 253 s.

Kolbeneva M. G. Organy chuvstv, emocii i prilagatel’nye russkogo yazyka: lingvo-psikhologicheskij slovar’. Moskva: Yazyki slavyanskih kul’tur, 2010. 366 s.

Kustova G. I. Prilagatel’nye // *Materialy k korpusnoj grammatike russkogo yazyka*. Vyp. 3. Chasti rechi i leksiko-grammaticheskie klassy. Sankt-Peterburg: Nestor-Istoriya, 2018. S. 40–107.

Rahilina E. V. V zerkale prilagatel’nykh // *Kognitivnyj analiz predmetnykh imen: semantika i sochetaemost’*. M.: Izdatel’skij centr “Azbukovnik”, 2010. S. 444–238.

Russkaya grammatika. T. 1. Moskva: Nauka, 1980. 754 s.

Coller V. N. Emocional’no-ocenochnaya enantiosemiya v russkom yazyke // *Filologicheskije nauki*. Moskva, 1998. № 4. S. 79–80.

Shestakova L. L. Sovremennoe sostoyanie russkoj avtorskoj leksikografii // *Voprosy yazykoznanija*. 2019. № 2. S. 126–150.

Shramm A. N. Oчерki po semantike kachestvennykh prilagatel’nykh (na materiale sovremennogo russkogo yazyka). Leningrad: Izd-vo LGU, 1979. 134 s.

Сведения об авторе: Анна Владимировна Гик; кандидат филологических наук; Институт русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук; старший научный сотрудник; ORCID 0000-0001-9449-546X; annagik@yandex.ru; сфера научных интересов: авторская лексикография, поэтическая грамматика, русский футуризм.

The author’s profile: Anna Vladimirovna Gik; Candidate of Philology; Vinogradov Institute of Russian Language of the Russian Academy of Sciences; senior specialist; ORCID 0000-0001-9449-546X; annagik@yandex.ru; research interests: author’s lexicography, poetic grammar, Russian futurism.

УДК 81'42:821.161.1

DOI: 10.25688/2619-0656.2020.14.09

**РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ АКСИОЛОГИИ
К. Г. ПАУСТОВСКОГО:
АКАЦИЯ В АСПЕКТЕ
ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОЙ
КОЛОРИСТИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ**

**FLORA IN K. G. PAUSTOVSKY'S ART AXIOLOGY:
ACACIA IN THE ASPECT OF AUTHOR'S COLORISTIC
VISUALIZATION**

**Татьяна Викторовна Сивова
Гродненский государственный университет,
Гродно, Беларусь**

**Tatyana Viktorovna Sivova
Grodno State University,
Grodno, Belarus**

Аннотация

В статье на материале произведений, включенных в Собрание сочинений К. Г. Паустовского, реконструируется один из фрагментов колористической картины мира писателя. На фоне отмеченной аксиологической модальностью многосторонней характеристики акации представлена значимая для авторского мировосприятия цветовая составляющая ее описания. Выявлен колористический спектр, используемый К. Г. Паустовским для визуализации растения, функциональный потенциал терминов цвета, описана специфика индивидуально-авторской перцепции и визуализации акации, что способствует комплексной реконструкции языковой картины мира писателя.

Ключевые слова: языковая картина мира, лингвистика цвета, флора, акация, идиостиль, К. Г. Паустовский.

Abstract

In the article, one of the significant fragments of K. G. Paustovsky's linguistic picture of the world was reconstructed on the basis of the writer's Collected Works (in 9 volumes). Taking into account the important status of acacia in the

axiological space of culture, in national and individual linguistic consciousness, in the chronotope of modernity, it seems appropriate to identify and describe the author's specificity of acacia perception and visualization based on the extensive material of K. G. Paustovsky's prose.

The methodological basis of this article is comprised by the key provisions of color linguistics, set forth in V. G. Kulpina's works, as well as in scientific research of R. M. Frumkina, A. P. Vasilevich, V. K. Kharchenko. Of particular importance in the light of coloristic component significance in the linguistic picture of the writer's world is reconstruction of one of the fragments of color natural space of K. G. Paustovsky's prose exemplified by the dendronym acacia. Against the background of acacia multilateral characteristics (spatial, actional, humidity, odorant, temporal, acoustic, parametric, tactile, taste and anthropomorphic among them), marked by axiological modality the specifics of the author's color visualization of acacia was presented.

As the result of this study, the amplitudinous color spectrum used by K. G. Paustovsky to visualize the plant, which includes 9 color terms (in alphabet order: black, dove-colored-yellow, gray, green, rusty, silver, sulfur color, white, yellow), was revealed. The color terms prevailing in this registry are yellow, white, green, the prose color palette expands to include the author's color terms. The powerful functional potential of color terms has been revealed too, which is manifested both in the ontological and classification-taxonomic functions. The multifunctional coloristic characteristic of acacia was revealed demonstrating the author's individual perception specificity actualized in significant spatial planes of K. G. Paustovsky's works (not only in the space of nature, but also in the space of the city, in the space of creativity), which is important in the reconstruction of the unique coloristic picture of the writer's world. Moreover — supplemented by the plant's multilateral characteristic marked by axiological modality — in the reconstruction of K. G. Paustovsky's linguistic picture of the world, it seems significant in the light of the anthropocentricity of modern linguistics.

Key words: linguistic picture of the world, linguistics of color, flora, acacia, individual style of writing, K. Paustovsky.

Введение. Аксиологическая значимость природы в картине мира К. Г. Паустовского стала аксиомой для исследователей его творчества. Так, Е. В. Летохо отмечает, что «в структуре художественного текста авторская аксиология наиболее последовательно раскрывается в подходах к изображению природы и личности» [Летохо 2010: 5]. С. А. Мантрова подчеркивает, что «в аксиологии писателя “природа” оказывается рядом с понятиями “родина”, “красота”, “любовь”, “гуманизм”» [Мантрова 2011: 16], а «жизнь “полезных” растений и жизнь “новых людей” аксиологически равнозначны для Паустовского» [Мантрова 2011: 13]. Т. В. Сапрыкина в статье «Эстетический идеал К. Г. Паустовского: прекрасное в природе»

делает заключение о том, что «в новеллах Паустовского прекрасное мыслится как совершенный миг жизни, связанный зачастую именно с природным описанием и восприятием ее человеком» [Сапрыкина 2011: 198]. Таким образом, вывод С. А. Мантровой о том, что К. Г. Паустовский ставит природу «на вершину собственной системы ценностей, своей аксиологии» [Мантрова 2011: 15], представляется абсолютно правомерным.

В языковой картине мира писателя пространство природы закономерно находит отражение, проявляя специфику индивидуально-авторской перцепции и визуализации значимого фрагмента картины мира К. Г. Паустовского¹. Выявление особенностей колористической визуализации растительного мира² раскрывает перед лингвистами возможности как описания растительного кода произведений, так и реконструкции колористической картины мира писателя, что значимо для комплексного описания языковой картины мира К. Г. Паустовского.

Материалом данного исследования послужили произведения, включенные в Собрание сочинений: В 9 т. [Паустовский 1981–1986]. Видится целесообразным в свете значимости пространственной координаты (пространство природы) и колористической составляющей языковой картины мира писателя воссоздать один из фрагментов цветового природного пространства его произведений на примере функционирования лексемы *акация* ‘название нескольких видов деревьев и кустарников семейства бобовых’ [БТСРЯ 2000: 31], количество словоупотреблений которой в исследуемых текстах — более 100. **Теоретической основой** работы являются ключевые положения лингвистики цвета, изложенные в трудах В. Г. Кульпиной [Кульпина 2001; Кульпина 2019], а также Р. М. Фрумкиной [Фрумкина 1984],

¹ Отдельные результаты исследований представлены в докладах «Орнитологический код рассказов К. Г. Паустовского через призму цвета» (V Междунар. конгресс «Андалузские славянские сессии», Университет Гранады, 2019 г.); «Колористическая визуализация солнца в языковой картине мира К. Г. Паустовского» (X Междунар. науч. конф. «Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах», Челябин. гос. ун-т, 2020 г.); «Дендронимический код произведений Паустовского через призму цвета. Концепт дуб» (IV Междунар. науч.-практ. конф. «Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы исследования», БГУ, 2020 г.) и др.

² Некоторые результаты исследований изложены в докладах «Флористический код произведений К. Г. Паустовского в терминах цвета. Цвет винограда» (XV Междунар. Карские чтения «Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации», Гродн. гос. ун-т, 2020 г.); «Фитоним *мах* в репрезентации колористической картины мира К. Г. Паустовского» (XI Междунар. науч.-практ. конф. «Перевод. Язык. Культура», Ленинград. гос. ун-т им. А. С. Пушкина, 2020 г.); «Колористическая визуализация дендронимического пространства в языковой картине мира К. Г. Паустовского. Концепт берёза» (X Междунар. конгресс по когнитивной лингвистике, Урал. гос. пед. ун-т, 2020 г.) и др.

А. П. Василевича [Василевич 2005], В. К. Харченко [Харченко 2009]. **Методологической основой статьи** является комплекс методов, используемых на разных этапах работы, включая метод сплошной выборки, описательно-аналитический, контекстуальный, количественной обработки данных.

Основная часть. Важно отметить, что акация константно присутствует в поле исследовательского внимания лингвистов. Так, Е. В. Михайлова, исследуя функционирующие в ранних англо-, франко- и японоязычных версиях Библии слова и словосочетания, репрезентирующие тематическую группу «Деревья и кустарники», выявляет особенности перевода лексемы *ситтим*, обозначающей упоминаемое в Библии дерево из рода акаций [Михайлова 2019]. Согласно исследованиям Е. П. Мачихиной, акация входит в список флористических текстовых единиц художественных произведений Б. Л. Пастернака, отражающих «его авторскую картину мира, состояние языковой системы, опыт современного читателя, формирующих семантику текстов» [Мачихина 2008: 114]. В идиостиле Н. С. Гумилева «эмотивная функция фитонимов связана с символической передачей различных оттенков и проявлений чувства любви, с выражением символических значений, характеризующих внутренний мир лирического героя»: акация и мимоза в его произведениях — знаки идеального мира [Тарасенко, Соколова, Паршина 2018: 1]. Е. В. Женевская, обращаясь к лексикографическим источникам и масс-медийному дискурсу английского языка, рассматривает «австралийский иконический концепт *golden wattle* и новозеландский иконический концепт *silver fern*, воплощающие национальные ценности и являющиеся частью национальных картин мира австралийцев и новозеландцев» [Женевская 2013: 105]. Исследователь подчеркивает, что концепт *golden wattle*, соотносимый со значением ‘широколиственная австралийская акация, производящая смолу и дубильные вещества’, ‘любая похожая акация, особенно сиднейская золотистая акация’, коррелирует с флористической эмблемой Австралийского союза, «желтый и зеленый цвета являются национальными цветами, и именно золотистая акация послужила источником такого выбора» [Женевская 2013: 108]. Таким образом, разнообразие фактического материала исследований, широта их проблемного диапазона свидетельствуют о важном статусе акации в аксиологическом пространстве культуры, в национальном и индивидуальном языковом сознании, в хронотопе современности.

Акация значима и в дендронимическом коде произведений К. Г. Паустовского, что подтверждает широкое функционирование лексем *акация*, *акациевый* в корреляции с лексемами *семя* («в лицо били семена акаций»), *стручок* («высохший стручок акации»), *лепесток* («настил акациевых лепестков»), *цветок* (описание цветов акации), *лист* («тень перистых акациевых листьев»), *листва* («сухая акациевая листва»), *ветка* («за окнами ветки акаций»), *ствол* («на сухом стволе акации»), *деревце*

(«с особой заботой к молоденьким деревцам» [акации]), *заросль* («сквозь заросли акаций»), *куст* («в кустах акаций»), *лес* («удар фёна по акациевым лесам»), а также *дрова* («покупал акациевые дрова»), *тень* («нежная тень акации»). В контекстах: «Огромными облаками вспухала над городом пыль, рявкали зенитки, в стены швыряло оторванные *ветки акаций*» (здесь и далее выделено нами. — Т. С.) [Паустовский 1983а: 273]; «глубоко вздохнуть, когда неожиданный ветер прорвется по невидимому фарватеру среди стен, оград, памятников, остатков бастионов, *кустов акации* и ударит в лицо» [Паустовский 1982в: 217].

Создавая целостное представление об акации, писатель наделяет ее широким спектром характеристик, среди которых значимы:

— пространственная («в тени одесских акаций»; «деревца акации на известковом и безлюдном бульваре»; «в самую гущу этих уличных акаций»; «росли в сквере акации»; «акация около портовой конторы»; «кусты акаций на берегу»; «качались лампы, и окна, и акации за ними» и др.): «Сухие *кусты акации* росли на *щебенчатой земле*» [Паустовский 1982б: 359], причем дендроним *акация* не только организует систему локальных пространственных координат («сидел на корточках под акацией»; «пить под акациями вкусную воду»; «продавали под акациями первые цветы»; «у танков, спрятанных под акациями»; «в холодке под акацией»; «под корнями тamarиска и акации»; «в зарослях акаций по краям полей»; «сидят на старой акации»; «исчез среди отцветающих акаций» и др.): «*Ветер* прошумел в *акациях*, рванул ее платье» [Паустовский 1981а: 254]; «За окном было видно море, на углу под акацией спал сидя чистильщик сапог, морщинистый и бессловесный айсор» [Паустовский 1981а: 278], но и участвует в создании общего представления о пространстве города: «Вот он здесь, этот *город* [Севастополь], — в горячем дне, в перистой *тени акаций*» [Паустовский 1982б: 129];

— акциональная («цвели акации»; «когда акация осыпается»; «дрожащие от ветра кусты акации»; «в лицо били семена акаций, вылетающие из лопнувших стручков»; «лежала сломанная акация» и др.): «*Листья акаций* уже не плавали по чистым лужам, а давно *утонули* в них» [Паустовский 1982б: 701]; «*Листья* ее [акаций] еще *не увяли, шумели* от ветра и *бросали тень* на мраморную доску» [Паустовский 1983б: 322];

— влажностная, в которой доминирует признак «не покрытый или не пропитанный водой, влагой» («высохшие акации»; «шелест подсыхающих акаций»; «по настилу сухих акациевых лепестков»; «высохший стручок акации»; «в сухой листве акаций»; «с ворохами сухой акациевой листвы»; «на сухом стволе акации»; «в тени от сухих кустов акаций» — «прислонялся к мокрым акациям»): «Сохли акации» [Паустовский 1981б: 42]; «Люди идут с фонарем, его свет падает на *мокрую листву акаций*» [Паустовский 1984: 137];

– одоративная («смешанный с запахом акаций»; «пахнет пыльной акацией»; «запах промокшей листвы акаций»; [очерки] «пахли морем, акацией» и др.): «Пушкин (оборачивается, смотрит на ночное море, повторяет слова Вигеля). Всегда я так! Пустое! Вы лучше послушайте, *как тянет акацией*» [Паустовский 1984: 115], значимая при создании пространства человека: «*Он* [Багрицкий] был весь прогрет югом, жаром желтого ноздреватого известняка, из которого построена Одесса, *пропах* полынью, солью, акацией и морем» [Паустовский 1982а: 361] и пространства города: «*Севастополь!* Помните, какая там очень-очень прозрачная и зеленая вода? Особенно под кормой пароходов. И *запах* поломанных взрывами *сухих акаций*» [Паустовский 1983а: 323];

– темпоральная («шелест старых акаций»; «сидят на старой акации»; «в тени старых акаций»; «в зелени столетних акаций» и др.): «*Под старой акацией* лежала на подостланном одеяле сестра Торелли» [Паустовский 1982в: 54]; «Вдоль тротуаров зацвели *старые акации*» [Паустовский 1982в: 23];

– аудиальная («шумят акации»; «шелест подсыхающих акаций»; «свистели ветви акаций»): «Земля покачивалась и волновалась *от шума акаций* и ветра» [Паустовский 1981а: 511], отмеченная образностью: «Когда акация осыпается, ветер несет вороха цветов по улицам. Они *с шумом, подобно сухому прибою*, катятся по мостовым и набегают на садовые ограды и стены домов» [Паустовский 1982б: 466], лежащая в основе ассоциативно обусловленных аудиальных параллелей: «Когда я вернулся домой, елку тотчас зажгли и в комнате началось такое веселое *потрескивание свечей, будто* вокруг непрерывно *лопались* сухие *стручки акации*» [Паустовский 1983б: 432];

– параметрическая («маленькие кусты акации»; [акация] «дрожала маленькими листьями»; «нет перистых акаций»; «в перистой тени акации»): [сорт белой акации] «Дает *стройные* и *высокие стволы* и никогда не гниет» [Паустовский 1982а: 129];

– характеристика «состоящий из множества близко/далеко расположенных друг к другу однородных предметов» («среди редких акаций» — «густая акация»): «*Густые кусты акации* нависают над полуразрушенной прибором подпорной стеной» [Паустовский 1984: 129];

– тактильная: «Все это было прекрасно, но, как только мы приехали, началась смертоносная небывалая жара — до 44 градусов — и ни капли тени. Кругом только полынь и *колючие* маленькие *кусты акации*» [Паустовский 1986: 386];

– вкусовая: «Мальчишки сидят *на старой акации* и набивают рот сухими *сладкими цветами*» [Паустовский 1983б: 399];

– антропоморфная: «Из Аравии тянуло зноем, как от постели больного тропической лихорадкой. В Суэце мы видели последнюю зелень — пыль-

ную акацию около портовой конторы. Она дрожала маленькими листьями и, казалось, *просила пить*» [Паустовский 1983а: 74].

Важно отметить, что, в силу значимости в мировосприятии К. Г. Паустовского колористической составляющей [Сивова 2019], цветовая характеристика акации закономерно занимает одно из ключевых мест. Так, колористический спектр, используемый писателем для визуализации растения, включает 9 терминов цвета, среди которых в количественном отношении (количество словоупотреблений) преобладают *желтый, белый, зеленый* (в пределах 10), в меньшей степени представлены термины цвета *ржавый, серебряный, серый, черный*. Палитра расширяется цветовым композитом *сизо-желтый* и авторским цветообозначением *цвет серы*. В качественном отношении (количество терминов цвета) в палитре доминирует блок цвета [Фрумкина 1984: 54] «серые»: *серый, черный*, а также «промежуточные» имена цвета: *серебристый/серебряный, сизый (сизо-желтый)*, представлены в меньшей мере блоки «желтые»: *желтый*, «зеленые»: *зеленый*, «белые»: *белый*, квазиблок «оранжевые»: *ржавый*.

Термин цвета *желтый* в визуализации акации коррелирует с лексемами *лист, листва, цветок, дрова, стручок*, непосредственно указывая на цвет объекта: «Только колючие кусты держи-дерева и чахлая акация с желтыми сухими цветочками росли в палисадниках» [Паустовский 1982б: 68]; «Лиза топила печку желтыми акациевыми дровами» [Паустовский 1982б: 137], фиксируя влияние внешних природных факторов: «Листва акаций уже желтела (хотя был только июнь)» [Паустовский 1981а: 278]; «Теперь они [листья акации] лежали под водой на плитках тротуаров желтыми гниющими пластинами» [Паустовский 1982б: 701]. Помимо онтологической функции, актуализируется, в терминологии В. Г. Кульпиной, классифицирующе-таксономическая функция термина цвета *желтый*, которая «проявляется в сфере выделения видов и подвидов каких-либо живых существ, растений или же неодушевленных предметов и субстанций (*желтая акация* в отличие от *белой акации*)» [Кульпина 2019: 283]: «Вспомнилась осень у моря, в сухом дыму, ветре и треске *стручков желтой акации*, осень в Москве, холодная и вяжущая, как антоновка» [Паустовский 1981а: 171]. Писатель акцентирует внимание на интенсивности окраски: «Все вокруг было усыпано их [акаций] *желтоватыми цветами*» [Паустовский 1982в: 23], расширяет палитру оттенками цвета: «Был сухой день поздней осени. Вороха *сизо-желтых листьев акации* шумели под ногами» [Паустовский 1983а: 471], передает значение «желтый» опосредованно: «*акациевые дрова, похожие по цвету на серу*, продавались в Одессе только щепками» [Паустовский 1982в: 28]. Ср.: *сера* «легко воспламеняющееся вещество желтого цвета» [БТСРЯ 2000: 1176].

В прозе К. Г. Паустовского желтый цвет акации обнаруживает тенденцию движения к термину цвета: «Его [Азовского моря] *вода была по цвету похожа на желтоватую листву акаций*» [Паустовский 1983а: 471], что получает развитие в современной языковой картине мира. Ср. с терминами цвета, зафиксированными А. П. Василевичем: *цветущая акация* «бледный серовато-канареечный» [Василевич 2005: 156], а также на основе термина цвета *зеленый: нежная акация* «светлый серовато-зеленый» [Василевич 2005: 153].

Термин цвета *белый*, функционируя в пространстве природы, указывает на вид растения: «Тут у меня есть еще один *сорт белой акации*, так называемой *мачтовой*» [Паустовский 1982а: 129]; «В степях нужно сажать можжевельник и *белую акацию*, а на солончаках — *тамариск*» [Паустовский 1983б: 306] и на его цвет: «Тот [Пятирубель] спал в садочке около дома, в холодке *от куста белой акации*» [Паустовский 1982в: 125], становясь основой для создания высокохудожественных колористических описаний: «В ураганах красноватой пыли она [Невская] увидела и запомнила на всю жизнь первый жестокий удар фёна *по акациевым лесам*. Фён одним взмахом снял с деревьев, *как мыльную пену, море белых цветов* и поднял их в слепое небо» [Паустовский 1981а: 532]. Писатель расширяет сферу функционирования номинации *белая акация* от собственно природного пространства до пространства города: «Я рассказал о *Таганроге, городе белых акаций*, сонном и чистом, на берегу бледного моря» [Паустовский 1981а: 105], пространства творчества (поэтического слова) [интертекст, Б. Л. Пастернак]: «О вечной новизне каждого шедевра сказал другой поэт, и сказал с необыкновенной точностью. Слова его относились к морю: Придается всё / Лишь тебе не дано примелькаться / Дни проходят, / И годы проходят, / И тысячи, тысячи лет. / В белой рьяности волн, / Прячась / *В белую пряность акаций*» [Паустовский 1983а: 583].

Термин цвета *зеленый* создает колористическую характеристику листвы и плодов акации: «Он [завод] стоял над обрывом на берегу моря, весь в *зелени столетних акаций* и запахе горячей макухи» [Паустовский 1981б: 504]; «Посреди площади росли в сквере *акация*. Они уже отцвели. На ветвях висели большие *зеленые стручки*» [Паустовский 1981б: 525], лежит в основе отмеченных образностью художественных описаний растения, специфичных темпоральной обусловленностью: «До края земли, взбегая на увалы и спускаясь с них, тянулась, *как зеленоватая река, широкая полоса молодых посадок*. Но это не были дубки. Это были *акация* и татарский клен» [Паустовский 1981б: 548]. Помимо пространства природы, номинация актуализируется в пространстве города: «Золотой сумрак солнца сеется *сквозь низкую и пышную зелень акациевых бульваров* [Паустовский 1983б: 70]; помню душную Одессу, теплый свет на широких улицах, пыльную *зелень акаций*» [Паустовский 1981а: 169].

Спорадически акация получает колористическую характеристику с помощью цветообозначений, принадлежащих блоку «серые» (*серый, черный*), квазиблоку «оранжевые» (*ржавый*), а также «промежуточных» имен цвета (*серебряный*). Функциональный потенциал данных терминов цвета проявляется в создании внешней колористической характеристики растения: «Густая акация с отливающими серебром лепестками» [Паустовский 1982в: 373], обусловленной влиянием внешних факторов: «*Ветки акаций стали чернее, полил дождь*» [Паустовский 1981а: 81], временем восприятия: «Тогда вы должны помнить эти *медные сумерки*, когда *акация сереют от пыли* и в море лежит тишина» [Паустовский 1983а: 45]; «пустыньность его [Севастополя] приморских улиц, какая-то прозрачная хрустальная зима, синий свет неба и бухт, причудливый план этого города, целительный воздух, гул штормов и *ржавая листва акаций*, молодые моряки и философы-лодочники» [Паустовский 1984: 291].

Выводы. Таким образом, создавая комплексное представление об акации, К. Г. Паустовский актуализирует широкий спектр характеристик, среди которых — пространственная, акциональная, влажностная, одоративная, темпоральная, аудиальная, параметрическая, тактильная, вкусовая, антропоморфная. Колористическая характеристика закономерно занимает в этом реестре одно из ключевых мест. В цветовом спектре, используемом писателем для визуализации растения и представленном 9 терминами цвета, преобладают термины цвета *желтый, белый, зеленый*, цветовая палитра расширяется до включения авторских цветообозначений. Функциональность терминов цвета проявляется как в онтологической функции, так и в классифицирующе-таксономической. Раскрывающая авторскую специфику восприятия полифункциональная колористическая характеристика акации, актуализируемая в значимых пространственных плоскостях произведений К. Г. Паустовского, имеет важное значение в реконструкции уникальной колористической картины мира писателя. Дополненная обусловленной стремлением писателя воссоздать целостное представление о растении и отмеченной аксиологической модальностью многосторонней характеристикой растения — в реконструкции языковой картины мира К. Г. Паустовского, что представляется значимым в свете антропоцентричности современного языкознания.

Литература

Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. Санкт-Петербург: Норинт, 2000. 1536 с.

Василевич А. П. и др. Цвет и названия цвета в русском языке. Москва: КомКнига, 2005. 216 с.

Женевская Е. В. Иконизация флористических концептов в австралийской и новозеландской картинах мира // Вестник Забайкальского государственного университета. 2013. № 1 (92). С. 105–110.

Кульпина В. Г. Лингвистика цвета. Термины цвета в польском и русском языках. Москва: Московский Лицей, 2001. 470 с.

Кульпина В. Г. Лингвистическая цветология: от истории к современности цветковых концептосфер. Москва: МАКС Пресс, 2019. 288 с.

Летохо Е. В. Художественный мир малой прозы К. Г. Паустовского 1940–1960-х гг.: Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. Москва, 2010. 19 с.

Мантрова С. А. Человек и природа в прозе К. Г. Паустовского 1910–1940-х гг.: типология героя, специфика конфликта, проблема творческой эволюции: Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. Тамбов, 2011. 24 с.

Мачихина Е. П. Флористические текстовые единицы: их роль в творческой картине мира Б. Л. Пастернака // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2008. Вып. 7 (63). С. 114–118.

Михайлова Е. В. Лингвокультурологический анализ фитонимов в текстах англо-, франко- и японоязычных версий Библии // Переводческий дискурс: междисциплинарный подход: Материалы III междунар. науч.-практ. конф. / Гл. ред. М. В. Норец. Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2019. С. 243–248.

Паустовский К. Г. Собрание сочинений: В 9 т. Москва: Худож. лит., 1981–1986.

Садовникова М. А. и др. Влияние произведения К. Г. Паустовского «Заячьи лапы» на формирование системы ценностей младшего школьника // Молодежь и будущее: профессиональная и личностная самореализация: Материалы VII Всерос. студ. науч.-практ. конф. / Под ред. Е. В. Прониной. Владимир: Калейдоскоп, 2018. С. 61–63.

Сапрыкина Т. В. Эстетический идеал К. Г. Паустовского: прекрасное в природе // Ученые записки Забайкальского государственного университета. 2011. № 2. С. 197–203.

Сивова Т. В. Взаимосвязь цвета, света и хронотопа в языке произведений К. Г. Паустовского. Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02. Минск, 2018. 32 с.

Тарасенко Д. Ю. и др. Символические функции наименований цветов в аспекте сопоставления поэтических идиостилей // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2018. № 9 URL: <http://e-koncept.ru/2018/185027.htm>.

Фрумкина Р. М. Цвет, смысл, сходство. Аспекты психолингвистического анализа. Москва: Наука, 1984. 175 с.

Харченко В. К. Словарь цвета: реальное, потенциальное, авторское. Москва: Лит. ин-т им. А. М. Горького, 2009. 532 с.

References

Bol'shoj tolkovyj slovar' russkogo yazyka / Sost. i gl. red. S. A. Kuznetszov. Sankt-Peterburg: Norint, 2000. 1536 s.

Vasilevich A. P. i dr. Cvetet i nazvaniya cvetov v russkom yazyke. Moskva: KomKniga, 2005. 216 s.

Zhenevskaya E. V. Ikonizaciya floristicheskikh konceptov v avstralijskoj i novozelandskoj kartinakh mira // Vestnik Zabajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta. 2013. № 1 (92). S. 105–110.

Kul'pina V. G. Lingvistika cvetov. Terminy cvetov v pol'skom i russkom yazykakh. Moskva: Moskovskij Licej, 2001. 470 s.

Kul'pina V. G. Lingvisticheskaya cvetologiya: ot istorii k sovremennosti cvetovyx konceptosfer. Moskva: MAKS Press, 2019. 288 s.

Letokho E. V. Khudozhestvennyj mir maloj prozy K. G. Paustovskogo 1940–1960-x gg.: Avtoref. dis. ... kand. filol. nauk: 10.01.01. Moskva, 2010. 19 s.

Mantrova S. A. Chelovek i priroda v proze K. G. Paustovskogo 1910–1940-kh gg.: tipologiya geroya, specifika konflikta, problema tvorcheskoj evolyucii: Avtoref. dis. ... kand. filol. nauk: 10.01.01. Tambov, 2011. 24 s.

Machikhina E. P. Floristicheskie tekstovye edinicy: ix rol' v tvorcheskoj kartine mira B. L. Pasternaka // Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki. 2008. Vyp. 7 (63). S. 114–118.

Mikhajlova E. V. Lingvokul'turologicheskij analiz fitonimov v tekstakh anglo-, franko- i yaponoyazychnyx versij Biblii // Perevodcheskij diskurs: mezhdisciplinarnyj podkhod: Materialy III mezhdunar. nauch.-prakt. konf. / Gl. red. M. V. Norecz. Simferopol': IT «ARIAL», 2019. S. 243–248.

Paustovskij K. G. Sobranie sochinenij: V 9 t. Moskva: Khudozh. lit., 1981–1986.

Sadovnikova M. A. i dr. Vliyanie proizvedeniya K. G. Paustovskogo “Zayachji lapy” na formirovanie sistemy cennostej mladshego shkol'nika // Molodyozh i budushchee: professional'naya i lichnostnaya samorealizaciya: Materialy VII Vseros. stud. nauch.-prakt. konf. / Pod red. E. V. Proninoj. Vladimir: Kalejdoskop, 2018. S. 61–63.

Saprykina T. V. Esteticheskij ideal K. G. Paustovskogo: prekrasnoe v prirode // Uchyonye zapiski Zabajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta. 2011. № 2. S. 197–203.

Sivova T. V. Vzaimosvyaz' cvetov, sveta i khronotopa v yazyke proizvedenij K. G. Paustovskogo. Avtoref. dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.02. Minsk, 2018. 32 s.

Tarasenko D. Yu. i dr. Simvolicheskie funkcii naimenovanij cvetov v aspekte sopostavleniya poeticheskikh idiosilej // Nauchno-metodicheskij elektronnyj zhurnal “Koncept”. 2018. № 9 URL: <http://e-koncept.ru/2018/185027.htm>.

Frumkina R. M. Cvet, smysl, skhodstvo. Aspekty psicholingvisticheskogo analiza. Moskva: Nauka, 1984. 175 s.

Kharchenko V. K. Slovar' czveta: real'noe, potencial'noe, avtorskoe. Moskva: Lit. in-t im. A. M. Gor'kogo, 2009. 532 s.

Сведения об авторе: Татьяна Викторовна Сивова; кандидат филологических наук; доцент; Гродненский государственный университет имени Янки Купалы; доцент кафедры журналистики; ORCID 0000-0002-8800-9987; sitavi@tut.by; сфера научных интересов: лингвистика цвета, язык СМИ.

The author's profile: Tatyana Viktorovna Sivova; Candidate of Philology; Yanka Kupala State University of Grodno; Associate Professor at the Department of Journalism; ORCID 0000-0002-8800-9987; sitavi@tut.by; research interests: linguistics of color, media language.

КОГНИТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 81'22

DOI: 10.25688/2619-0656.2020.14.10

МНЕМИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ В КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

MEMORY NARRATIVE: A COGNITIVE-COMMUNICATIVE PERSPECTIVE

Ирина Владимировна Тивьяева

**Московский городской педагогический университет,
Москва, Россия**

Irina Vladimirovna Tivyayeva

**Moscow City University,
Moscow, Russia**

Аннотация

В статье предпринимается попытка уточнить статус и взаимосвязи различных нарративных структур, репрезентирующих опыт памяти. Вводится понятие мнемического нарратива как универсального вербализатора мнемического содержания, транслирующего как индивидуальный, так и коллективный опыт прошлого. Оптимальным для описания мнемического нарратива представляется когнитивно-коммуникативный подход, позволяющий учесть параметры нарратора, содержания нарратива, его коммуникативной направленности и аксиологического восприятия.

Ключевые слова: память, воспоминания, опыт прошлого, нарратив, нарратор, когнитивно-коммуникативный подход.

Abstract

Narrative as a form of organizing and structuring past experience is conventionally associated with memory. Researchers differentiate a number of memory-related narrative types, some being discrepant or ambiguous when placed in a broader context of alternative conceptions. One complicating factor contributing to the typological polyphony is the complex nature of the narrative phenomenon studied within the theoretical and methodological standards of different disciplines and thus entailing controversial interpretations.

This paper seeks to clarify some aspects of the memory-narrative relationship by examining memory narrative as a language structure in the cognitive-communicative perspective. The author aims to provide a conceptual framework for the research by setting out distinctive features of memory narrative and determining its status among other narrative formats rendering mnemonic content. The findings suggest that memory narrative is a universal narrative type objectifying both personal and collective past experience and displaying specific semantic and structural properties.

To support theoretical claims, relevant language data were collected and analyzed. Empirical analysis was based on four parameters that are of high significance to the cognitive-communicative paradigm: 1) the narrator parameter stating the role of the reminiscing subject in the narration, 2) the content parameter highlighting thematic dominants of the narration, 3) the communicative intention parameter indicating the narrator's communicative goals, and 4) the axiological perception parameter demonstrating how the narrator evaluates the experience being rendered.

The first parameter allowed differentiating between narrator-oriented and event-oriented narrative types, the former being registered for over two thirds of the collected language samples. In accordance with the content parameter, five communicative types of memory narrative were set out: 1) event narrative, 2) confession narrative, 3) analytical narrative, 4) didactic narrative, and 5) entertaining narrative. Empirical data suggest that the communicative types of memory narrative yielded by the research stand in correlation with its thematic dominants.

Further analysis revealed that the manifested mnemonic content allows critical evaluation on the part of the narrator who can assign it the following values: 1) positive memory experience, 2) negative memory experience, 3) neutral memory experience, and 4) ambivalent memory experience.

The study has shown that memory narrative functions as a specific narrative type objectifying past experience. It is characterized by thematic variation, communicative flexibility and axiological interpretability.

Key words: memory, recollections, past experience, narrative, narrator, cognitive-communicative approach.

Введение. На протяжении последних десятилетий нарративная парадигма стояла в авангарде современного гуманитарного знания и играла значимую роль в определении путей его дальнейшего развития. Тенденция к нарративизации как индивидуального жизненного опыта, так и социального опыта коллективов, прочно утвердившаяся в гуманитаристике рубежа веков, привела к закономерному результату: первоначальный статус нарратива как конвенционального формата фиксации и трансляции пережитого претерпел качественные изменения, и нарративная форма, бо-

лее не воспринимаемая как стереотипная повествовательная оболочка, стала полноценным объектом исследовательского внимания. При этом интерес к нарративу проявляют не только литературоведы и историки, среди первых обратившие внимание на данный формат передачи опыта, но и социологи, психологи, культурологи, философы и лингвисты. Отсюда множественность определений нарратива, многообразие интерпретаций его сущности и плюрализм подходов к его изучению.

В лингвистической традиции первые попытки исследования нарратива как универсального языкового конструкта, функционально подчиненного практическим задачам сторителлинга и «скриптизации бытия» [Тулчинский 2019], восходят к принципам системно-структурного подхода, в рамках которого прежде всего велась работа по выявлению и описанию структурных универсалий нарратива, моделей его сюжетно-композиционной организации (см., например, [Барт 1987; Пропп 1928; Греймас 2000; 2004]). С утверждением антропоцентризма и общей переориентацией науки о языке на человеческий фактор вектор нарратологических исследований сместился в сторону авторской позиции и ее манифестации в тексте. В этой связи на первый план выходит коммуникативная личность нарратора как носителя жизненного опыта, стратегии и тактики конструирования самоистории (см., например, [Тюпа 2001; Шмид 2003; Радбиль 2017]).

Жизненный опыт, объективируемый в режиме автонаррации, в современных научных концепциях неизменно представляется в сопряжении с памятью [Тивьяева 2013]. Среди сторонников нарративной модели памяти психологи, социологи и лингвисты, которые видят память не как архив или хранилище, но как нарративную структуру, позволяющую организовать опыт прошлого. Так, например, по мнению Р. Шэнка и Р. Абельсона, нарратив составляет основу памяти [Schank, Abelson 1977]. Похожих взглядов придерживаются Дж. Брюнер [Bruner 1991] и его последователи [Léon 2016; Scilaz 2015], рассматривающие нарратив как форму существования опыта и памяти.

При этом подразумевается, что нарратив выполняет формообразующую функцию в первую очередь по отношению к автобиографической памяти, под которой понимается «подсистема, оперирующая воспоминаниями о лично значимых событиях и состояниях» [Нуркова 2006: 214]. По словам А. Б. Богдановской, «человек не имеет иных способов описания пережитого кроме как в форме нарратива, включающего рассказ о значимых событиях автобиографии в знаковую систему восприятия себя и мира» [Богдановская 2012: 173]. С не менее смелым заявлением выступает и Дж. Брокмайер, по утверждению которого “there are autobiographical memories that only come into being because of narrative” — некоторые автобиографические воспоминания существуют только благодаря нарративу [Brockmeier 2016: 99] (перевод мой. — *И. Т.*).

В последние десятилетия автобиографический нарратив не покидает зону исследовательского интереса, становясь объектом психологических, социологических, культурных, философских и лингвистических изысканий (см., например, [Аверина 2019; Дубнякова, Кашина 2017; Журди 2010; Нерсесова 2018; Ньюбина 2011; Сапогова 2005; Тульчинский 2019]). Вместе с тем, очевидно, что нарратив личного опыта, эксплицирующий мнемическое содержание, не всегда автобиографичен, равно как и личные воспоминания не обязательно являются автобиографическими [Nelson, Fivush 2004: 488]. Исследователи отмечают, что автобиографическая память включает не просто личные воспоминания, но воспоминания о лично значимом опыте, несущем особую важность для субъекта, связанном с эмоциями, целями, мотивацией [Conway, Rubin 1993]. Соответственно автобиографический нарратив также будет характеризоваться, в первую очередь, усиленным присутствием субъективного компонента, отражающего аналитическую и интерпретирующую деятельность субъекта воспоминаний.

В настоящей работе автобиографический нарратив рассматривается как частный случай мнемического нарратива — повествования, сконструированного на основе личного или коллективного мнемического опыта [Тивьяева 2018: 177]. В отличие от автобиографического нарратива, в последние два десятилетия неизменно находившегося в фокусе внимания исследователей, мнемический нарратив рассматривался фрагментарно (например, в структурном аспекте в работе [Тивьяева 2020]) или в сопряжении с другими явлениями, релевантными для описания вербальной объективации опыта памяти (см., например, [Ощепкова, Тивьяева 2019]). Вышесказанное определяет актуальность дальнейшего исследования мнемического нарратива с позиций науки о языке, в связи с чем в данной работе ставится цель выявить и описать его специфику как формата языкования воспоминаний индивидуального или коллективного субъекта, в первую очередь в когнитивно-коммуникативном аспекте.

Рассмотрим следующий пример:

(1) On this night Dave walked in gravely and addressed us with uncharacteristic trepidation. “We have no idea what we’re doing,” I recall him saying. He apologized in advance for the show, needlessly. He thanked us for venturing in, as if there hadn’t been crushing demand for tickets. I had never imagined this legendary entertainer so uncertain in public, so reluctant to perform, so clearly nervous.

Dave retreated to his desk to await a planned “cold opening” — no music or announcement. The 400-seat theater was silent as night.

What followed was probably the most unabashedly wounded and emotionally true *seven minutes* in the history of variety television. Dave’s voice was shaky. “If we are going to do shows, I just need to hear myself talk for a couple of minutes ... forgive me if this is more for me than for people watching” [Hill].

Представленный отрывок — фрагмент статьи “Letterman After 9/11: Seeking Normal”, опубликованной на интернет-ресурсе HuffPost. Брэд Хилл, автор публикации, в своих воспоминаниях обращается к тяжелому периоду в новейшей истории США — трагическим событиям сентября 2001 года, которые потрясли не только американскую, но и мировую общественность. Однако журналист рассуждает не о глобально значимых последствиях случившегося, а о переменах в жизни рядовых граждан. Один из «обывательских» вопросов, волновавших автора в тот период, связан с юмористическими шоу и выступлениями комиков. Хилл задается вопросом, какой выход найдут сценаристы, когда стране совсем не до шуток. Таким образом, рассматриваемый нарратив репрезентирует личный опыт вспоминающего субъекта, поэтому является мнемическим, но при этом объективируемый опыт невозможно назвать автобиографическим, поскольку он не является определяющим на жизненном пути автора, не имеет отношения к его личным целям, успехам, достижениям или провалам. Этот и подобные нарративы, сконструированные на основании личного или коллективного опыта памяти, мы будем называть мнемическими.

Мнемический нарратив, имея ряд сходств с перволичным нарративом, нарративом личного опыта и автобиографическим нарративом, все же обладает собственной спецификой, которая позволяет позиционировать его как независимый тип перволичного нарратива. Специфика мнемического нарратива, обуславливающая наличие у него дифференциальных признаков, связана с типом репрезентируемого опыта. Если личностный нарратив — это повествование о жизненном опыте индивида в любых его проявлениях, то мнемический нарратив также являет собой повествование о специфической разновидности личного опыта — опыте мнемическом, т. е. опыте, прошедшем мнемическую обработку, опыте, некогда зафиксированном в памяти субъекта и подвергшемся различным трансформациям в результате работы отдельных процессов памяти [Тивуаева 2014: 297]. Кроме того, в основе мнемического нарратива может также лежать коллективный опыт (см. пример (2) ниже). Автобиографический нарратив, таким образом, видится как тип мнемического нарратива, представляющий прошлый опыт индивида в масштабе его жизненного пути, с особым акцентом на ключевых событиях, способствующих формированию личности и ее самовосприятия.

Поскольку на настоящий момент мнемический нарратив, являясь достаточно распространенной формой вербальной репрезентации мнемических переживаний, как лингвокогнитивный феномен не получил исчерпывающего описания, представляется целесообразным изучить особенности его языковой организации в их связи с когнитивно-коммуникативными условиями его продуцирования.

Материалом исследования послужил авторский корпус англоязычных мнемических нарративов или нарративных фрагментов, отобранных методом сплошной выборки из печатных и онлайн-источников, репрезентирующих различные типы дискурса, а именно: художественный, документальный, политический, массмедийный и дискурс социальных сетей. Общий объем корпуса составил 1000 единиц. Основанием для включения текстового фрагмента в эмпирическую базу являлась его принадлежность к классу мнемических нарративов, которая определялась в соответствии со следующими принципами: 1) удовлетворение базовым критериям нарративности [Labov, Waletzky 1966] в части наличия сюжета, динамики развития событий в результате действий одного из участников, и пространственно-временной локализации событий; 2) повествование от первого лица; 3) мнемическая семантика, связанная с оязыковлением личного или коллективного опыта памяти.

Методология. Для целей данной работы методологически релевантной является концепция коммуникативной личности С. Н. Плотниковой, в соответствии с которой выбор модели коммуникативного поведения индивида определяется поведением других членов коммуникативного сообщества, являющегося когнитивным по природе [Плотникова 2017, 2019]. Применительно к объекту настоящего исследования значимость указанной концепции заключается, во-первых, в ее объяснительной силе в отношении разрабатываемой автором когнитивно-коммуникативной концепции мнемической деятельности, в соответствии с которой выбор субъектом формата вербализации мнемических переживаний основывается на объективных закономерностях и детерминируется комплексом когнитивных и коммуникативных параметров; во-вторых, в обосновании необходимости изучения коммуникативной организации мнемического нарратива для дальнейшего понимания механизма взаимодействия коммуникантов в различных мнемических ситуациях.

Также методологически значимым является принцип доминантности, изначально сформулированный для объяснения особенностей функционирования отдельных физиологических процессов, но впоследствии успешно экстраполированный на другие области знания, в том числе науку о языке. В контексте настоящей работы важность принципа доминантности заключается в его непосредственной связи с организацией нарративного пространства. В соответствии с концепцией, предложенной А. И. Новиковым, «доминанта, возникшая в сознании, стягивает вокруг себя определенное содержание, переструктурирует его и тем самым организует определенным образом семантическое пространство» [Новиков 1999: 45]. В настоящей работе мы исходим из того, что доминанта личного или коллективного опыта, запечатленного в памяти, детерминирует тематическое содержание мнемического нарратива и глубину описания

отдельных эпизодов, определяет конфигурацию и последовательность сюжетных элементов, задает общую тональность.

Когнитивно-коммуникативная организация мнемического нарратива

При описании коммуникативно-информационной структуры мнемического нарратива в настоящей работе мы будем придерживаться коммуникативной традиции изучения нарративных текстов, которая предполагает рассмотрение в качестве ключевых двух параметров: параметра нарратора и параметра содержания. Положение о первостепенном статусе рассказчика и собственной истории в нарративных исследованиях стало своего рода догмой, и даже в попытках расширить исследовательские горизонты нарратологи по-прежнему ставят во главу угла диаду «нарратор — повествование».

Фигура нарратора является основополагающей и при изучении коммуникативно-информационных свойств мнемического нарратива. Именно фактор нарратора как субъекта мнемического процесса является определяющим для коммуникативно-информационной организации мнемического нарратива. Отбор содержания, динамика и ориентация повествования детерминируются позицией носителя мнемического опыта.

Автор мнемического нарратива как носитель опыта памяти создает повествование о динамической ситуации из прошлого, по отношению к которой он может занимать позицию участника или наблюдателя. Выбор концепции изложения имеет существенное значение, так как позиция субъекта изначально коррелирует с тематическими доминантами мнемического нарратива и манерой повествования. Например, в мнемическом нарративе (1), фрагмент из которого приведен выше, субъект воспоминания занимает позицию участника описываемых событий, достаточно детально описывая свои действия и мысли до начала записи шоу и во время съемок. Нарратора, придерживающегося подобной повествовательной линии и выступающего в качестве субъекта и объекта мнемического нарратива одновременно, мы будем называть нарратором-участником.

Пример (2) ниже иллюстрирует иную позицию нарратора в отношении способа изложения мнемического опыта. Данная нарративная текстоструктура представляет собой фрагмент речи Барака Обамы в дни памяти о Холокосте 23 апреля 2009 года. Тематическая направленность и формат мероприятия заранее вызывают определенные ожидания у слушателей относительно основной темы и фокуса наррации. Очевидно, что главное в выступлении Обамы не личные переживания и свидетельства, а картины жизни и борьбы еврейского населения в годы Второй мировой войны. Таким образом, в нижеприведенном отрывке нарратор, представляющий коллективного субъекта памяти, выступает в роли наблюдателя, с точностью фиксирующего описываемые события несмотря на временную дистанцию. При этом роль наблюдателя, как отмечает О. А. Сулейманова,

не исключает принадлежности повествователя фабульному пространству: «Наблюдатель — не постороннее лицо, он участник ситуации, хотя и в особом смысле — он регистрирует событие P, и без его регистрации оно не имеет смысла» [Сулейманова 2015: 71].

(2) In the moral accounting of the Holocaust, as we reckon with numbers like 6 million, as we recall the horror of numbers etched into arms, we also factor in numbers like these: 7,200 — the number of Danish Jews ferried to safety, many of whom later returned home to find the neighbors who rescued them had also faithfully tended their homes and businesses and belongings while they were gone.

We remember the number five — the five righteous men and women who join us today from Poland. We are awed by your acts of courage and conscience. And your presence today compels each of us to ask ourselves whether we would have done what you did. We can only hope that the answer is yes.

We also remember the number 5,000 — the number of Jews rescued by the villagers of Le Chambon, France — one life saved for each of its 5,000 residents. Not a single Jew who came there was turned away, or turned in. But it was not until decades later that the villagers spoke of what they had done — and even then, only reluctantly. The author of a book on the rescue found that those he interviewed were baffled by his interest. “How could you call us ‘good?’” they said. “We were doing what had to be done.”

That is the question of the righteous — those who would do extraordinary good at extraordinary risk not for affirmation or acclaim or to advance their own interests, but because it is what must be done. They remind us that no one is born a savior or a murderer — these are choices we each have the power to make. They teach us that no one can make us into bystanders without our consent, and that we are never truly alone — that if we have the courage to heed that “still, small voice” within us, we can form a minyan for righteousness that can span a village, even a nation [Obama].

Несмотря на то что в отношении режима наррации рассматриваемые примеры противопоставлены друг другу, тематически фрагменты достаточно близки друг другу, поскольку оба представляют отклик носителя мнемического опыта на значимое социально-политическое событие: в первом случае это крупная террористическая атака на США, во втором — Вторая мировая война. Следует отметить, что изображение некоторых событий, важных в социальном, экономическом или политическом плане, типично скорее для мнемического нарратива с нарратором-наблюдателем, поскольку нарратор-участник, как правило, предпочитает лично значимые темы. Тем не менее в отдельных мнемических нарративах, инициированных нарратором-участником, также объективируются воспоминания о событиях, выходящих за рамки личного.

Контент-анализ фактического материала, представленного в авторском корпусе, позволил выделить следующие *тематические доминанты* для субъектно-ориентированного мнемического нарратива:

- 1) семья;
- 2) чувства (любовь, ненависть, страх, сострадание);
- 3) дружеские и романтические отношения;
- 4) учеба и работа;
- 5) путешествия;
- 6) жизненный или исторический период (детство, молодость, война, болезнь);
- 7) выдающееся событие (свадьба, рождение, долгожданная встреча);
- 8) трагедия или негативный опыт (смерть, террористический акт, травма).

В мнемических нарративах с нарратором-наблюдателем были зарегистрированы следующие тематические доминанты:

- 1) личная жизнь другого лица;
- 2) жизненный или исторический период (детство, молодость, война, болезнь);
- 3) выдающееся событие (свадьба, рождение, долгожданная встреча);
- 4) трагедия или негативный опыт (смерть, террористический акт, травма).

На основании полученных результатов возможно заключить, что ряд тем, связанных преимущественно с обществом и общественными событиями, являются универсальными как для нарратора-участника, так и для нарратора-наблюдателя, в то время как тематические доминанты, затрагивающие личную сферу, являются специфическими для мнемических нарративов, в которых вспоминающий субъект занимает позицию активного участника описываемых событий.

Отметим также, что в отдельных случаях позицию нарратора возможно квалифицировать как гибкую, т. е. сочетающую в себе черты как активного нарратора-участника, так и несколько отстраненного нарратора-наблюдателя. Чаще всего вариативность режима наррации наблюдается в больших нарративах, значительных по объему и охвату материала, извлекаемого из памяти субъекта. В таких случаях при квантитативном анализе языковых данных в качестве основной позиции нарратора принималась ведущая, наиболее четко прослеживающаяся на протяжении повествования. Количественное распределение мнемических нарративов, зарегистрированных в авторском корпусе, в соответствии с типом нарратора демонстрирует численное преобладание нарративных текстоструктур с нарратором-участником (более двух третьих в общей выборке), при этом самой частотной тематической доминантой является описание жизненного или исторического периода.

Вместе с тем мнемический нарратив не может рассматриваться исключительно как рассказ ради рассказа. Облекая предшествующий опыт в повествовательную форму, нарратор также решает иные коммуникатив-

ные задачи, помимо собственно информирования о событиях прошлого. Опираясь на обследованный нами материал, мы можем предложить следующую типологию мнемических нарративов с учетом коммуникативной установки нарратора:

- 1) *событийно-информативный нарратив*, направленный на изложение событий, фактов, обстоятельств, которые необходимо довести до сведения адресата;
- 2) *исповедальный нарратив*, нацеленный на решение коммуникативной задачи покаяния, избавления от мук совести посредством строгой оценки прошлого опыта;
- 3) *аналитический нарратив*, фокусирующийся не на внешних событиях жизни, а на рассуждениях вспоминающего субъекта, пытающегося осмыслить, объяснить и оценить опыт прошлого;
- 4) *дидактический нарратив*, в центре которого поучительный эпизод из опыта нарратора и содержащий наставление;
- 5) *развлекательный нарратив*, включающий описание занимательного эпизода из прошлого с целью развлечь или развеселить адресата.

Например, мнемические нарративы (1) и (2), рассмотренные выше, принадлежат к событийно-информативному и дидактическому типу соответственно. В первом примере автор нарративизирует события сентября 2001 года, имевшие место после крупной террористической атаки на США, тогда как во втором отрывке оратор, обращаясь к опыту прошлого, призывает руководствоваться им при принятии решений в настоящем.

В следующем нарративном фрагменте реализуется коммуникативное намерение нарратора на создание комической ситуации:

(3) It's also great to be back in Louisville, a city that I have always enjoyed visiting. Before I became secretary of state, I was chairman of America's Promise, the Alliance for Youth, an organization that has as its mission to build the character and confidence of America's young people, and I came to Louisville four years ago in that capacity to congratulate Mayor Abrahamson and the city for the great work that Louisville had been doing for its young people. It was one of our very, very best communities of promise.

I especially remember at that time Jerry gave me one of those huge over-sized Louisville Slugger baseball bats and I was deeply appreciative of that. I still keep it in my office, and believe me it comes in handy late at night...when I've had enough diplomacy for one day and I want to hit somebody. So I thank you, Jerry, and it's good to see you here in the audience. [Powell]

Обращаясь к жителям Луисвилла в ноябре 2001 г., Колин Пауэлл, на тот момент занимавший должность Государственного секретаря США, вспоминает, как один из присутствующих когда-то подарил ему бейсбольную биты, которой он до сих пор пользуется в конце рабочего дня, когда устает

от дипломатии. Таким образом, рассматриваемый мнемический нарратив как фрагмент политической речи несет в себе комическое начало и служит цели заручиться поддержкой аудитории, разрядив официальную обстановку и установив более тесный контакт со слушателями.

Результаты анализа корпуса языковых данных позволяют говорить о корреляции между коммуникативной направленностью мнемического нарратива и его тематической доминантой. Так, например, нарративы, описывающие чувства, дружеские и романтические отношения, чаще всего относятся к аналитическому или исповедальному типу, тогда как нарративы о жизненном или историческом периоде — к событийно-информационному. Развлекательный нарратив в большинстве случаев тематически связан с путешествиями, семьей, учебой или работой, и никогда — с трагическими событиями. Наличие подобных корреляционных связей, как представляется, возможно рассматривать как одно из проявлений когнитивно-коммуникативной детерминированности лингвомнемической деятельности.

Изучение когнитивно-коммуникативной организации мнемического нарратива позволяет также описать не только коммуникативную установку нарратора и сообразное ей мнемическое содержание, но и авторскую — апостериорную [Лингвистика и аксиология 2011: 36] — оценку опыта памяти. Конструируя повествование на основе своего индивидуального мнемического опыта, нарратор не только делится с адресатом собственной версией и интерпретацией прошлых событий в форме и объеме, соответствующих коммуникативной ситуации, но и неизбежно выражает личное отношение к описываемым обстоятельствам. Оценивая прошлый опыт, он может видеть его как в позитивном, так и в негативном свете. Обследованный материал дает основания заключить, что оценка опыта памяти нарратором также коррелирует с тематической доминантой мнемического нарратива. Так, например, трагедия всегда однозначно воспринимается отрицательно, тогда как семья, чувства и выдающиеся события чаще всего получают положительную оценку. Личная жизнь другого лица, жизненные или исторические периоды, описываемые в рамках мнемического нарратива, могут провоцировать у нарратора противоречивые чувства или, напротив, не вызвать бурной эмоциональной реакции.

В целом, на основании субъективного восприятия нарратором опыта памяти, вокруг которого конструируется мнемический нарратив, возможно выделить следующие *аксиологические типы* последнего:

- мнемический нарратив, объективирующий позитивный опыт;
- мнемический нарратив, объективирующий негативный опыт;
- мнемический нарратив, объективирующий нейтральный опыт;
- мнемический нарратив, объективирующий амбивалентный опыт.

Так, например, приведенный ниже фрагмент (4) иллюстрирует позитивное восприятие нарратором опыта памяти:

(4) One of my proudest moments as a soldier and as an American came in 1991 when American troops lead the international coalition of forces that liberated Kuwait from Saddam Hussein's invaders.

Later that year, though, I watched with equal pride as Arabs and Israelis gathered together in the aftermath of the Gulf War; they gathered together in Madrid to take advantage of the opportunity created by the successful war. They took the opportunity to launch a historic process of negotiations aimed at ending their conflicts once and for all. They, too, were supported by an American-led coalition; one focused this time on peace rather than on war [Powell].

Общаясь с гражданами, Государственный секретарь США Колин Пауэлл делится воспоминаниями о значимых моментах в новейшей истории своей страны. Нарратора переполняют чувства гордости и патриотизма, которые передаются в тексте речи посредством лексики мелиоративной оценки ("proudest moments", "historic process", "successful war") и эффекта контраста ("liberated vs. Invaders", "on peace rather than on war").

Следует отметить, что мнемические нарративы, репрезентирующие позитивное восприятие нарратором опыта памяти, составляют самую многочисленную группу в корпусе проанализированных примеров (общая доля в составе выборки около 13%). Самыми частотными являются нарративы, объективирующие амбивалентный и нейтральный мнемический опыт (41% и 25% соответственно).

Выводы. Подводя итог сказанному, подчеркнем, что среди различных типов нарративных текстоструктур, репрезентирующих опыт нарратора (автобиографический нарратив, нарратив личного опыта и пр.), мнемический нарратив выделяется как отдельный тип, обладающий собственной контенсивной спецификой, которая проявляется в следующих характеристиках: 1) содержание мнемического нарратива может составлять как личный, так и коллективный опыт; в последнем случае, реконструируя события прошлого, нарратор отождествляет себя с коллективным субъектом; 2) личный опыт, манифестируемый в рамках мнемического нарратива, не тождествен автобиографическому, последний составляет лишь один из его компонентов; таким образом, автобиографический нарратив, часто рассматриваемый как универсальный вербализатор индивидуальной памяти, следует рассматривать как вид мнемического нарратива.

Поскольку мнемический нарратив выделяется среди других типов нарративного описания на основании контенсивной специфики, целесообразно при изучении его когнитивно-коммуникативной организации в первую очередь принимать во внимание соответствующие релевантные параметры, к которым мы относим следующие: 1) параметр роли субъекта,

обозначающий позицию, которую занимает нарратор по отношению к восстанавливаемым из памяти событиям; 2) параметр содержания, определяющий тематические доминанты повествования; 3) параметр коммуникативной установки, описывающий коммуникативные задачи нарратора; 4) параметр аксиологического восприятия, отражающий субъективную оценку нарратором реконструируемого опыта.

В соответствии с первым параметром были выделены два типа мнемического нарратора: нарратор-участник и нарратор-наблюдатель. В количественном отношении первый тип является более распространенным (на долю субъектно-ориентированных нарративов приходится более двух третьих примеров из авторского корпуса), что в целом согласуется с содержательным аспектом мнемического нарратива, выступающего, в первую очередь, как вербализатор личного и коллективного опыта.

На основании параметра содержания возможно дифференцировать восемь тематических доминант мнемического нарратива, из которых четыре проявляют признаки универсальности, то есть были зарегистрированы в нарративных текстоструктурах и с нарратором-участником, и с нарратором-наблюдателем. По данным квантитативного анализа самой частотной является доминанта жизненного или исторического периода.

В основу коммуникативной типологии мнемического нарратива был положен параметр коммуникативной установки нарратора, что позволило выделить следующие коммуникативные типы: 1) событийно-информативный нарратив, 2) исповедальный нарратив, 3) аналитический нарратив, 4) дидактический нарратив и 5) развлекательный нарратив. При этом возможно утверждать о наличии корреляционных связей между коммуникативной направленностью мнемического нарратива и его тематическими доминантами.

Нарратив в каноническом понимании [Labov, Waletzky 1966] обязательно предполагает субъективную оценку изложенного опыта, что отличает его от других повествовательных форматов. В соответствии с аксиологическим восприятием реконструируемого опыта нарратором были выявлены четыре типа мнемического нарратива: 1) репрезентирующий позитивный опыт, 2) репрезентирующий негативный опыт, 3) репрезентирующий нейтральный опыт и 4) репрезентирующий амбивалентный опыт.

Таким образом, с точки зрения лингвистического анализа мнемический нарратив представляет интерес в аспекте оязыковления мнемической деятельности индивидуального и коллективного субъекта. Анализ отношений мнемического нарратива с другими нарративными текстоструктурами, в том числе с *автобиографическим нарративом, перволичным нарративом, автонаррацией, нарративом личного опыта* и пр., позволяет рассматривать его как особый тип перволичного нарратива, семантически охватывающий более широкую зону, чем нарратив автобиографический.

Мнемический нарратив отличается тематическим разнообразием, допускает коммуникативно-функциональное варьирование и аксиологическую интерпретацию опыта памяти. Перспективы исследования мнемического нарратива могут быть связаны с когнитивно-семантическим анализом его темпоральной структуры и лексико-грамматических средств создания нарративного режима отсроченного воспоминания, с изучением нарративных стратегий реминисцирующего субъекта и особенностей его рефлексии и эмоционального состояния в момент непосредственного проживания событий и в процессе их вербальной реконструкции, отложенной во времени, а также с рассмотрением коммуникативно-прагматического потенциала нарративных текстоструктур, репрезентирующих мнемический опыт субъекта, в различных типах дискурса.

Литература

Аверина М. А. Автобиографическая проза К. В. Назарьевой: между реальностью и мифом // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование. 2019. № 3 (35). С. 107–112.

Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв.: трактаты, статьи, эссе. Москва: Изд-во МГУ, 1987. С. 387–422.

Богдановская А. Б. Психосемантическое исследование личностно-смысловой организации автобиографического нарратива // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2012. № 153–1. С. 171–178.

Греймас А. Размышления об актантных моделях // Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму. Москва: ИГ Прогресс, 2000. С. 153–170.

Греймас А.-Ж. Структурная семантика: поиск метода. Москва: Академический проект, 2004. 368 с.

Дубнякова О. А., Кашина Т. А. Коммуникативно-прагматические особенности личного дневника // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование. 2017. № 1 (25). С. 42–49.

Журди Н. В. Автобиографические тексты как предмет грамматики нарратива (на материале сравнительного анализа художественных произведений XX в.). Дис. ... канд. филол. наук, 10.02.20. Москва: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2010. 176 с.

Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. Москва: УРСС Эдиториал, 2004. 256 с.

Лингвистика и аксиология. Этносемиотрия ценностных смыслов / Серебренникова Е. Ф., Антипов Н. П., Ладыгин Ю. А., Малинович Ю. М., Плотникова С. Н., Тарева Е. Г. и др. Коллективная монография. Москва: Тезаурус, 2011. 352 с.

Нерсесова Э. В. Концепция образа повествователя в ранних произведениях Генри Джеймса // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование. 2018. № 3(31). С. 8–13.

Новиков А. И. Текст, смысл и проблемная ситуация // Вопросы филологии. 1999. № 3. С. 43–48.

Нюбина Л. М. Фрагментарность автобиографического нарратива в дискурсе вспоминающей личности // Известия Смоленского государственного университета. 2011. № 4. С. 181–193.

Ощепкова В. В., Тивьяева И. В. Память и темпоральность высказывания // Психолінгвістика: Науково-теоретичний збірник. 2019. № 26–2. С. 296–320.

Переходцева О. В. Память и нарратив в современной английской литературе: М. Эмис и Дж. Барнс: Дис. ... канд. филол. наук, 10.01.03. Саратов, 2013. 217 с.

Плотникова С. Н. Коллективная когниция и ее роль в конструировании социального мира // Когнитивные исследования языка. 2017. Вып. XXX. С. 696–699.

Плотникова С. Н. Роль интерпретирующего дискурса в организации коммуникативного сообщества // Русистика и компаративистика. Москва: Книгодел, 2019. С. 304–315.

Пропп В. Морфология сказки. Ленинград: Academia, 1928 URL: <http://feb-web.ru/feb/skazki/critics/pms/PMS-001-.htm>.

Радбиль Т. Б. Коммуникативно-когнитивная теория нарратива в современной лингвоэпистике // Магия ИННО: новые измерения в лингвистике и лингводидактике. Москва: Московский государственный институт международных отношений, 2017. С. 126–131.

Сапогова Е. Е. Автобиографический нарратив в контексте культурно-исторической психологии // Культурно-историческая психология. 2005. № 2. С. 63–74.

Сулейманова О. А. Семантическая роль имплицитного наблюдателя в модели предложения // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование. 2015. № 3 (19). С. 69–75.

Тивьяева И. В. Категория памяти как объект исследования в лингвистике // Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактические аспекты профессиональной подготовки переводчиков. Материалы II научно-практической интернет-конференции с международным участием. Тула: Тульский государственный университет, 2013. С. 125–134.

Тивьяева И. В. Структурная организация мнемического нарратива // Сибирский филологический журнал. 2020. № 1. С. 303–315.

Тивьяева И. В. Фиксация и трансляция индивидуальной памяти средствами естественного языка. Москва: Флинта: Наука, 2018. 224 с.

Тульчинский Г. Л. Скриптизация персонологического бытия // Человек. ru. 2019. № 14. С. 75–87.

Тюпа В. И. Нарратология как аналитика повествовательного дискурса. Тверь: Тверской государственный университет, 2001. 58 с.

Шмид В. Нарратология. Москва: Языки славянской культуры, 2003. 312 с.

Brockmeier, Jens. Beyond the Archive: Memory, Narrative, and the Autobiographical Process. Oxford: Oxford University Press, 2015. 401 p.

Bruner J. The narrative construction of reality. *Critical Inquiry*, 1991. Vol. 18(1). P. 1–21 URL: <http://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/448619>.

Conway, M. A., Rubin D. C. The structure of autobiographical memory. In A. F. Collins, S. E. Gathercole, M. A. Conway, P. E. Morris (Eds.). *Theories of memory*. Hillsdale, New Jersey: Erlbaum, 1993. P. 103–139.

Hill B. Letterman. After 9/11: Seeking Normal // Huffpost URL: https://www.huffpost.com/entry/letterman-after-911-seeking-normal_n_954322.

Labov W., Waletzky J. Narrative analysis: Oral versions of personal experience // Helm J. (Ed.) *Essays on the Verbal and Visual Arts. Proceeding of the 1966 Annual Spring Meeting of the American Ethnological Society*. Seattle, London: University of Washington Press, 1966. P. 12–44.

Léon Carlos. An architecture of narrative memory. *Biologically Inspired Cognitive Architectures*, 2016. Vol.16. P. 19–33.

Nelson K., Fivush R. The Emergence of Autobiographical Memory: A Social Cultural Development Theory. *Psychological Review*, 2004. Vol. 111. № 2. P. 486–511.

Obama B. Holocaust Days of Remembrance Commemoration Address // American Rhetoric URL: <https://www.americanrhetoric.com/speeches/barackobama/barackobamaholocaustdaysofremembrance.htm>.

Powell C. McConnell Center Address on U. S. Role in Arab-Israeli Conflict // American Rhetoric URL: <https://americanrhetoric.com/speeches/cpowell11-19-01.htm>.

Schank R. C., Abelson R. P. Knowledge and Memory: The Real Story // Robert S. Wyer, Jr (ed.) *Knowledge and Memory: The Real Story*. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1995. P. 1–85.

Scilaz N. Towards narrative-based knowledge representation in cognitive systems. In *Proceeding of the 6th workshop on computational models of narrative (CMN¹⁵)*, 2015. P. 133–141.

Тивьяева И. Representation of retrospective memory and communicative context. *Jezikoslovlje*. 2014. Vol. 15 (2–3). S. 283–306.

References

Averina M. A. Avtobiograficheskaya proza K. V. Nazar'evoy: mezhdru real'nost'yu i mifom // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Filologiya. Teoriya yazyka. Yazykovoe obrazovanie. 2019. № 3 (35). S. 107–112.

Bart R. Vvedenie v strukturnyj analiz povestvovatel'nyx tekstov // Zarubezhnaya estetika i teoriya literatury XIX–XX vv.: traktaty, stat'i, esse. Moskva: Izd-vo MGU, 1987. S. 387–422.

Bogdanovskaya A. B. Psichosemanticheskoe issledovanie lichnostno-smyslovoj organizacii avtobiograficheskogo narrativa // Izvestiya Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gercena. 2012. № 153–1. S. 171–178.

Grejmas A. Razmyshleniya ob aktantnyx modelyax // Francuzskaya semiotika: ot strukturalizma k poststrukturalizmu. Moskva: IG Progress, 2000. S. 153–170.

Grejmas A.-Zh. Strukturnaya semantika: poisk metoda. Moskva: Akademicheskij proekt, 2004. 368 s.

Dubnyakova O. A., Kashina T. A. Kommunikativno-pragmaticheskie osobennosti lichnogo dnevnika // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Filologiya. Teoriya yazyka. Yazykovoe obrazovanie. 2017. № 1 (25). S. 42–49.

Zhurdi N. V. Avtobiograficheskie teksty kak predmet grammatiki narrativa (na materiale sravnitel'nogo analiza khudozhestvennykh proizvedenij XX v.). Dis. ... kand. filol. nauk, 10.02.20. Moskva: MGU im. M. V. Lomonosova, 2010. 176 s.

Lakoff Dzh., Dzhonson M. Metaforы, kotorymi my zhivem. Moskva: URSS Editorial, 2004. 256 s.

Lingvistika i aksiologiya. Etnosemiometriya cennostnykh smyslov / Serebrennikova E. F., Antip'ev N. P., Ladygin Yu. A., Malinovich Yu. M., Plotnikova S. N., Tareva E. G. i dr. Kollektivnaya monografiya. Moskva: Tezaurus, 2011. 352 s.

Nersesova E. V. Koncepciya obraza povestvovatelya v rannikh proizvedeniyakh Genri Dzhejmsa // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Filologiya. Teoriya yazyka. Yazykovoe obrazovanie. 2018. № 3(31). S. 8–13.

Novikov A. I. Tekst, smysl i problemnaya situaciya // Voprosy filologii. 1999. № 3. S. 43–48.

Nyubina L. M. Fragmentarnost' avtobiograficheskogo narrativa v diskurse vspominayushhej lichnosti // Izvestiya Smolenskogo gosudarstvennogo universiteta. 2011. № 4. S. 181–193.

Oshchepkova V. V., Tivyayeva I. V. Pamyat' i temporal'nost' vyskazyvaniya // Psycholinguistics. 2019. № 26–2. S. 296–320.

Perekhodceva O. V. Pamyat' i narrativ v sovremennoj anglijskoj literature: M. Emis i Dzh. Barns: Dis. ... kand. filol. nauk, 10.01.03. Saratov, 2013. 217 s.

Plotnikova S. N. Kollektivnaya kogniciya i ee rol' v konstruirovanii social'nogo mira // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2017. Vyp. XXX. S. 696–699.

Plotnikova S. N. Rol' interpretiruyushhego diskursa v organizacii kommunikativnogo soobshhestva // Rusistika i komparativistika. Vyp. XIII. Moskva: Knigodel, 2019. S. 304–315.

Propp V. Morfologiya skazki. Leningrad: Academia, 1928 URL: <http://feb-web.ru/feb/skazki/critics/pms/PMS-001-.htm>.

Radbil' T. B. Kommunikativno-kognitivnaya teoriya narrativa v sovremennoj lingvopoetike // Magiya INNO: novye izmereniya v lingvistike i lingvodidaktike. Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj institut mezhdunarodnykh otnoshenij, 2017. S. 126–131.

Sapogova E. E. Avtobiograficheskij narrativ v kontekste kul'turno-istoricheskoi psikhologii // Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya. 2005. № 2. S. 63–74.

Suleymanova O. A. Semanticheskaya rol' implicitnogo nablyudatelya v modeli predlozheniya // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Filologiya. Teoriya yazyka. Yazykovoe obrazovanie. 2015. № 3(19). S. 69–75.

Tivyaeva I. V. Kategoriya pamyati kak objekt issledovaniya v lingvistike // Aktual'nyye problemy lingvistiki i lingvodidakticheskiye aspekty professional'noj podgotovki perevodchikov. Materialy II nauchno-prakticheskoi internet-konferencii s mezhdunarodnym uchastiem. 2013. S. 125–134.

Tivyaeva I. V. Fiksaciya i translyaciya individual'noj pamyati sredstvami estestvennogo yazyka. Moskva: Flinta: Nauka, 2018. 224 s.

Tivyaeva I. V. Strukturnaya organizaciya mnemicheskogo narrativa // Sibirskii filologicheskii zhurnal. 2020. № 1. S. 303–315.

Tul'chinskij G. L. Skriptizaciya personologicheskogo bytiya // Chelovek.ru. 2019. № 14. S. 75–87.

Tyupa V. I. Narratologiya kak analitika povestvovatel'nogo diskursa. Tver': Tverskoj gosudarstvennyj universitet, 2001. 58 s.

Shmid V. Narratologiya. Moskva: Yazyki slavyanskoj kul'tury, 2003. 312 s.

Brockmeier Jens. Beyond the Archive: Memory, Narrative, and the Autobiographical Process. Oxford: Oxford University Press, 2015. 401 s.

Bruner J. The narrative construction of reality // Critical Inquiry. 1991. Vol. 18 (1). P. 1–21 URL: <http://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/448619>.

Conway M. A., Rubin D. C. The structure of autobiographical memory. In A. F. Collins, S. E. Gathercole, M. A. Conway, P. E. Morris (Eds.). Theories of memory. Hillsdale, New Jersey: Erlbaum, 1993. P. 103–139.

Hill B. Letterman After 9/11: Seeking Normal // Huffpost URL: https://www.huffpost.com/entry/letterman-after-911-seeking-normal_n_954322.

Labov W., Waletzky J. Narrative analysis: Oral versions of personal experience // Helm J. (Ed.) Essays on the Verbal and Visual Arts. Proceeding of the 1966 Annual Spring Meeting of the American Ethnological Society. Seattle, London: University of Washington Press, 1966. P. 12–44.

Léon Carlos. An architecture of narrative memory. Biologically Inspired Cognitive Architectures, 2016. Vol. 16. P. 19–33.

Nelson K., Fivush R. The Emergence of Autobiographical Memory: A Social Cultural Development Theory. Psychological Review, 2004. Vol. 111. № 2. P. 486–511.

Obama B. Holocaust Days of Remembrance Commemoration Address // American Rhetoric URL: <https://www.americanrhetoric.com/speeches/barackobama/barackobamaholocaustdaysofremembrance.htm>.

Powell C. McConnell Center Address on U. S. Role in Arab-Israeli Conflict // American Rhetoric URL: <https://americanrhetoric.com/speeches/powell11-19-01.htm>.

Schank R. C., Abelson R. P. Knowledge and Memory: The Real Story // Robert S. Wyer, Jr (ed.). Knowledge and Memory: The Real Story. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1995. P. 1–85.

Scilaz N. Towards narrative-based knowledge representation in cognitive systems. In Proceeding of the 6th workshop on computational models of narrative (CMN'15), 2015. P. 133–141.

Tivyaeva I. Representation of retrospective memory and communicative context. Jezikoslovlje. 2014. Vol. 15 (2–3). P. 283–306.

Сведения об авторе: Ирина Владимировна Тивьяева; доктор филологических наук; доцент; Московский городской педагогический университет; профессор кафедры языкознания и переводоведения Института иностранных языков; ORCID 0000-0002-6316-784X; tivyaeva@yandex.ru; сфера научных интересов: лингвомнемология, нарратология, когнитивная лингвистика, психолингвистика.

The author's profile: Irina Vladimirovna Tivyaeva; Doctor of Philology; Associate Professor; Moscow City University; Professor of the Department of Linguistics and Translation Studies at the Institute of Foreign Languages; ORCID 0000-0002-6316-784X; tivyaeva@yandex.ru; research interests: linguistic memory studies, narratology, cognitive linguistics, psycholinguistics.

УДК 81'37

DOI: 10.25688/2619-0656.2020.14.11

КОГНИТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ГЛАГОЛЬНОЙ МЕТОНИМИИ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ РЕЧЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

COGNITIVE BASES OF VERBAL METONYMY IN THE REPRESENTATION OF SPEECH ACTS

Евгений Владимирович Чаплин

Ольга Аркадьевна Сулейманова

Московский городской педагогический университет,

Москва, Россия

Evgeniy Vladimirovich Chaplin

Olga Arcadieva Suleimanova

Moscow City University,

Moscow, Russia

Аннотация

В статье представлен обзор существующих подходов к пониманию глагольной метонимии в рамках когнитивной лингвистики. Особое внимание уделяется рассмотрению метонимии как когнитивно-семантической структуры, механизма языка и мышления, позволяющего описывать фрагменты действительности, связанные со сферой речевых действий. Авторы анализируют исследования ведущих ученых и функционирование метонимичных глаголов, репрезентирующих акт говорения в естественном языке. Полученные сведения применяются для описания семантики метонимичных глаголов говорения и создания классификации моделей метонимических переносов, которые характеризуют различные особенности речемыслительной деятельности.

Ключевые слова: триангуляционный подход, экспериментальная лингвистика, семантический эксперимент, глагольная метонимия, глаголы говорения, метонимический перенос.

Abstract

Verbs of speaking represent a complex linguistic entity, characterizing external substantial aspects of the utterance, communicative side of speech, interaction between the speaker and the listener, emotional state and attitude of the speaker,

etc. The core of this class of predicates are the verbs *to speak/to say*, which are the prototypical speech activity verbs and the general designation of a speech act.

Besides, there are a number of metonymic verbs of speaking that contain “additional” information in their meaning and represent various characteristics of a speech act accompanying the speech act, the additional accompanying feature representing the whole speech act. These are the following verbs *mumble, gnaw, mutter, babble, spatter, bark, lisp*, etc.

The paper provides an overview of approaches to verb metonymy in cognitive linguistics. The authors analyze the current state of affairs in linguistic interpretation of metonymic verbs of speaking in a natural language. What makes the research relevant is that it focuses on the verb as the primary sentence element which organizes the sentence. The research shows that the interest in the study of metonymic transfers of both nouns and verbs is steadily increasing. The metonymy is getting related to the mental processes and overall human cognitive activity that underlie metonymic transfers and explain how metonymy works when conceptualizing the reality.

The verbal metonymy, following the principle of linguistic economy, demonstrates a tendency to the economy of the speaker’s efforts, e.g.: metonymical representation of a speech act by the verb *mumble* versus *speak languidly and slurredly*.

The reviewed approaches to the classification of a metonymic transfer in the meaning of the verb, built on the division of metonymy into collegiate, causal, circumstantial, make it possible to identify the main metonymic transfer patterns in the meaning of speech verbs, the patterns being determined by the features of the speech act they represent. As the basic type of verbal metonymy, the study distinguishes circumstantial metonymy, formed by the relationship between the action and the accompanying acoustic, visual, behavioral and other characteristics, where the accompanying sign represents the whole action.

The article introduces a comprehensive research procedure based on a hypothesis-deductive method, with semantic experiment as its integral part, and the research results verification using search engines. The study of the meanings of the verbs *lepetat’* and *lopotat’* allowed the author to put forward a hypothesis about the differential features that distinguish the meanings of the verbs of speaking. The result of the study is a more strict and complete semantic description of the verbs under study.

Key words: triangulation, experimental linguistics, semantic experiment, verbal metonymy, verbs of speaking, metonymic transfer.

Введение. Глаголы говорения представляют собой сложный языковой знак, характеризую внешнюю и содержательную стороны высказывания, коммуникативную сторону речи, взаимодействие между субъектом и объектом речи, эмоциональное состояние и отношение говорящего, а также оценку им ситуации и др. Ядро данного класса предикатов со-

ставляют глаголы *говорить/сказать*, которые представляют «имя сферы» глаголов речевой деятельности и являются наиболее общим обозначением акта говорения. Данные глаголы, а также ряд других (*рассуждать, спросить, отвечать* и т.п.) при употреблении со словами-распространителями характеризуют громкость голоса, интонацию говорящего, его чувства, отношение к собеседнику во время произнесения той или иной реплики, ср.: *говорить тихо; настойчиво спрашивал; презрительно отвечал* и т.д. Наряду с ними существует ряд глаголов, которые, выступая в метонимичном значении, содержат «дополнительные» смыслы непосредственно в своем значении и способны репрезентировать и вносить различные характеристики акта речи без слов-конкретизаторов. К таким глаголам относятся: *мямлить, бормотать, гнусавить, бубнить, лепетать, лопотать, гаркать, шамкать, шепелявить* и др.

Цель настоящей статьи заключается в описании механизмов функционирования глагольной метонимии, репрезентирующей акт говорения, и выделении основных моделей метонимических сдвигов в значении предикатов речевой деятельности.

Для достижения поставленной цели в статье решаются следующие **задачи**: анализ и интерпретация существующих подходов к пониманию глагольной метонимии в когнитивной лингвистике; проведение семантического эксперимента на основе анализа примеров употребления исследуемых лексических единиц в речи носителей языка; в ходе гипотетико-дедуктивной процедуры исследования подтверждение выдвинутой гипотезы о различиях в семантике анализируемых предикатов (проверка заключается в соотнесении опытных данных с предварительной «разметкой исследователя» и запросами в поисковых системах Google и Yandex); выделение ключевых моделей метонимических переносов в сфере глаголов говорения на основе выявленных различий в семантике исследуемых глаголов.

Материал исследования. В качестве материала используются контексты с исследуемыми глаголами, отобранные методом сплошной выборки из Национального корпуса русского языка, художественной и публицистической литературы, а также примеры, полученные в ходе выборочных запросов в поисковых системах Google и Yandex.

Методология. Для решения поставленных задач в статье применяются современная комплексная исследовательская методика, совмещающая гипотетико-дедуктивный метод, основу которого составляет семантический эксперимент, и его дальнейшая верификация с помощью ведущих поисковых систем Google и Yandex.

Актуальность обращения к данной теме обусловлена относительно слабой изученностью метонимичных глаголов говорения. В большинстве работ глаголы речи исследуются с целью создания универсальной клас-

сификация (З. В. Ничман, Л. В. Васильев, Г. В. Степанова, Л. Г. Бабенко и др.); в некоторых исследованиях затрагивается их когнитивный потенциал (О. Д. Дворник, Ф. Р. Имаммутдинова и др.); связь с их эквивалентами в других языках (Е. А. Ушакова, Е. В. Цыганова, Н. М. Шишкина); рассматривается семантическое поле глаголов речи (Е. М. Соколовская); связь с теорией речевых актов (Дж. Остин, Дж. Серль, Т. А. ван Дейк, Ю. Д. Апресян, А. Вежбицкая, Н. Д. Арутюнова и др.). Однако в интерпретации большинства ученых все же не выявленными остаются когнитивные основания метонимического переноса в семантической структуре глагола, не обозначающего говорение, который позволяет сформироваться новому значению у слова, что дает ему возможность использоваться для описания акта говорения. В работах исследователей не демонстрируются семантические различия между предикатами, например, во многих классификациях не нашлось места глаголам типа *мямлить*, *лопотать*, *гнусавить* и др., не были показаны различия между эмоционально-волевыми глаголами *ахать*, *охать*, *ухать*, *ойкать* и т.д. Между тем метонимичные глаголы говорения обладают большим потенциалом для описания акта говорения, поскольку способны репрезентировать акт говорения без дополнительных слов-конкретизаторов и являются основными элементами базового концепта «говорение». Таким образом, несмотря на огромное количество работ, посвященных исследованию лексико-семантической группы глаголов речи, вопросы глагольной метонимии, репрезентирующей акт говорения, затрагиваются спорадически или только частично в некоторых работах (см. об этом подробнее в [Агеева 1990; Анашкина 2011; Толмачева 2018]). Таким образом, актуальность и потребность их изучения в данном аспекте не вызывает сомнений.

Основная часть. В силу различных причин, метонимия, в отличие от метафоры, оказалась менее изучена, хотя, по мнению многих отечественных и зарубежных ученых (А. Barcelona, Д. Н. Шмелев, Н. Г. Агеева, О. А. Сулейманова, Н. С. Трухановская, И. А. Солодилова и др.), метонимические процессы и феномены являются более основополагающими для языка и мышления, чем метафорические, поскольку «метонимия вследствие лежащих в ее основе отношений смежности гораздо глубже коренится в когнитивно-семантических структурах, нежели метафора» [Солодилова 2017: 54]. Д. Н. Шмелев в этой связи отмечал, что метонимический перенос отличается большей продуктивностью и регулярностью, чем метафорический [Шмелев 1977: 129].

Сегодня уже никто не подвергает сомнению значимость метонимии как когнитивного механизма концептуализации действительности. Настоящий «бум» изучения метонимии и метонимических механизмов осмысления действительности пришелся на конец XX в., с выходом в свет целого ряда основополагающих работ и статей (см.: [Barcelona 2002; 2003;

Panther, Radden 1999; Croft 2006; Fauconnier, Turner 1999; Goossens 1995; Kövecses 2005] и др.). Лингвисты продолжили ставшее уже традиционным рассмотрение метонимии и метонимических переносов (наряду с метафорой) как когнитивного явления, «фигуры мысли», лежащей в основе нашей концептуализации мира и являющейся «составной частью обыденного мышления, способов речи и поведения» [Лакофф, Джонсон 2004: 63], тем самым окончательно отделив ее от литературоведческого понимания как одного из тропов.

В последующие годы опубликован целый ряд исследований, посвященных изучению когнитивной метонимии в ее сравнении и взаимосвязи с метафорой, ср.: “Metaphor and metonymy at the Crossroads” [Barcelona 2003 / 2000], “Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast” [Dirven, Pörings 2002], “Metonymy and Pragmatic Inferencing” [Panther, Thornburg 2003], “Metonymy and Metaphor in Grammar” [Panther, Thornburg, Barcelona 2009], “Defining Metonymy in Cognitive Linguistics” [Benczes, Barcelona, Ruiz de Mendoza 2011] и др., которые подтвердили гипотезы о концептуальной природе метонимии, о ее значимости для языка и мышления, поднятые и проанализированные в работе К.-У. Пантера и Г. Раддена “Metonymy in Language and Thought” [1999].

Тем не менее, несмотря на то, что когнитивная лингвистика в целом согласна как с концептуальной природой, так и с фундаментальной важностью концептуальной метонимии, по некоторым вопросам среди исследователей сохраняется ряд значимых разногласий. Например, одна из главных проблем возникает из-за утверждения, что метонимия действует в пределах одной концептуальной области, тогда как метафора соединяет две разные концептуальные области [Benczes, Barcelona, Ruiz de Mendoza 2011: 2]. Другая проблема заключается в том, что в большинстве исследований рассматривалась преимущественно метонимия существительных, реже — прилагательных и признаков слов. Однако в последние годы наметилась тенденция к смещению фокуса внимания лингвистов с изучения субстантивной метонимии к исследованию метонимии в сфере предиката.

Способность глагола метонимически репрезентировать денотативную ситуацию отмечалась многими исследователями, однако в большинстве своем данные попытки описания глагольной метонимии не предлагали системного подхода к ее изучению, хотя и отмечали регулярность и системность метонимических переносов. Например, у Д. Н. Шмелева предложены в качестве примера глагольной метонимии единицы *рубить поленя* и *рубить дрова*, где, по утверждению ученого, в одном случае объектом является предмет, подвергаемый воздействию, в другом — в качестве объекта выступает обозначение предмета, создаваемого соответствующим действием [Шмелев 1977: 99]. Как представляется вместе с тем, здесь вза-

имоделяются два объекта — *поленья* и *дрова* как результат действия и как объект действия глагола *рубить*, тогда как сам глагол не представлен в двух значениях, соотносимых метонимически [Грамматические аспекты перевода 2010: 107].

До последнего времени также практически не поднимались вопросы, связанные с классификацией типов глагольной метонимии: не существует полной классификации метонимических переносов не только в сфере глаголов говорения, но и для глагольной метонимии в целом. Предпринятые попытки систематизировать и описать таксономию глагольной метонимии в (см. [Новиков 2003; Новиков, Рыбаков 2011]) вызывают ряд вопросов. А. Л. Новиков на основе предложенного им понятия «метонимический классификатор» дает системное описание и иерархическую классификацию метонимии в сфере прилагательных и глаголов в русском языке, указывая, что «метонимически организованный по своей структуре глагол соотносится с одним и тем же денотатом, но «выбирает» в нем различные сигнификативные аспекты, планы», ср.: «*копать* землю» — «*копать* яму», где денотативная соотнесенность метонимических значений одинакова (одна и та же ситуация), а семантическое (сигнификативное) содержание различно (рытье земли и как «смежный» результат — выкапывание траншеи, ямы) [Новиков 2003: 63]. Как представляется, в данном случае, как и в вышеприведенном утверждении Д. Н. Шмелева, речь идет все-таки о метонимии существительного, а не о глагольной метонимии. Основным типом метонимического переноса у глаголов А. Л. Новиков видит отношение каузирования, отмечая, что другие разновидности глагольной метонимии носят достаточно частный характер [Новиков 2003].

Таким образом, предложенная семантическая таксономия глагольной метонимии вызывает ряд сомнений также потому, что не отражает изначальное разделение метонимии как тропа, ср.: *пристань проплывает мимо*, и как средства вторичной номинации, при которой образуются регулярные модели переносов, ср.: *самолет летит* — *пассажир летит*. Кроме того, в данном подходе автор не объясняет и не рассматривает случаи, при которых происходит метонимическая трансформация значения глагола (например, *лететь*), а также при которых метонимический перенос не влечет за собой изменение в семантике глагола (например, *проноситься*).

О. А. Сулейманова и Н. Н. Беклемешева предлагают разделять глагольную метонимию на *причинно-следственную* и *обстоятельствственную*. По причинно-следственному типу между предикатами действия и состояния устанавливаются причинно-следственные отношения (*цветы пахнут* — следовательно — *кто-то их нюхает*; *он был здесь* — следовательно — *он еще не ушел* и др.). По обстоятельствственному типу устанавливаются отношения между действием и его сопутствующий акустической, визуальной, «поведенческой» и иной характеристикой, где сопутствующий признак высту-

пает репрезентантом всего действия (*шептать* — говорить, издавая шипящие звуки; *прихлебывать* — пить мелкими глотками, *рвануть* — резко начать движение и др.) [Грамматические аспекты перевода 2010].

Как отмечают исследователи, «эти вторичные (сопутствующие) параметры могут взять на себя функцию основных и тем самым репрезентировать само событие, ситуацию» [Сулейманова, Беклемешева 2009: 91]. Ср., например, как данная особенность проявляется в глаголах говорения: «Боже мой, какой “угод”, — она очень смешно *картавила*» (С. Спивакова. *Не всё*), где признак, сопутствующий акту говорения и вносящий информацию о «дефектном» исполнении события, замещает весь акт говорения. Тем самым поднимается идея неслучайной связи между предикатами, находящимися в определенного рода (не случайных / метонимических) отношениях.

Н. Г. Агеева, исследуя типологию и механизмы глагольной метонимии на материале английского языка, выделяет *коллигативный тип* глагольной метонимии, основанный на совстречаемости/соположенности действия (процесса, состояния, отношения) с сопутствующим признаком, ср.: *to rest: отдыхать — лежать — прекратить активные действия* (состояние как причина — внешнее его проявление) [Агеева 1990]. Ср. также: «Покупайте чего хотите...— *отмахнулся* Корытин» (Б. Екимов. *Планошет*), где глагол действия/говорения *отмахнулся* вносит информацию о внутреннем состоянии субъекта, проявляющемся в невербальном жесте и соответствующем акте речи. Как представляется, метонимический перенос, лежащий в основе сдвига значения данного глагола, можно с некоторым уточнением отнести к рассмотренной выше модели *состояние как причина — внешнее его проявление*, поскольку в данном случае глагол акцентирует либо эмоции, сопровождающие производимые действия, ср.: *отвечать невнимательно, небрежно, легкомысленно оставлять что-либо без внимания*, либо состояние, сопровождающееся действием, ср.: *недоволен*, следовательно, *отмахивается*.

Отметим, что подобные метонимические модели напрямую соотносятся с глаголами говорения, выражающими действие через сопутствующий признак, отражающий эмоции. На это также указывает Е. В. Анашкина, отмечая, что метонимия подобных предикатов может интерпретироваться как стилистический прием, в частности, при метонимической замене глаголов при передаче прямой речи, ср.: “Oh no, I like it awfully, — *laughed* Ursula”, где глагол *to laugh* изначально не содержит в своем значении сему «говорения», но приобретает ее в конструкции с прямой речью. Таким образом, границы языковой ситуации, отраженной глаголом *to laugh*, расширяются за счет включения новой семы [Анашкина 2011: 373].

Приведенные примеры моделей метонимических переносов показывают, что с точки зрения изменения значения вследствие вторичной

номинации и с позиции когнитивного подхода в основе глагольной метонимии лежат *причинно-следственные* связи и метонимические связи, носящие *обстоятельный* характер, в рамках которых могут быть выделены частные модели метонимических переносов. Это позволяет системно подходить к когнитивной интерпретации акта говорения в естественном языке в случаях, когда он представлен обстоятельной глагольной метонимией.

По мнению В. А. Толмачевой, базовой моделью образования вторичного значения «говорение» является метонимическая модель «Часть — Целое», которая проявляется как обозначение сложного действия (целое) через один из его этапов (часть) [Толмачева 2018: 150]. Однако сведение всей системы глагольной метонимии к одному типу метонимических переносов (по сути — синекдохе) является ограниченным, поэтому предложенный подход к систематизации глагольных метонимических переносов, на наш взгляд, представляет собой первые шаги по описанию отдельных глаголов говорения, не объединенных в лексико-семантическую группу, и требует серьезных уточнений.

Отсюда вытекает одна из главных проблем, заключающаяся в сложности идентификации метонимических переносов в сфере предиката, ср.: метонимичный глагол *мямлить* => *говорить мямля, т.е. невнятно, нечетко, медленно, вяло, едва шевеля губами*, где семантический сдвиг происходит на основе смежности и неслучайной связи основного действия и обстоятельного элемента, включенного в семантику глагола *мямлить*. Метафорические переносы, напротив, легко идентифицируются рядовыми носителями языка, ср., например, глаголы *взорваться, прошипеть, отмахнуться, рывкнуть, прореветь* и др., в ходе которых событие, существующее в рамках одной предметной области (домена), получает интерпретацию в терминах другой области (домена), т.е. *взорваться = разлетаться, разрываться на части, разрушаться от взрыва => не сдержав своего возмущения, негодования, выразить его словами, жестами в резкой, категоричной форме*. Как видно из рассмотренного материала, при глагольной метонимии перенос происходит на основе неслучайной связи, возникающей в рамках одной концептуальной области, тогда как при глагольной метафоре семантический сдвиг происходит между двумя концептуальными областями на основе их звукового сходства.

К систематизации метонимичных глаголов говорения стоит подходить с позиции того, какую речевую особенность они характеризуют: исследователи выделяют несколько основных типов глагольной метонимии, которые применимы к предикатам, репрезентирующим акт говорения, например:

1) *коллигативную* — встречаемость или соположенность действия/процесса/состояния/отношения с сопутствующим признаком, ср.: *отмахнуться*, где метонимический перенос, лежащий в основе сдвига значения

глагола, можно отнести к модели *состояние как причина — внешнее его проявление*, поскольку в данном случае предикат акцентирует либо эмоции, сопровождающие производимое действие, ср.: *отвечать невнимательно, небрежно, легкомысленно оставлять что-либо без внимания*, либо состояние, сопровождающееся действием, ср.: *недоволен*, следовательно, *отмывается* [Агеева 1990];

2) *синекдохальную*, ср.: *улыбнуться*, где соотносится (часть) *мика как компонент невербальной коммуникации* и (целое) *говорение, сопровождаемое мимикой* [Толмачева 2018];

3) *обстоятельную* — связь между действием и обстоятельствами его осуществления, ср. большинство рассматриваемых в работе глаголов: *мямлить, бормотать, гнусавить, лепетать* и др., в которых основное действие (говорение) представлено через регулярно сопутствующий этому действию звуковой (акустический), визуальный или иной эффект [Грамматические аспекты перевода 2010].

В настоящей статье предлагается классификация, в основу которой положено, как говорилось выше, разделение метонимичных глаголов говорения по тому, какие особенности речи они характеризуют (см. также [Чаплин 2019а: 104]). Метонимичные глаголы говорения могут характеризовать:

- 1) врожденный и/или приобретенный дефект речевого аппарата (картавить, заикаться);
- 2) только приобретенный дефект речевого аппарата (шамкать, шепелявить);
- 3) специфическую манеру речи (гундосить, гнусавить, лепетать, лопотать, бормотать, бубнить, бурчать, грассировать);
- 4) наличие/отсутствие ожидаемой преграды для произнесения звуков (шамкать, шепелявить, шипеть);
- 5) громкость/тихость произнесения слов (гаркать, галдеть, лепетать, лопотать, бормотать);
- 6) четкость/нечеткость произнесения звуков (бубнить, гаркать, чеканить/мямлить, лепетать, лопотать, бормотать);
- 7) наличие/отсутствие эмоциональной составляющей (ахать, ойкать, окать, ухать, бурчать, шипеть);
- 8) детскую/взрослую речь (лепетать/лопотать);
- 9) подражательную и/или сознательно воспроизводимую манеру речи (картавить, грассировать, шамкать, шепелявить, гундосить, гнусавить).

Подчеркнем, что группа метонимичных глаголов говорения не является закрытой структурой, глаголы активно взаимодействуют и пересекаются, поскольку репрезентируют специфическую сферу — сферу речевой деятельности, характеризующуюся повышенной экспрессивностью, эмо-

циональностью, содержательностью, т.е. таким набором составляющих, которые призваны реализовать важнейшие языковые функции — коммуникативную и информационную.

Рассмотрим действие метонимического механизма в сфере предиката говорения на примере анализа предикатов *лепетать* и *лопотать*.

Остановимся на описании пошаговой процедуры семантического анализа, а именно: гипотетико-дедуктивного метода, использующегося для описания семантики метонимичных глаголов говорения на примере пары глаголов *лепетать* и *лопотать* (данная методика применялась к описанию и других метонимичных глаголов) (см. описание других глаголов в [Чаплин 2019в: 381–386]). Каждый из рассматриваемых глаголов репрезентирует акт говорения через акцентуацию на особенностях говорения субъекта речи, что отражено в словарных толкованиях глаголов. Однако описаний значений в словарях недостаточно для верного и однозначного определения различий в семантике исследуемых предикатов, на что указывали И. А. Стернин и Э. В. Шаламова, подчеркивая, что «семантика слова не может быть сведена к ее описанию в словарях, к т.н. лексикографическому значению слова — там семантика представлена всегда не полностью, значения слов представлены в основном в своих ядерных компонентах» [Стернин, Шаламова 2016: 70].

Более того, в словарных статьях двух выбранных глаголов образуются так называемые «логические круги», при которых слова трактуются друг через друга: глагол *лопотать* в одном из значений определяется через синоним *лепетать*. Другая особенность словарных толкований заключается в наличии совпадающих фрагментов в дефинициях значений рассматриваемых предикатов, например, *лепетать* — «говорить несвязно, неразборчиво (обычно о речи детей)» [БТС] и *лопотать* — «говорить несвязно, неясно произнося слова (о детях); лепетать» [БТС]. При этом оба глагола трактуются через глагол *бормотать*: *лепетать* — говорить невнятно, невразумительно, сбивчиво, с трудом подыскивая слова; *бормотать*; *лопотать* — говорить невнятно, бормотать.

Такие «логические круги» и совпадающие фрагменты в толкованиях лексических единиц предполагают, что данные глаголы совпадают в значении и, следовательно, должны быть взаимозаменяемы практически в любых контекстах [Сулейманова, Фомина 2018]. Однако в случае замены в контексте одного из рассматриваемых глаголов на другой выясняется, что между ними существуют различия, которые не отражены в описании словаря, но отчетливо осознаются носителями языка: ср. *лопотал бледный Сеня* — говорить быстро, негромко, невнятно и непонятно артикулируя и *лепетал бледный Сеня* — говорить быстро, тихо, сбивчиво, неразборчиво/нечетко артикулируя, где на передний план выдвигается описание «слабой» коммуникативной позиции говорящего (об этом см. ниже).

Таким образом, несмотря на некоторую семантическую общность данных глаголов, позволяющую в ряде случаях осуществлять замену одной лексической единицы на другую, существуют признаки, разграничивающие значения данных предикатов. Для дальнейшего построения гипотезы о различиях в значениях глаголов говорения *лепетать/лопотать* формируется репрезентативная выборка примеров, в которой исходный глагол заменяется на его синоним, а затем полученные высказывания предъявляются информанту для оценки их правильности или неправильности с точки зрения его языковой компетенции. В нашем случае информантами выступают студенты, аспиранты, преподаватели лингвистического профиля, а также сам исследователь как компетентный носитель языка. Далее на основе анализа контекстов с исследуемыми глаголами и полученного «отрицательного языкового материала» выдвигается гипотеза о дифференциальных семантических признаках исследуемых лексических единиц. Затем следует ее проверка на имеющемся языковом материале.

Так, глагол *лепетать*, описывая содержательную и звуковую сторону речи, характеризует ее как *несвязную, неразборчивую, невнятную*, поэтому он может использоваться для репрезентации «детской» речи: ср., например, «Когда маленькая подросла месяцев до восьми и начала что-то лепетать, важней всего для нее было освоить священное имя сестры» (Т. Набатникова. «День рождения кошки»), где глагол *лепетать* описывает бесвязную, неразборчивую речь ребенка (нечетко произносить буквы, слова и т.п.).

При описании говорения взрослого содержание его речи характеризуется как несерьезное, незначительное, которым можно пренебречь именно по причине того, что она уподобляется детской речи (своего рода звукоподражание): ср.: «Я невнятно пролепетал о согласии, понимая, что совершил страшную оплошность» (В. Бережков. «Рядом со Сталиным»), где глагол *пролепетал* характеризует речь как *невнятную, невразумительную, беспомощную*, а сам говорящий находится в слабой, подчиненной позиции (его упрекают, обвиняют).

Слабая коммуникативная позиция говорящего определяется тем, что глагол *лепетал*, характеризуя речь как *невнятную, несерьезную, беспомощную*, маркирует ее как незначительную, содержанием которой можно пренебречь, и содержание как самый релевантный компонент высказывания становится нерелевантным для собеседника. Ср. также допустимые *...почти с ужасом пролопотала Ирина* и *...я не смог даже пролопотать*, где вводится информация об акте говорения и речь характеризуется как *невнятная, неразборчивая* (однако отсутствует указание на подчиненность коммуникативной позиции субъекта речи).

Глагол *лепетать* может репрезентировать речь человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения: *...Как минимум, пол-литра водки*

выпил. *Заплетаящимся языком лепетал, что осознал свою ошибку, обещал больше так не делать* (Р. Максимова. «Грани»), где в значении глагола *лепетал* присутствует указание на слабость коммуникативной позиции говорящего (из-за алкогольного опьянения), в результате чего способность к членораздельной речи ослабляется: она характеризуется как *невнятная, непонятная, бессмысленная*.

Глагол говорения *лопотать* не маркирован с точки зрения описания взрослой или детской речи и репрезентирует ее как *несвязную, с неясным произношением, непонятную для окружающих*: ср. «[Девчонка], не переставая, что-то лопотала своим милым детским голоском» (Л. Толстой. «Воскресение»), где глагол *лопотала* вносит информацию о речи маленького ребенка. Ср. также: «Но не изменились — лопочут о науке, о социальной справедливости, черт знает о чем» (С. Данилюк. «Рублевая зона»), где глагол *лопочут* вносит информацию о том, что речь ученых (взрослых) характеризуется как *несерьезная, легковесная, не имеющая серьезного основания*.

В силу того, что глагол *лопотать* репрезентирует речь как *несвязную, непонятную*, он может использоваться для описания иноязычной речи, которую респондент не понимает: ср.: «Из кубрика высунула голову женщина, что-то пролопотала по-норвежски, махнула рукой и опять ушла в кубрик» (Е. Замятин. «Ела»), где глагол *пролопотала* вносит информацию о речи как *невнятной, с неясным произношением слов, непонятной со стороны слушающего*. Ср. также — «Заденет, заденет он нас, — лопотал китаец» (А. Вороной. «Банда профессора Перри Хименса»), где глагол *лопотал* указывает на *быстроту, невнятность, несвязность акта говорения*. Ср. отмеченное информантами как не вполне допустимое *что-то? пролепетала по-норвежски; */? лепетал китаец*, где глагол *лепетать* не может вносить информацию об иноязычной речи, акцентируя внимание на характере и манере говорения (*речь бессвязная, сбивчивая*).

Глагол *лопотать* в некоторых случаях для создания речевого портрета говорящего, как и глагол *лепетать*, также может вводить информацию о речи человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения: «”Что ты, я совсем пьяный”, — лопотал будущий автор открытия поляризации излучения Крабовидной туманности» (И. Шкловский. «Новеллы и популярные статьи»), где глагол *лопотал* репрезентирует акт говорения и характеризует речь как *несвязную, бормочущую, непонятную для окружающих*. Ср. также аналогичное *лепетал пьяный*.

Для окончательного подтверждения выдвинутой гипотезы необходимо провести еще один эксперимент, в ходе которого информантам предлагаются примеры (подбираются контексты с исследуемыми глаголами либо создаются авторские контексты), характеризующиеся в соответствии с нашей гипотезой либо как положительные, либо как отрицательные. Так, в корпус примеров включаются пары предложений, отличающиеся друг

от друга только по одному признаку: например, слабости коммуникативной позиции говорящего или способности/неспособности к репрезентации речи иностранца, ребенка и т.д.

Созданная экспериментальная выборка примеров предьявляется информанту для оценки правильности или неправильности полученных высказываний. Затем полученные данные анализируются, причем проверка гипотезы в данном случае заключается не в разделении предложений на маркированные и немаркированные, а в соответствии опытных данных с «разметкой исследователя». Так, например, согласно ожиданиям, получаем положительную оценку для высказываний с глаголом *лопотать*, где он вносит информацию о речи иностранцев, и отрицательные оценки информантов, где глагол *лепетать* не способен вносить информацию о том, что субъект речи говорит на иностранном языке, непонятном для окружающих, акцентируя внимание на внешних характеристиках (*речь бессвязная, сбивчивая*).

Таким образом, в ходе исследования выдвинутая гипотеза о различиях в семантике глаголов говорения *лепетать* и *лопотать* получает экспериментальное подтверждение. Применение предложенной исследовательской процедуры, основанной на гипотетико-дедуктивном методе, семантическом эксперименте с дальнейшим обращением к поисковым системам, позволило установить дифференциальные признаки, разграничивающие значения исследуемых метонимичных глаголов говорения *лепетать* и *лопотать*. В свою очередь, это позволило дополнить и систематизировать их лексикографическое описание (которое, как отмечалось выше, в современных словарях зачастую является неполным).

Так, глагол *лепетать* обозначает «говорить быстро, тихо, сбивчиво, неразборчиво/нечетко артикулируя, находиться в “слабой” и/или подчиненной коммуникативной позиции, в результате чего слушающему сложно расчленивать речевой поток на отдельные осмысленные языковые единицы, поскольку содержание сообщения передается не только словами, но и интонацией, невербальными средствами (акцент на внешних характеристиках речи)» [Чаплин 2019 б: 79–80; 2019 в: 384].

Глагол *лопотать* обозначает «говорить быстро, негромко, невнятно и непонятно артикулируя, в результате чего слушающему сложно распознать/декодировать речевой поток с точки зрения его членения на осмысленные языковые единицы» (акцент на *содержании речи*).

Выводы. Таким образом, в работе были предприняты попытки описания разнообразных механизмов функционирования глагольной метонимии, репрезентирующей акт говорения. Как показало исследование, интерес к исследованию метонимических переносов, как в значениях существительных, так и признаков слов, неизменно повышается. Уже отрицается значимость данных процессов для отображения/концептуа-

лизации окружающей действительности, поскольку процессы, лежащие в основе метонимических переносов, свидетельствуют не только о закономерности или регулярности исследуемых явлений, но и об их взаимосвязи с нашим мышлением.

Глагольная метонимия, следуя закону речевой экономии, демонстрирует тенденцию к экономии речевых усилий, ср.: *мямлить* и *говорить вяло и невнятно*. Не стоит также забывать, что глагол в языке выражает процессуальность действия, а в высказывании — процесс говорения. Соответственно, именно глагол является тем организующим звеном, которое метонимически восстанавливает в памяти более сложные структуры, формируя вокруг себя каркас будущего высказывания.

Предложенный подход к классификации метонимических переносов в значении глаголов говорения, основанный на разделении метонимии на *коллигативную*, *причинно-следственную*, *обстоятельную*, позволяет выделить основные модели метонимических сдвигов в значении предикатов речевых действий с их дальнейшей конкретизацией по классам на базе того, какие особенности акта говорения они репрезентируют. Анализ материала продемонстрировал, что метонимичные глаголы говорения не являются закрытой структурой, они активно взаимодействуют и пересекаются. В качестве базового типа глагольной метонимии в исследовании выделяется *обстоятельная метонимия*, основанная на отношениях между действием и сопутствующий акустической, визуальной, поведенческой и иной характеристикой, где сопутствующий признак выступает репрезентантом всего действия.

В ходе анализа семантики глаголов говорения, способом образования значений которых являются метонимические переносы, с помощью гипотетико-дедуктивного метода исследования установлено, что данные модели активно участвуют в образовании значений глаголов и эффективно репрезентируют акт говорения. Проанализированные глаголы вносят информацию о различных сторонах речи (наличии/отсутствии речевых дефектов, манере, акустических особенностях, коммуникативной ситуации, субъекте речи и др.), содержат в своем значении «дополнительные» параметры (указание на настроение говорящего, эмоциональную оценку ситуации, отношение к высказыванию и/или к собеседнику, оценку коммуникативных навыков собеседника и др.).

Литература

Агеева Н. Г. Типология и механизмы глагольной метонимии в современном английском языке: Дис. ... канд. филол. наук. Киев, 1990. 199 с.

Анашкина Е. В. Механизмы функциональной категоризации глаголов при метонимическом переносе в англоязычном художественном дискурсе // Теория и практика общественного развития. 2011. № 8. С. 370–373.

Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем / Пер. с англ.; под ред. и с предисл. А. Н. Баранова. Москва: Едиториал УРСС, 2004. 256 с.

Новиков А. Л., Рыбаков М. А. Семантико-словообразовательная природа метонимии в русском языке // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2011. № 3. С. 63–69.

Новиков А. Л. Таксономия метонимии в русском языке. Имена прилагательные. Глаголы // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2003. № 4. С. 61–66.

Селиверстова О. Н., Сулейманова О. А. Эксперимент в семантике // Контексивные аспекты языка: константность и вариативность: Сб. ст. к юбилею О. А. Сулеймановой / Отв. ред. Т. Д. Шабанова. Москва: Флинта, 2016. С. 19–42.

Солодилова И. А. Метонимия: границы феномена // Вестник Оренбургского государственного университета. 2017. № 1. С. 53–57.

Стернин И. А., Шаламова Э. В. Ассоциативный эксперимент и описание семантики слова в языковом сознании (слово *машина* в словаре и языковом сознании современного носителя русского языка) // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика. 2016. № 2. С. 69–74.

Сулейманова О. А. и др. Грамматические аспекты перевода: Учеб. пособие для студ. филол. и лингв. фак. вузов. Москва: Академия, 2010. 240 с.

Сулейманова О. А., Беклемешева Н. Н. Основы языковой категоризации мира: пространство, время, причинность и принцип неслучайной связи // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. № 3(7). 2009. С. 87–92.

Сулейманова О. А., Фомина М. А. Триангуляционный подход в экспериментальной лингвистике // Русистика и компаративистика: Научные труды по филологии / Гл. ред. С. А. Васильев. Вып. XII. М.: Книгодел, 2018. С. 220–235.

Толмачева В. А. Метонимия как механизм формирования глаголов с вторичным значением «говорение» // Когнитивные исследования языка. Вып. XXXIII. 2018. С. 146–151.

Чаплин Е. В. Метонимия и метафора в сфере предиката (на примере глаголов говорения) // Вестник Московского городского педагогического университета. Сер.: Филология. Теория языка. Языковое образование. № 3 (35). 2019а. С. 100–106.

Чаплин Е. В. Речевой портрет говорящего: исследование семантики метонимичных и метафоричных глаголов говорения // Человек в информационном пространстве: Сборник научных статей; Ярославль, 14–16 ноября 2019 г. / Под общ. ред. Т. П. Курановой. Ярославль: РИО ЯГПУ. 2019б. 77–82.

Чаплин Е. В. Гипотетико-дедуктивный метод для описания метонимии в сфере глаголов говорения // *Филологические науки. Вопросы теории и практики*. Т. 12. Вып. 11. 2019в. С. 381—386.

Шмелев Д. Н. Современный русский язык. Лексика. М.: Просвещение, 1977. 335 с.

Metonymy in language and thought / Ed. by K.-U. Panther, G. Radden. Amsterdam — Philadelphia: J. Benjamins, 1999. 423 p.

Benczes R., Barcelona A., Ruiz de Mendoza Ibáñez F. J. (eds.). Defining metonymy in cognitive linguistics: Towards a consensus view. Amsterdam: John Benjamins, 2011. 292 p.

Словари

БТС — Большой толковый словарь русского языка / Под ред. С. А. Кузнецова. Санкт-Петербург: Норинт, 2000. 1536 с. URL: <https://gufo.me/dict/kuznetsov>.

Интернет-ресурсы

Национальный корпус русского языка URL: <http://www.ruscorpora.ru>.

Карта слов и выражений русского языка URL: <https://kartaslov.ru/>.

References

Ageeva N. G. Tipologiya i mekhanizmy glagolnoj metonimii v sovremennom anglijskom yazyke: Dis. ... kand. filol. nauk. Kiev, 1990. 199 s.

Anashkina E. V. Mehanizmy funkcionalnoj kategorizacii glagolov pri metonimicheskom perenose v angloyazychnom khudozhestvennom diskurse // *Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya*. 2011. № 8. S. 370—373.

Lakoff Dzh., Dzhonson M. Metafory, kotorymi my zhivem / Per. s angl.; pod red. i s predisl. A. N. Baranova. Moskva: Editorial URSS, 2004. 256 s.

Novikov A. L., Rybakov M. A. Semantiko-slovoobrazovatel'naya priroda metonimii v russkom yazyke // *Vestnik Rossijskogo universiteta družby narodov*. Seriya: Lingvistika. 2011. № 3. S. 63—69.

Novikov A. L. Taksonomiya metonimii v russkom yazyke. Imena prilagatelnye. Glagoly // *Vestnik Rossijskogo universiteta družby narodov*. Ser.: Lingvistika. 2003. № 4. S. 61—66.

Seliverstova O. N., Sulejmanova O. A. Eksperiment v semantike // *Kontensivnye aspekty yazyka: konstantnost i variativnost: Sb. st. k jubileju O. A. Sulejmanovoj / Otv. red. T. D. Shabanova*. Moskva: Flinta, 2016. S. 19—42.

Solodilova I. A. Metonimiya: granicy fenomena // *Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta*. 2017. № 1. S. 53—57.

Sternin I. A., Shalamova E. V. Associativnyj eksperiment i opisanie semantiki slova v yazykovom soznanii (slovo *ماشينا* v slovare i yazykovom

soznanii sovremennogo nositelya russkogo yazyka) // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Lingvistika. 2016. № 2. S. 69–74.

Sulejmanova O. A. i dr. Grammaticheskie aspekty perevoda: Ucheb. posobie dlya stud. filol. i lingv. fak. vuzov. Moskva: Akademiya, 2010. 240 s.

Sulejmanova O. A., Beklemesheva N. N. Osnovy yazykovoj kategorizacii mira: prostranstvo, vremya, prichinnost i princip nesluchajnoj svyazi // Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. 2009. № 3 (7). S. 87–92.

Sulejmanova O. A., Fomina M. A. Triangulyacionnyj podkhod v eksperimentalnoj lingvistike // Rusistika i komparativistika: Nauchnye trudy po filologii / Gl. red. S. A. Vasilev. Vyp. XII. Moskva: Knigodel, 2018. S. 220–235.

Tolmacheva V. A. Metonimiya kak mehanizm formirovaniya glagolov s vtorichnym znacheniem “govorenie” // Kognitivnye issledovaniya yazyka. Vyp. XXXIII. 2018. S. 146–151.

Chaplin E. V. Metonimiya i metafora v sfere predikata (na primere glagolov govoreniya) // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Ser.: Filologiya. Teoriya yazyka. Yazykovoe obrazovanie. № 3 (35). 2019a. S. 100–106.

Chaplin E. V. Rechevoj portret govoryashego: issledovanie semantiki metonimichnyh i metaforichnyh glagolov govoreniya // Chelovek v informacionnom prostranstve: Sbornik nauchnyh statej; Yaroslavl, 14–16 noyabrya 2019 g. / Pod obsh. red. T. P. Kuranovoj. Yaroslavl: RIO YaGPU. 2019b. S. 77–82.

Chaplin E. V. Gipotetiko-deduktivnyj metod dlya opisaniya metonimii v sfere glagolov govoreniya // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. T. 12. Vyp. 11. 2019v. S. 381–386.

Shmelev D. N. Sovremennyy russkij yazyk. Leksika. Moskva: Prosveshenie, 1977. 335 s.

Metonymy in language and thought / Ed. by K.-U. Panther, G. Radden. Amsterdam — Philadelphia: J. Benjamins, 1999. 423 p.

Benczes R., Barcelona A., Ruiz de Mendoza Ibáñez F. J. (eds.). Defining metonymy in cognitive linguistics: Towards a consensus view. Amsterdam: John Benjamins, 2011. 292 p.

Dictionaries

BTS — Bol'shoj tolkovyj slovar' russkogo yazyka / Pod red. S. A. Kuznetsova. Sankt-Peterburg: Norint, 2000 1536 s. URL: <https://gufo.me/dict/kuznetsov>.

Internet resources

Nacional'nyj korpus russkogo yazyka URL: <http://www.ruscorpora.ru>.

Karta slov i vyrazhenij russkogo yazyka URL: <https://kartaslov.ru/>.

Сведения об авторах: Евгений Владимирович Чаплин; Московский городской педагогический университет; аспирант кафедры языкознания и переводоведения Института иностранных языков; ORCID 0000-00032924-5610; evgenychaplin@yandex.ru; сфера научных интересов: лингвистическая семантика и прагматика, методология семантических исследований.

Ольга Аркадьевна Сулейманова; доктор филологических наук; профессор; Московский городской педагогический университет; профессор кафедры языкознания и переводоведения Института иностранных языков; ORCID 0000-0002-4972-0338; souleimanovaOA@mgpu.ru; сфера научных интересов: лингвистическая семантика, методология семантических исследований, переводоведение.

The authors' profile: Evgeny Vladimirovich Chaplin; Moscow City University; postgraduate student at the Department of Linguistics and Translation Studies of the Institute of Foreign Languages; ORCID 0000-00032924-5610; evgenychaplin@yandex.ru; research interests: linguistic semantics and pragmatics, methodology of semantic research.

Olga Arcadieva Suleimanova; Doctor of Philology; Professor; Moscow City University; Professor of Department of Linguistics and Translation Studies at the Institute of Foreign Languages; ORCID 0000-0002-4972-0338; souleimanovaOA@mgpu.ru; research interests: linguistic semantics, methodology of semantic research, translation studies.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОМПАРАТИВИСТИКА

УДК 81'282 (133.1)

DOI: 10.25688/2619-0656.2020.14.12

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУБДИАЛЕКТА ШИАК В КОНТЕКСТЕ ЯЗЫКОВОГО КОНТАКТА В АКАДИИ

LEXICAL AND GRAMMATICAL CHARACTERISTICS OF A CONTACT-INDUCED VARIETY: A CASE STUDY OF CHIAC

Лана Руслановна Зурабова

Елена Георгиевна Борисова

**Московский городской педагогический университет,
Москва, Россия**

Lana Ruslanovna Zurabova

Elena Georgievna Borisova

**Moscow City University,
Moscow, Russia**

Аннотация

В статье представлены грамматические и лексико-семантические особенности субдиалекта шиак в контексте языкового контакта в историческом регионе Акадия (Канада), выявленные в ходе корпусного исследования. Анализу подвергаются функциональные возможности предлогов, в том числе вынесение предлогов в конец предложения; семантические характеристики наречий-интенсификаторов; вариативное использование вопросительных частиц *-ti* / *-tu* при образовании вопросов; специфика диалектной глагольной системы, включая инфинитивные формы, а также правила спряжения глаголов.

Ключевые слова: шиак, акадийский диалект, языковой контакт, корпусное исследование, языковая вариативность, Канада.

Abstract

The article explores the dialectal features of Acadian French in New Brunswick (NB), Canada. Acadia has been developing as a region with distinctive linguistic and cultural characteristics since the early seventeenth century

(1605) after Samuel de Champlain and Pierre Du Gua de Monts discovered Port-Royal (modern-day Nova Scotia). It encompasses the Atlantic provinces including New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, and partially Quebec (Gaspésie, Côte-Nord and Îles de la Madeleine). The study focuses on a variety of French known as chiac (or chique), spoken in the province of New Brunswick. Despite its limited geographical distribution (south-east of NB), chiac proves to be of interest for research: it is highly variable, mostly spoken, and lexically, semantically, phonetically, and even grammatically influenced by English. Furthermore, it shows signs of language mixing. The author argues that the presented functional and lexical features are partially due to the long-lasting language contact in Acadia and a specific sociolinguistic situation within the region.

The source of evidence for the present study comes from the analysis of the oral corpus Chiac-Kasparian H99 and the mini-corpus Kasparian-Léger H2004 provided by Dr. Sylvia Kasparian, Head of the Textual Data Analysis Laboratory (Laboratoire d'analyse de données textuelles), University of Moncton. The corpus consists of transcribed spontaneous conversations of the inhabitants of the south-east of New Brunswick. The provided linguistic material comprises an unannotated text corpus, accompanied by partial sociolinguistic data about the speakers, including age, gender, place of study, place of residence, and status of participants to each other. Therefore, our first research step was to carry out the content analysis and subsequently interpret the results. At the initial stages of analysis, the authors annotated the text corpus which enabled them to highlight several distinctive characteristics of chiac, both as a subdialect of Acadian French and as a contact-induced variety, including signs of semantic transformation in both French and borrowed adverbs; dialectal interrogative morphemes *-ti / -tu*, and preposition stranding. Moreover, the authors postulate variability in verb forms, conjugation system, and functioning of auxiliaries. It must be noted, that the study relies on the theoretical and empirical body of work conducted by L. Peronnet, S. Kasparian, G. Chevalier, R. King, M. Roy, A. Thibault.

Key words: chiac, Acadian dialect, language contact, corpus analysis, language variation, Canada.

Введение. Особенности языкового контакта в Канаде определяются тесным историческим взаимодействием двух коммуникативно мощных языков, традиционно обладающих высокой степенью кодифицированности — английского и французского, изоляцией франкофонов Канады от Франции и влиянием автохтонных языков местного населения и языков мигрантов на языковую ситуацию в стране. В данных условиях, как отмечает В. Т. Клоков, «стал складываться и широко использоваться просторечный вариант французского языка, основанный на диалектизмах и архаизмах французского языка Франции, на местных заимствованиях

из английского и индейских языков, а также на экспрессивных неологизмах...» [Клоков 2004: 4]. В стране существует две доминирующие языковые группы: англофоны и франкофоны. Английский язык является родным для 58,1% населения, а французский — для 21,4% [Statistics Canada 2016]. Канадский французский отличается региональными и диалектными особенностями в провинциях с крупными франкофонными сообществами — Квебеке и Нью-Брансуике. Таким образом, франкофоны Канады не представляют собой гомогенную языковую группу, а формируют два исторически и культурно отличных друг от друга сообщества: квебекцы, проживающие на территории провинции Квебек, и акадийцы, жители приморских провинций (*the Maritimes*), расположенных на территории исторического региона Акадия. Для исследования интерес представляет вариативность речевого поведения, продиктованная социолингвистическими особенностями становления акадийского диалекта, диалектные особенности акадийского французского и языковые практики в регионах с тесным англо-французским языковым контактом. Показательным примером такого региона является юго-восток провинции Нью-Брансуик, где выделяется особая языковая формация, имеющая название *chiaic*.

Эмпирическая база и методология исследования. Эмпирическая база исследования представлена корпусом транскрибированной спонтанной устной речи жителей юго-востока провинции Нью-Брансуик *Chiac-Kasparian H99* и мини-корпусом *Kasparian-Léger H2004*, предоставленными автору статьи директором Лаборатории анализа текстовых данных Монктонского университета профессором С. Каспарьян (*Dr. S. Kasparian, Laboratoire d'analyse de données textuelles*) в рамках двустороннего договора. Языковой материал представляет собой неразмеченный корпус текстов, состоящий из тридцати диалогов и полилогов, а также сопроводительных социолингвистических данных о говорящих, включая возраст, пол, место учебы, город проживания, место проведения разговора, статус участников по отношению друг к другу. Работа над “сырым” языковым материалом осуществлялась в несколько этапов.

1. Этап I. Первичная обработка корпуса — подготовка корпуса к анализу (соотнесение экстралингвистических данных с кодами, используемыми для обозначения коммуникантов; перекодировка текста в соответствии с целями исследования; сегментирование текста на структурные составляющие). На данном этапе текст был разделен на 30 транскриптов, составляющих 3 структурных блока: транскрипты, для которых представлены экстралингвистические данные (обозначенные нами сквозной нумерацией № 1–19); транскрипты, для которых экстралингвистические данные отсутствуют (№ 20–30). Известно, что диалоги № 1–29 относятся к 1998–1999 гг., в то время как диалог № 30 был записан и транскрибирован в 2004 г. Каждому транскрипту был присужден порядковый номер (1–30),

каждой реплике присужден код, состоящий из номера транскрипта, номера реплики внутри транскрипта и буквы латинского алфавита для обозначения последовательности говорящих (например, «29–3 А», где 29 — номер транскрипта, 3 — номер реплики, А — идентификатор говорящего).

2. Этап II. Аннотирование (первичное аннотирование корпуса: графематический анализ, лингвистическая разметка). На данном этапе работа над корпусом привела к следующим результатам:

- проведено форматирование текста и графическое оформление иноязычных элементов;
- осуществлена первичная морфологическая разметка единичных переключений, представленных английскими лексемами: выделены самостоятельные части речи англоязычных элементов (существительные, прилагательные, глаголы, наречия, числительные и местоимения) и служебные (предлоги, союзы, междометия);
- выделены случаи употребления английских глаголов с грамматической адаптацией посредством аффиксальной деривации и без нее, а также употребления английских прилагательных и предлогов в смешанных конструкциях;
- размечены случаи приобретения категории рода у лексем английского языка посредством их употребления с артиклем (мужского или женского рода) французского языка;
- выявлены полнофразовые интрасентенциальные (внутри предложения) и интерсентенциальные (между предложениями) переключения на английский язык;
- проанализированы случаи употребления диалектизмов акадийского региона (синтаксически, фонетически, лексически или семантически отличающихся от норм стандартного французского языка). В связи с этим корпус был снабжен примечаниями о диалектных формах, включая их стандартно-французский эквивалент и перевод, а также особенности употребления. При этом была проведена унификация диалектных форм, ввиду вариативности их графической передачи;
- выделены системные языковые особенности акадийского субдиалекта французского языка шиака, распространенного на территории юго-востока провинции Нью-Брансуик. В частности, были зафиксированы лексико-грамматические характеристики (см. 3).

Основная часть

1. Особенности акадийского диалекта французского языка

Под акадийским французским понимается диалект французского языка, распространенный в восточных провинциях Канады. Необходимо выделить несколько ключевых факторов, повлиявших на развитие акадийского французского. Во-первых, отметим происхождение первых

поселенцев Акадии, особенности их языка, а также географическую изоляцию от Франции и франкофонов Новой Франции (Квебека) в ходе развития региона. Первые переселенцы состояли в большинстве из представителей таких западных провинций Франции, как Пуату, Шаранта, Сентонж, а также центрально-западных провинций Турень и Берри (см. рис. 1). Жители первой колонии говорили на пуатевинско-сентонжском наречии, а также туреннском и беррийском, в связи с чем, как пишет М. А. Марусенко, акадийский французский вобрал в себя черты старофранцузских диалектов, в частности, северных диалектов группы *langue d'oïl* и южных — *langue d'oc* [Марусенко 2008: 35, 41–46, 48; King 2013: 2]. Регион развивался в условиях активного англо-французского языкового контакта при доминирующем положении англофонов. Близкое соседство акадийцев с англоязычными поселениями способствовало языковой и культурной ассимиляции [King 2013: 5–6].

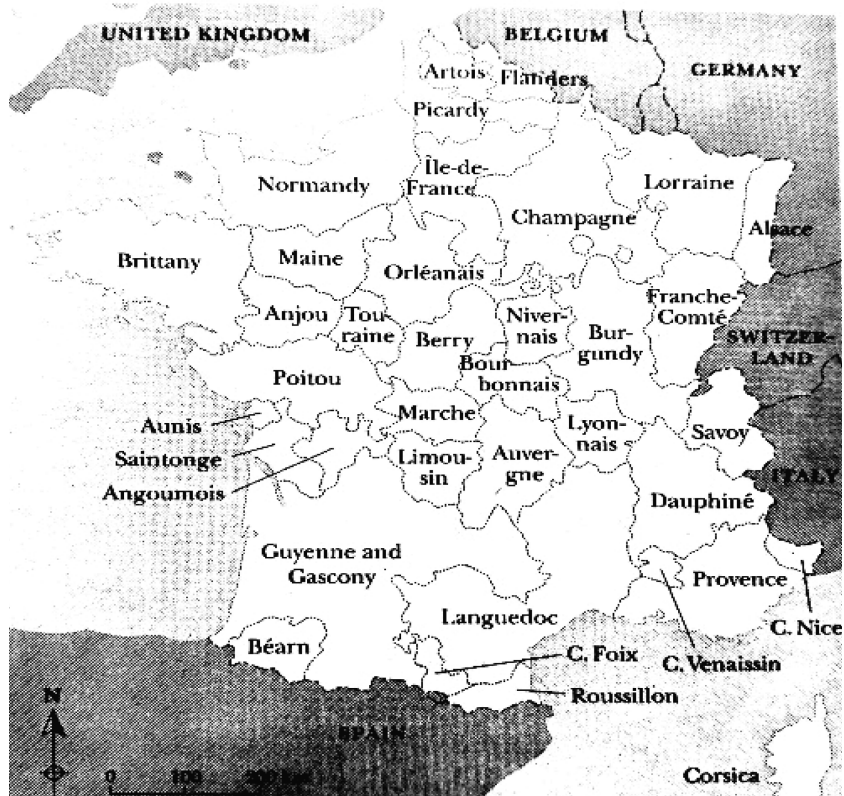


Рис. 1. Карта провинций Франции при Старом режиме

На сегодняшний день границы ареала распространения акадийского французского не соответствуют четким административным границам. Среди франкофонов-акадийцев нет полного языкового единства, уместнее будет констатировать, что акадийский французский не характеризуется жесткой кодификацией, обладает определенной степенью вариативности и может варьироваться даже в рамках одной провинции [Реферовская 2012: 61–63]. Акадия включает франкофонные сообщества, распределенные по пяти провинциям (см. рис. 2), в частности, Новая Шотландия (*Nouvelle-Écosse*), Нью-Брансуик (*Nouveau-Brunswick*), Остров Принца Эдуарда (*l'Île-du-Prince-Édouard*), частично Квебек (*Québec*) (Гаспе, Острова Мадлен, Кот-Нор) [Thibault 2011: 42], а также в некоторой степени Ньюфаундленд и Лабрадор (*Terre-Neuve et Labrador*).

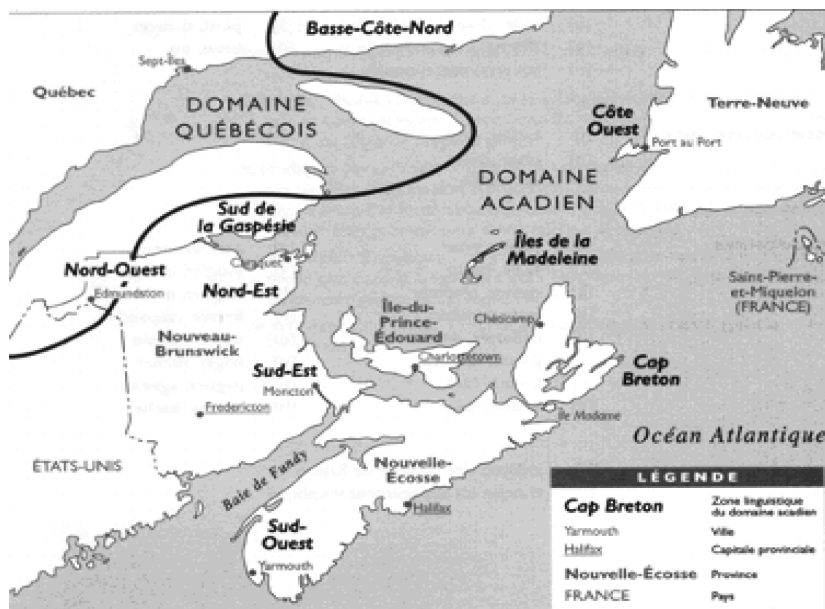


Рис. 2. Ареал распространения акадийского французского

2. Языковая ситуация в провинции Нью-Брансуик

Нью-Брансуик является единственной официально двуязычной административной единицей Канады. По данным последней переписи населения 2016 г., франкофоны Нью-Брансуика составляют меньшинство: для 28% населения французский является языком домашнего общения; 31,4% населения владеют французским в качестве родного (материнского) языка [Census 2016]. Как отмечает А. Тибо, расселение франкофонов представлено неравномерно, в частности, на северо-за-

паде в районе города Эдмунстон и на северо-востоке — в районе Каракета и залива Шалёр проживают одноязычные франкофоны, в то время как на юго-востоке провинции уровень билингвизма среди франкофонов выше, в частности, главным франкофонным центром является городская агломерация Монктон [Thibault 2011: 42]. Таким образом, выделим два франкофонных центра провинции: г. Эдмунстон, в котором франкофоны составляют 93% населения, и г. Монктон, насчитывающий 34,2% франкофонов.

Специалист в области изучения акадийского французского Л. Перроне подчеркивает репрезентативный характер французского языка, распространенного на юго-востоке Нью-Брансуика, поскольку он наиболее ярко отражает специфику и языковые характеристики акадийского диалекта. Вместе с тем влияние языкового контакта значительно сильнее сказалось на языковой ситуации. Помимо традиционных характеристик акадийского диалекта в регионе выделяется контактная языковая формация смешанного характера — шиак (*chiac*) [Péronnet 1989: 6].

3. Социолингвистические и лексико-грамматические характеристики шиака

Шиак как субдиалект акадийского французского, сложившийся на территории провинции в условиях интенсивного языкового контакта, обладает лексическими, фонетическими и морфосинтаксическими особенностями, которые определяются как спецификой акадийского и квебекского диалектов французского языка, так и двуязычным статусом носителей, их возрастом, уровнем образования и коммуникативной ситуацией в целом [Kasparian 2008: 120]. Как указывает М.-М. Рой, существует четыре точки зрения о выделении ареала распространения шиака: шиак ограничивается г. Монктон; шиак распространен в окрестностях г. Монктона; ареал включает г. Монктон и прилегающие города; шиак распространен по всей территории юго-востока провинции Нью-Брансуик [Приводится по Kerrie 2002: 52].

Основываясь на данных, полученных в результате анализа и первичного аннотирования корпуса, представляется возможным выделить несколько особенностей лексико-семантической и грамматической системы шиака, в частности, с точки зрения вариативности, наблюдаемой среди субдиалектов акадийского французского и с учетом влияния английского языка на речевое поведение на шиаке: I) вопросительные частицы *-ti / -tu* в вопросах закрытого типа; II) употребление вспомогательных глаголов *avoir / être*; III) правила спряжения глаголов и диалектные глагольные формы; IV) позиция предлогов; V) употребление наречий-интенсификаторов английского языка и способы передачи превосходной степени сравнения; VI) архаичные формы предлога *chez* (в чьем-то доме).

I. С точки зрения прескриптивной грамматики образование вопросов закрытого типа во французском языке осуществляется с помощью вопросительного оборота *est-ce que* или инверсии двух типов: когда подлежащее выражено местоимением; когда подлежащее выражено сочетанием существительного и местоимения, т. е. SN+V+PP3 (sg / pl). В случае если глагол, участвующий в инверсии, оканчивается на гласную, между ним и личным местоимением ставится частица *-t-*. В разговорной речи преобладает маркирование вопросительного предложения повышающейся интонацией и использование вопросительного оборота *est-ce que*. Однако в акадийском диалекте, в частности, в шиаке, при образовании вопросов закрытого типа характерно использование вопросительных частиц *-ti / -tu*: (1) “*al a arrivé pis al a dit «Mémère je peux-ti faire ça [?] / je peux-ti balayer ta galerie pour toi [?]»*”¹ (она пришла и сказала: «Бабуся, могу я это сделать? / тебе подмести коридор?»).

Среди возможных причин возникновения данных частиц выделяется, во-первых, принцип экономии речевых усилий, в связи с которым для разговорного языка характерно снижение частотности употребления инверсии при образовании вопросов закрытого типа; во-вторых, тенденция к выпадению в вопросе конечной согласной /l/ у местоимения 3-го л. ед. ч. м. р. *il*. Исходя из этого, появление частицы *-ti* можно представить следующим образом: “*Va t-il partir bientôt?*” > “*Va t-i[l] partir bientôt?*” > “*Il va-ti partir bientôt?*”. Кроме того, для частицы *-tu* Р. Кинг выделяет две возможные причины возникновения: проявление языковой вариативности, в связи с чем в XX в. в некоторых диалектах французского языка Канады, в частности квебекском, появилась форма *-tu*; местоимение *tu* в слабой (безударной) форме послужило основой для появления вопросительной частицы *-tu* [King 2013: 64]:

(2) “*Je suis-tu obligé de manger ma soupe?*” (Мне обязательно есть суп?) [Vecchiato 2000: 142].

Отметим, что, согласно имеющимся языковым данным, употребление на севере и юге провинции различается. На северо-востоке наблюдается вариативность *-ti / -tu* для существительных и местоимений вне зависимости от лица и числа (см. прим. 3), за исключением 2 л. мн. ч. *vous*, с которым употребляется инверсия. Для юго-востока выявить тенденцию к разграничению употребления частиц сложнее в связи с недостаточностью языкового материала. Однако данные, полученные при анализе корпуса, свидетельствуют о вариативности *-ti / -tu* для 3-го л. ед. ч. (см. прим. 4),

¹ Пример (здесь и далее, в случае отсутствия источника) взят из исследуемого корпуса — *Corpus Chiac-Kasparian H99* (Kasparian 1999, Université de Moncton). Нижнее подчеркивание указывает на диалектные формы: 1) местоимение *al (elle)*; 2) употребление вспомогательного гл. *avoir* с глаголами движения.

употреблении инверсии и частицы *-tu* для 2-го л. ед. ч. (см. прим. 5–6), формы *-ti* для 1-го л. ед. ч. (см. прим. 7):

(3) “Pis les enfants fument-*ti*?” (А дети курят?) [King 2013: 67];

(4) “ta mère va-*ti* comprendre ça [?]” (поймет ли это твоя мама?);

“Il y a-*tu* beaucoup de monde qui y va [?]” (Много народу туда идет?);

(5) “<...> *sais-tu* qu’est-ce que faire des plans à l’avance [?]” (знаешь ли ты вообще, что значит строить планы заранее?);

(6) “Mame tu vas-*tu* à l’épicerie aujourd’hui [?]” (Мам, ты сегодня идешь в бакалею?);

(7) “*Chu-ti* pas chanceuse hein [?]”¹ (Ну разве мне не везет?).

II. В шиаке также наблюдается вариативность в выборе вспомогательного глагола при образовании составных временных форм, в частности, доминирует употребление вспомогательного глагола *avoir* с глаголами движения, такими как *monter*, *arriver*, *sortir*, *venir*; глаголами смены состояния, такими как *apparaître*, *naître*; глаголами, выражающими продолжение уже имеющегося состояния, такими как *rester* и др., а также возвратными глаголами:

(8) “Aujourd’hui Ralph a venu me ouère”² (Сегодня Ральф приходил меня проведать);

(9) “Quaille / hier soir là je *m’ai* endormi là / j’étais assez fatiguée quand je *m’ai* couché”³ (Да / я уснула вчера вечером / я была очень усталая, когда легла спать);

(10) “On était en train de danser moi pis yelle pis Mylène ok [?] <...> pis anyways je continuais à danser pis la seule raison pourquoi j’ai *resté(e)* sur la piste de danse c’est parce que ma chanson a *venu*”⁴ (Мы танцевали, я, она и Милен, понятно? <...> потом, короче, я продолжила танцевать, и единственная причина, почему я осталась на танцполе, это потому что играла моя песня).

В стандартном французском языке возвратные и непереходные глаголы, упомянутые выше, употребляются со вспомогательным глаголом *être* при образовании сложных глагольных форм. В акадийском диалекте

¹ Нижнее подчеркивание указывает на диалектные формы: 1) *chu* (*je suis*); 2) междометие *hein* также выступает маркером вопросительного предложения, переводится как «да?», «а?».

² Нижнее подчеркивание указывает на диалектную форму, отражающую устаревшее произношение, сохранившееся в акадийском французском: окончание *-oir(e)* произносится как [wɑŋ] или [wɛ:ŋ], для отображения используется написание *-ouer* и *-ouère* [Geddes: 33, 61].

³ Нижнее подчеркивание указывает на диалектную форму: 1) *ouaille* (*oui*); 2) *assez* используется в качестве эквивалента *tellement* (см. подробнее пункт V).

⁴ Нижнее подчеркивание указывает на диалектную форму — местоимение *yelle* (*elle*); англоязычные включения.

вариативность вспомогательных глаголов *avoir* / *être* сохраняется из старофранцузского. В работе Дж. Геддса о территориальных вариантах акадейского французского 1908 г. отмечается, что «спряжение нейтральных и возвратных глаголов происходит, как правило, с глаголом *aw* :r¹, формой французского глагола *avoir*» [Geddes 1908: 129] (см. прим. 11). Кроме того, автор также отмечает, что в канадском французском (противопоставляя его акадейскому французскому) возвратные глаголы употребляются, за исключением редких случаев ошибок, со вспомогательным глаголом *être* [Geddes 1908: 161].

(11) “*je m’ai promené tout seul hier soir*” (вчера вечером я прогулялся в одиночестве) [Geddes 1908: 161].

III. Еще одной особенностью функционирования глагольной системы шиака являются вариативность инфинитивных форм и специфические правила спряжения. Выделим несколько тенденций. Во-первых, наблюдается вариативность употребления современных инфинитивных форм и тех, что вышли из употребления во Франции. В качестве примеров приведем глаголы *s’asseoir* и *essayer*, имеющие в шиаке инфинитивные формы *s’assir* (см. прим. 12) и *assayer* / *asseyer* (см. прим. 13), соответственно [Poirier 1993: 42; Клоков 2005: 295].

(12) “A: *Même moi c’est ça [un gâteau] que je veux pour ma fête... // B: Ah oui hein / tu vas t’assir là pis manger tout ça là*” (Что до меня, я именно это [пирог] хочу на мой праздник... // A, ну да / ты усядешься и все сам съешь);

(13) “*Quosse qu’al asseye de faire [?]*” (Что она пытается сделать?).

Во-вторых, отмечается наличие специфических диалектных окончаний 1-го и 3-го л. мн. ч. в изъявительном наклонении у правильных, а также неправильных глаголов, в том числе *avoir* и *être*, при их употреблении в качестве вспомогательных. В частности, наблюдается употребление окончания *-ons* / *-ont*, а также *-iont* у 3-го л. мн. ч. в *Imparfait de l’Indicatif* (см. прим. 14–16):

(14) “*Tu manges pas de ketchup / i avont oblié ta sauce*” (Ты не ешь кетчуп / они забыли твой соус);

(15) “A: *Ah / c’est une chanson de Van Morrison // B: Ben c’est pas zeux qui l’avont fait / but c’est zeux qui la chantont*” (A / это одна из песен Вана Моррисона // Ну, не они ее придумали / но это они ее исполняют);

(16) “A: *Des hardes / i étiont toutes défait[e]s quoi [?]*2 // B: *Non / i étiont pas défait(e)s / i me fitiont pas*” (Вещи / они что были совсем заношенные?) //

¹ Дж. Геддс использует фонетическое написание для графической иллюстрации особенностей произношения региональной формы глагола *avoir* в акадейском диалекте.

² Нижнее подчеркивание указывает на диалектизмы: 1) лексема *hardes* (станд. фр. *vêtements*); 2) личное местоимение *ils* реализуется в речи формами *i* / *il*. Маркер множе-

(Нет / они не были заношенными / они мне уже не подходили по размеру). В данном примере отметим употребление английского глагола *to fit*, адаптированного благодаря аффиксальной деривации.

Кроме того, в шиаке также выявляется возможность употребления особой формы 1-го л. ед. ч. (характерной для акадийского диалекта), в которой личное местоимение *je* выступает конкурирующим вариантом местоимения 1-го л. мн. ч. *nous*, принимая окончания *-ons* и *-ions*, соответственно (см. прим. 17–18):

(17) “*Je sons pas des esclaves / je sons pas des / des animaux icitte¹ là...*” (Мы здесь не умственно ограниченные² / мы не / животные);

(18) “A: *Oui / Avez-vous déjà fait des / des tricks su quelqu’un?* // B: *Je faisons trop de tricks quasiment*” (Да / Вы тогда уже подшучивали над кем-то? // Можно сказать, мы слишком много прикалывались) [King et al. 2004: 245–246].

Необходимо подчеркнуть, что, с одной стороны, данная система глагольных окончаний основана на экономии усилий и, имея меньше переменных, выглядит, по мнению В. Т. Клокова, симметричнее, чем система литературного (стандартного) французского; с другой стороны, данные обстоятельство способны тому, что функция согласования с подлежащим у глаголов становится менее репрезентативной, поскольку глагольные флексии теряют эффективность для дифференциации категорий лица и числа [Клоков, 2005: 298; Peronnet 1993: 110].

IV. На уровне грамматической системы выделим также постпозицию предлога относительно определяемой им именной группы или употребляемого с ним глагола. В стандартном французском зависимое слово должно следовать за предлогом [Grevisse, Goosse 2008: 1330]. Кроме того, для предлогов также характерна начальная позиция в клаузе (см. прим. 19). Таким образом, при образовании вопроса или придаточного предложения наблюдается движение вопросительной группы в начало предложения вместе с предлогом. Данное явление известно также как «правило о вовлечении» или т. н. *pied-piping* (PP) [Джеймс 1989: 255]:

(19) “*Les anglaises avec qui je parlais, ils le croyaient pas*”³ (Англичанки, с которыми я говорил, они в это не поверили).

ственного числа, выраженный звуком [z] при связывании, нейтрализуется [Peronnet 1993: 110].

¹ Нижнее подчеркивание указывает на диалектную форму: наречие места *icitte* (*ici*).

² В корпусе к слову “*esclaves*” представлена помета — “*des personnes dont l’esprit est borné*”, однако, согласно толковому словарю акадизмов П. Пуарье, данное слово в акадийском французском многозначно, включая значения «нищий» (*miséreux*), «тот, кого истязают» (*maltraité*), «мальчик для битья» (*souffre-douleur*) и «умственно ограниченный» (*esprit borné*) [Poirier 1993: 192].

³ Пример взят из корпуса квебекского французского Ottawa-Hull III. Поплак — *Corpus du français parlé à Ottawa-Hull* (Poplack 1989, респондент № 082, строка № 1695).

Для шиака как субдиалекта акадийского французского языка, а также для квебекского французского [Poplack et al. 2012: 206] характерна позиция предлога, при которой зависимое слово не следует непосредственно за предлогом, напротив, предлог может употребляться в придаточных определительных (см. прим. 20–22) и вопросительных предложениях (специальные вопросы с вопросительными местоимениями) (см. прим. 23):

(20) “Tu sais <...> un gars que je *chume avec* à Clément / *ben i* a le cancer” (Ты знаешь тот парень / один парень, с которым я дружу в школе Клеман / ну, у него рак);

(21) “C’est la chose que je veux vous parler *de*” (Это то [та вещь], о которой я хочу с Вами поговорить) [Roy 1979: 60];

(22) “Puis il y a bien des affaires j’avais de la *misère avec*”¹ (И есть много вопросов, с которыми у меня были сложности);

(23) “Où ce-qu’elle vient *de*?” (Откуда она пришла?) [King 2013: 91].

Ш. Поплак замечает, что при описании данного явления в научной литературе наблюдается терминологический плюрализм: для обозначения предлога без зависимого слова ученый использует термины «осиротевшие предлоги» (*orphaned prepositions*) (OP), для обозначения конечной позиции предлога в придаточных определительных и вопросительных предложениях используется термин «вынесение предлога» (*preposition stranding*) (PS). Кроме того, также возможно использование термина «непереходные предлоги» (*intransitive prepositions*). Среди возможных причин проявления данного феномена, как правило, учитываются конвергентные процессы в условиях языкового контакта, а также практика переключения кодов среди билингов, выступающая катализатором внедрения и распространения во французском языке функциональных особенностей предлогов английского языка. С другой стороны, отмечается вероятность появления вынесения предлога в ходе внутренней эволюции канадского французского языка [Poplack et al. 2012: 204, 206, 217].

Среди возможных факторов, влияющих на позицию предлога, выделяют лексико-семантическую составляющую, в том числе его семантический вес (*semantic weight*) и роль в смысловой интерпретации глагола; синтаксическую конструкцию; регистр и стиль речи, конвергентные процессы, в частности, переключение кодов [Poplack et al. 2012: 205–207] и влияние языкового контакта [Roberge 2012: 245].

Синтаксическая конструкция также оказывает влияние на позицию предлога. Как уже отмечалось, придаточные определительные предложения в стандартном французском языке требуют PP, однако в шиаке в них возможно как вынесение предлога (PS) (см. прим. 24), в том числе в смешанных конструкциях V(Fr)+PREP(En) (см. прим. 25), так и поглощение предлога (*absorption*) (см. прим. 26), последнее также наблюдается в квебекском французском (см. прим. 27).

(24) “T’as une tite tasse là tu payes euh trois piastres pour” (У тебя маленькая кружка, за [которую] ты заплатил три доллара);

(25) “Quosse tu parle about [?]” (О чем ты говоришь?);

(26) “Ah ben des petites affaires là <...> que t’as pas besoin [de]” (А, лишки / как ты говоришь / [в] которых у тебя нет нужды). В данном примере предлог *de*, употребляемый в обороте *avoir besoin de*, в придаточном определительном предложении должен трансформироваться в относительное местоимение *dont*, однако вместо этого используется *que*, предлог *de* при этом поглощается (употребление в квадратных скобках указывает на отсутствующий элемент в высказывании). Схожая ситуация представлена в следующем примере:

(27) “Il y avait un gars que je parlais [à] une journée, puis j’étais bien chum avec”¹ (Был один парень, [с] которым я однажды говорил, и я был очень дружелюбен с ним).

Учитывая контактную ситуацию, разумно допускать вероятность того, что влияние английского языка на функционирование предлогов в акадейских субдиалектах имеет основания. В английском языке вынесение предлога возможно в вопросительных предложениях, в придаточных определительных предложениях и в пассивных конструкциях. Как отмечает И. Роберж, ситуация языкового контакта в регионе, вероятно, способствовала лексическому заимствованию, в частности, английских предлогов. В случае если предрасположенность к вынесению связана с характеристиками предлога, грамматические особенности функционирования предлогов английского языка могли быть перенесены на грамматику вариантов французского языка в Акадии. Кроме того, автор предполагает, что вынесение предлогов сначала стало возможным в придаточных предложениях, а затем распространилось на специальные вопросы. Таким образом, ученый указывает на возможность того, что заимствование, обусловленное языковым контактом, явилось стимулом к изменению в грамматической системе диалектов французского языка в Акадии [Roberge: 245].

V. Наречия в шиаке, в частности наречия-интенсификаторы, также отражают контактную ситуацию в Акадии. Отметим использование французских и английских наречий в значении, не характерном для них в английском и стандартном французском языках. Выделим функционирование наречия *right* и особенности образования суперлатива.

Как свидетельствуют эмпирические данные, например, сопоставительное исследование М.-Э. Перро (см. прим. 28), а также данные корпуса *Corpus Anna-Malenfant* (см. прим. 29) и представленного нам *Chiac-Kasparian* (см. прим. 30), на юго-востоке провинции Нью-Брансуик частотным наречием английского языка, функционирующим в качестве частицы-ин-

¹ Пример взят из корпуса квебекского французского Ottawa-Hull III. Поплак — *Corpus du français parlé à Ottawa-Hull* (Poplack 1989, респондент № 013, строка № 1645).

тенсификтора, является *right*. Такой же функционал зафиксирован у данного наречия в корпусе *Grosses Corques* Новой Шотландии (см. прим. 31).

(28) “J’ai *right* aimé ça” (Мне это очень нравится) [цит. по King 2013: 101];

(29) “ah ouin i est *right* comme captivant ce livre-là”¹ (да, эта книга очень, типа, захватывающая);

(30) “A: Ah moi je veux ouère ceT movie-là ² // B: Moi itou³ / ça paraît *right* comique” (Я хочу посмотреть этот фильм // Я тоже / он кажется очень забавным);

(31) “Ils restiont *right* proche à York University” (Они останавливались прямо рядом с Йоркским университетом) [King 2013: 101].

В шиаке в качестве интенсификатора также активно употребляется наречие *assez*, однако в данной функции оно теряет значение средней степени интенсивности и выступает эквивалентом наречий степени *tellement* и *très* (см. прим. 32–33). Примечательно, что в акадийском французском наречие *assez* сохранило свое латинское и старофранцузское значение (лат. *ad+satis* > *adsates* > *asets* > *ases* > ст. фр. *asez* > *assez* [CNRTL]) «большого объема, количества» (*beaucoup*), «чрезмерности» (*excessivement, énormément*), «превосходной степени» (*au superlatif*) [Poirier 1993: 43].

(32) “...c’est comme ah je me suis réveillée là j’étais *assez* frustrée là” (ну я проснулась и была настолько разочарована этим);

(33) “j’avais *assez* de la misère à me rouvrir les yeux / j’étais *assez* fatiguée...” (Мне было так трудно снова открыть глаза / я была очень уставшей). В данном примере выделим употребление выражения *avoir de la misère*, которое распространено как в акадийском, так и в квебекском французском.

VI. Акадийский диалект сохранил две старофранцузские формы предлога *chez*: (1) *chus* (лат. *casa* > стр. фр. *chies* > современный фр. *chez*); (2) *su* (лат. *super* «на/над» или лат. *sursum* «наверху»). Отмечается, что вопрос этимологии современной акадийской формы *su* остается открытым из-за тенденции к отпадению конечной согласной в процессе развития языка. Так, возможно, форма *su* происходит от предлога *sur* (лат. *super*), который приобрел значение, эквивалентное *chez* в период XIV — начала XV в., или предлога *sus* (лат. *sursum*), употребление которого в схожем

¹ Пример взят из корпуса спонтанной устной речи учащихся школы г. Дьепп, представленного профессором Монктонского университета Ж. Шевалье — *Corpus Anna-Malenfant* (Chevalier, Gauvin 1994, Corpus Anna-Malenfant, Université de Moncton, респондент № 012, код диалога AM011-012).

² В корпусе к указательному прилагательному *ce* дается помета о фонетической реализации конечного звука [t] перед существительными мужского рода (+/- прилагательное), начинающимися с согласной, например, “*ceT gars*”, “*ceT petit bruit*”.

³ Нижнее подчеркивание указывает на архаичную форму, употребляемую в акадийских диалектах: *itou* (*aussi; de même*).

значении также зафиксировано в данный период [King 2013: 61]. В Нью-Брансуике отмечается преобладание формы *su* и стандартного *chez*:

(34) “Ben si ça starte à neuf heures on peut aller le watcher *su* Nicole ou on peut aller le watcher *chez* nous” (Ну, если оно начнется в девять, можно пойти посмотреть [канал] к Николь домой или пойти посмотреть у меня);

(35) “pis Carole / ché qu’a va pas caller parce qu’al est *su* son père”¹ (а Кэрол / я знаю, она не будет звонить, потому что она у отца).

Выводы. В статье представлены отличительные особенности шиака в качестве субдиалекта акадийского французского, распространенного на территории двуязычной канадской провинции Нью-Брансуик. Подчеркнем контактную природу шиака, выраженную на уровне языка в функционировании элементов его лексико-грамматической системы, а на уровне речи — в языковых практиках жителей крупнейшего города юго-восточной части провинции — г. Монктон и прилегающих территорий. Речевое поведение монктонцев отличается вариативностью и характеризуется частотным включением англицизмов, употреблением смешанных конструкций, переключением языкового кода в условиях неформального общения, что представляет исследовательский потенциал для дальнейшего изучения. В частности, зафиксировано употребление архаичной формы *su* для выражения значения «в чем-то доме», вышедшей из употребления во Франции; описано вариативное использование вопросительных частиц *-ti* / *-tu* при образовании вопросов закрытого типа; выявлено доминирование употребления глагола *avoir* в качестве вспомогательного при образовании сложных глагольных форм у возвратных и непереходных глаголов, а также диалектные глагольные формы и специфические правила спряжения глаголов; поставлен вопрос о влиянии контактного положения на функционирование предлогов, в частности, возможность вынесения предлогов вследствие заимствования функциональных возможностей английских предлогов в акадийском французском и употребления смешанных конструкций; обнаружены семантические и функциональные особенности употребления наречий-интенсификаторов, в том числе для передачи значения превосходной степени сравнения.

Благодарности

Авторы выражают глубокую благодарность директору Лаборатории анализа текстовых данных Монктонского университета С. Каспарьян за предоставленный доступ к языковым корпусам. Авторы также признательны д.ф.н., профессору О.А. Сулеймановой за ценные рекомендации и замечания при работе над статьей.

¹ Употребление «é» указывает на замену диакритического знака для иллюстрации закрытого звука в диалектном произношении (ср. станд. фр. père).

Acknowledgements

The authors would like to express gratitude to Dr. Sylvia Kasparian, Head of Textual data Analysis Laboratory and Full Professor of Université de Moncton for generously allowing us access to the corpora. We also thank Dr. Olga A. Souleimanova, Professor, Head of the Department of Linguistics and Translation Studies (Institute of Foreign Languages, Moscow City University) for expert advice and valuable feedback.

Литература

Джеймс К. Контрастивный анализ // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXV. Контрастивная лингвистика / Сост. и ред. В. П. Нерознак, В. Г. Гак. Москва: Прогресс, 1989. С. 205–306.

Клоков В. Т. Словарь французского языка в Канаде: Квебек и Акадия. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 2004. 524 с.

Клоков В. Т. Французский язык в Северной Америке. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 2005. 400 с.

Марусенко М. А. Франкофония Северной Америки. Т. 2. Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. 292 с.

Реферовская Е. А. Французский язык в Канаде. Москва: Либроком, 2012. 216 с.

Geddes J. Study of an Acadian-French Dialect Spoken on the North Shore of the Baie-Chaleurs. Saale: Max Niemeyer, 1908. 316 p.

Grevisse M., Goosse G. Le bon usage: grammaire française. Bruxelles: De Boeck & Larcier, 2008. 1545 p.

Census 2016 — New Brunswick Analysis. Topic: Language. P. 2 URL: <https://www.nbjobs.ca/sites/default/files/2017-09-18-census-language.pdf>.

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales: adv. assez URL: <https://www.cnrtl.fr/definition/assez>.

Kasparian S. The Acadian Nooj module: Automatic processing of a regional oral French // *Linguistica Atlantica*. 2008. № 29. P. 117–135.

Keppie C. Les attitudes à l'égard du chiac. Master's thesis. Carleton University, 2002. 147 p.

King R. Acadian French in time and space: a study in morphosyntax and comparative sociolinguistics // Publication of the American Dialect Society. Durham: Duke University Press, 2013. 159 p.

King R. et al. First-person plural in Prince Edward Island Acadian French: The fate of the vernacular variant je...ons // *Language Variation and Change*. № 16 (3), 2004. P. 237–255.

Péronnet L. La situation du français en Acadie: de la survivance à la lutte ouverte // *Le français dans l'espace francophone* / Eds. D. Robillard, M. Beniamino. Paris: Honoré Champion Éditeur, 1993. T. 1. P. 101–116.

Péronnet L. Le parler acadien du Sud-Est du Nouveau-Bunswick: Éléments grammaticaux et lexicaux. New-York: Peter Lang, 1989. 270 p.

Poirier P. Le Glossaire acadien / Ed. P. M. Gérin. Moncton: Éditions d'Acadie; Moncton: Centre d'études acadiennes, 1993. 500 p.

Poplack S. et al. Phrase-final prepositions in Quebec French: An empirical study of contact, code-switching and resistance to convergence // *Bilingualism: Language and Cognition*. № 15 (2). 2012. P. 203–225.

Roberge Y. On the distinction between preposition stranding and orphan prepositions // *Bilingualism: Language and Cognition*. № 15 (2). 2012. P. 243–246.

Roy M.-M. Les conjonctions anglaises BUT et SO dans le français de Moncton: une étude sociolinguistique de changements linguistiques provoqués par une situation en contact. Mémoire de maîtrise. Université de Québec à Montréal, 1979. 188 p.

Statistics Canada: English, French and official language minorities in Canada, 2016 URL: <https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016011/98-200-x2016011-eng.cfm>.

Thibault A. Un code hybride français/anglais? Le chiac acadien dans une chanson du groupe Radio Radio // *Zeitschrift für französische Sprache und Literatur*. Stuttgart, 2011. T. 121. № 1. P. 39–65.

Vecchiato S. The ti/tu interrogative morpheme in Québec French // *Generative Grammar in Geneva*. № 1. 2000. P. 141–163.

References

Dzhejms K. Kontrastivnyj analiz // *Novoe v zarubezhnoj lingvistike*. Vy`p. XXV. Kontrastivnaya lingvistika / Sost. i red. V. P. Neroznaka, V. G. Gak. Moskva: Progress, 1989. S. 205–306.

Klokov V. T. Slovar` francuzskogo yazyka v Kanade: Kvebek i Akadiya. Saratov: Izd-vo Sarat. un-ta, 2004. 524 s.

Klokov V. T. Slovar` francuzskogo yazyka v Kanade: Kvebek i Akadiya. Saratov: Izd-vo Sarat. un-ta, 2004. 524 s.

Marusenko M. A. Frankofoniya Severnoj Ameriki. T. 2. Sankt-Peterburg: Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2008. 292 s.

Referovskaya E. A. Francuzskij yazyk v Kanade. Moskva: Librokom, 2012. 216 s.

Geddes J. Study of an Acadian-French Dialect Spoken on the North Shore of the Baie-Chaleurs. Saale: Max Niemeyer, 1908. 316 s.

Grevisse M., Goosse G. Le bon usage: grammaire française. Bruxelles: De Boeck & Larcier, 2008. 1545 s.

Census 2016 — New Brunswick Analysis. Topic: Language. P. 2 URL: <https://www.nbjobs.ca/sites/default/files/2017-09-18-census-language.pdf>.

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales: adv. assez URL: <https://www.cnrtl.fr/definition/assez>.

Kasparian S. The Acadian Nooj module: Automatic processing of a regional oral French // *Linguistica Atlantica*. 2008. № 29. S. 117–135.

Keppie C. Les attitudes à l'égard du chiac. Master's thesis. Carleton University, 2002. 147 p.

King R. Acadian French in time and space: a study in morphosyntax and comparative sociolinguistics // *Publication of the American Dialect Society*. Durham: Duke University Press, 2013. 159 p.

King R. et al. First-person plural in Prince Edward Island Acadian French: The fate of the vernacular variant je...ons // *Language Variation and Change*. № 16 (3), 2004. P. 237–255.

Péronnet L. La situation du français en Acadie: de la survivance à la lutte ouverte // *Le français dans l'espace francophone* / Eds. D. Robillard, M. Beniamino. Paris: Honoré Champion Éditeur, 1993. T. 1. P. 101–116.

Péronnet L. Le parler acadien du Sud-Est du Nouveau-Bunswick: Éléments grammaticaux et lexicaux. NY: Peter Lang, 1989. 270 p.

Poirier P. Le Glossaire acadien / Ed. P. M. Gérin. Moncton: Éditions d'Acadie; Moncton: Centre d'études acadiennes, 1993. 500 p.

Poplack S. et al. Phrase-final prepositions in Quebec French: An empirical study of contact, code-switching and resistance to convergence // *Bilingualism: Language and Cognition*. № 15 (2). 2012. P. 203–225.

Roberge Y. On the distinction between preposition stranding and orphan prepositions // *Bilingualism: Language and Cognition*. № 15 (2). 2012. P. 243–246.

Roy M.-M. Les conjonctions anglaises BUT et SO dans le français de Moncton: une étude sociolinguistique de changements linguistiques provoqués par une situation en contact. Mémoire de maîtrise. Université de Québec à Montréal, 1979. 188 p.

Statistics Canada: English, French and official language minorities in Canada, 2016 URL: <https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016011/98-200-x2016011-eng.cfm>.

Thibault A. Un code hybride français/anglais? Le chiac acadien dans une chanson du groupe Radio Radio // *Zeitschrift für französische Sprache und Literatur*. Stuttgart, 2011. T. 121. № 1. P. 39–65.

Vecchiato S. The ti/tu interrogative morpheme in Québec French // *Generative Grammar in Geneva*. № 1. 2000. P. 141–163.

Сведения об авторах: Лана Руслановна Зурабова; Московский городской педагогический университет; старший преподаватель кафедры английской филологии, аспирант кафедры германистики и лингводидактики Института иностранных языков; ORCID 0000-0001-5053-0745; ZurabovaLR@

mgpu.ru; сфера научных интересов: канадские исследования, переключение кодов, двуязычие.

Елена Георгиевна Борисова; доктор филологических наук; профессор; Московский городской педагогический университет; профессор кафедры германистики и лингводидактики Института иностранных языков; ORCID 0000-0003-3878-5344; ecomconf@list.ru; сфера научных интересов: лингвистическая прагматика, лексическая и грамматическая семантика, социолингвистика.

The author's profile: Lana Ruslanovna Zurabova; Moscow City University; assistant professor at the Department of English Philology, postgraduate student at the Department of Germanic Studies at the Institute of Foreign Languages; ORCID 0000-0001-5053-0745; ZurabovaLR@mgpu.ru; research interests: Canadian studies, code-switching, bilingualism.

Elena Georgievna Borisova; Doctor of Philology; Professor; Moscow City University; Professor of the Department of Germanic Studies at the Institute of Foreign Languages; ORCID 0000-0003-3878-5344; ecomconf@list.ru; research interests: linguistic pragmatics, lexical and grammatical semantics, sociolinguistics.

ДИСКУРСИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 81-11

DOI: 10.25688/2619-0656.2020.14.13

ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ?

IS THERE POLITICAL CORRECTNESS IN THE ACADEMIC DISCOURSE?

Зоя Григорьевна Прошина

**Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
Москва, Россия**

Zoya Grigoryevna Proshina

**Lomonosov Moscow State University,
Moscow, Russia**

Аннотация

В статье рассматривается взаимоотношение такого понятия, как политкорректность, и концепции контактной вариантологии английского языка, нередко называемой «либеральным» направлением современной лингвистики и методики обучения английскому языку. Автор показывает, что, несмотря на некоторую схожесть политкорректности с принципами парадигмы World Englishes и их реализацией, это отличающиеся явления, имеющие разные функции и сферу употребления.

Ключевые слова: политкорректность, контактная вариантология английского языка, гуманизация.

Abstract

The article discusses the two conceptions that seem to have some similarities: political correctness and World Englishes (WE) paradigm, which is sometimes termed a ‘liberal’ movement of today’s fundamental and applied linguistics. The structure of the article includes several parts. Firstly, language manifestation of political correctness is discussed — in relation to national and ethnic features, gender, religion, social and physiological features. Secondly, the WE paradigm as a linguistic “liberation” conception is dwelt on — its major principles (pluricentricity, standard variability, equality, functionality, dynamism and continual heterogeneity of varieties) and its novelty are emphasized. Thirdly,

some theses and concepts of the WE paradigm that are sometimes regarded in the mirror of political correctness are reflected on. The author argues that general humanitarian strain towards alleviation and strive for eliminating offense typical of political correctness are evident to a certain degree in the new linguistic and linguodidactic paradigm that is characterized by a changed terminological corpus, especially obvious in the use of technical terms and development of their meanings. The author focuses on such terms as interference — transfer; errors — deviations — distinctive features of varieties; “deficient” language — interlanguage — variety; variety — pidginized basilect; English as a Foreign Language — English as an International Language — International English — English as a Lingua Franca; correctness and appropriateness of speech; native speaker of a variety; authenticity of a text; translingualism and transculturality of authors who create authentic texts in a non-native language. Finally, the author concludes that despite the similarities (liberalism, equality, euphemization, tactfulness), the principles of the WE paradigm and their implementation differ from the political correctness phenomenon in functions and spheres of use. The phenomenon of political correctness is apt to be found in everyday speech and in mass media, while the WE paradigm belongs to a research and academic discourse. Their objectives are different, with political correctness aimed at developing tolerance and the World Englishes paradigm reflecting dramatic changes in language and education awareness due to the real life situation change. The WE paradigm is not a politically correct paradigm; it merely describes and reflects the dynamically changing real life linguistic situation generated by counteraction and integration of globalism and localism.

Key words: political correctness, World Englishes paradigm, humanization.

Введение. Казалось бы, понятие политкорректности уже имеет давнюю историю, и отметить в этом явлении что-то новое и интересное довольно трудно, поскольку оно было исследовано в самых разных аспектах — в социально-политическом [Ионин 2010 и др.], философском [Шульгин 2003 и др.], культурологическом [Остроух 1998; Гуманова 1999; Палажченко 2004 и др.] и лингвистическом [Асеева 1999; Орденова 2003; Герасименко 2013 и др.]. Однако новые явления в лингвистической теории и практике преподавания английского языка заставляют задуматься о проникновении политкорректности в лингвистический и лингводидактический дискурсы.

Языковая политкорректность и ее направления

Как известно, явление политкорректности зародилось в 1970-е годы в США и обозначает определенную эвфемизацию, сглаживание наименований с целью создания более толерантного отношения к некоторым слоям населения и отдельных его представителей. Это было явление, которое британская журналистка Мишель Берди назвала ориентированным на людей (‘people-friendly’) [Berdy 2004: 31], лишенным предрассудков

(bias-free') инклюзивным языком ('inclusive' language') [Berdy: 29]. Как социолингвистический феномен политкорректность направлена в основном на следующие социальные процессы:

- **национально-этнические** (избегание некоторых наименований рас и этносов, в результате чего появились так называемые дефисные наименования: *Afro-Americans*; переименование некоторых национальных меньшинств: *Eskimos* > *Inuits*, *Gypsies* > *Roma*; слово *Oriental*, за которым тянулся след постколониальной негативной коннотации, стало заменяться словом *Asian*; начали избегать употребления некоторых фразеологизмов, содержащих этнический компонент наименования, как, например, *Dutch treat* > *separate checks*);

- **гендерные** (подчеркивание равенства полов, избегание словесного деления общества на мужчин и женщин — отсюда избегание наименований, содержащих языковой маркер гендера: *chairperson*, *mail carrier*; *manmade* > *synthetic*, *artificial*, *handmade*; при местоименной замене имен, денотаты которых относятся к мужскому и женскому роду, сначала стали использовать двойные местоимения *s / he*: *Every student must hand in his or her essay on time*, а затем появилось местоимение *they* со значением единственного числа: *A researcher has to be completely objective in their findings*, объявленное Американским диалектологическим обществом словом 2015 года¹, а в 2019 году — словом десятилетия². Крайняя степень гендерной политкорректности проявилась в изобретении новых гендерно-нейтральных местоимений³, одно из которых — *xe / ze* — подверглось лексикографической фиксации словарем Макмиллан (2015)⁴, кембриджским⁵ и оксфордским словарями английского языка⁶);

- **религиозные** (избегание названий некоторых религиозных объединений и сект: *Moonies* > *Member of the Unification Church*; *Mormon* > *Member of the Church of Jesus Christ of Latter day Saints*);

- **социальные** (например, введение нового титульного наименования женщин *Ms.* без указания на их меритальный статус; эвфемизация некоторых наименований вида деятельности, как, например, *уборщик*,

¹ URL: <https://www.americandialect.org/2015-word-of-the-year-is-singular-they>.

² URL: <https://www.americandialect.org/2019-word-of-the-year-is-my-pronouns-word-of-the-decade-is-singular-they>.

³ См.: Gender Neutral Pronoun Blog 24.01.2010 URL: <https://genderneutralpronoun.wordpress.com/category/gender-neutral-pronoun/invented-pronouns/>, а также материалы BBC от 22.09.2019 URL: <https://www.bbc.com/news/newsbeat-49754930>.

⁴ URL: <https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/xe>; URL: <https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/ze>.

⁵ URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ze>.

⁶ URL: <https://www.lexico.com/definition/ze>.

дворник — janitor, cleaning specialist, custodial technician, environmental engineer);

- **физиологические** (смягчение некоторых наименований, связанных с особенностями, анатомическими или ментальными, развития человека: *crip / handicapped > a person with a disability; retard > a person with developmental delays*). В этой области употребления эвфемистических перифраз возникла масса нелепых выражений, типа *bald > follicularly challenged*, послуживших причиной резкой критики явления политкорректности, которое к тому же имело отношение скорее не к политике, а к этике взаимоотношений между людьми.

Судя по перечисленным сферам применения, в научном дискурсе можно было обнаружить только первый и иногда второй вид политкорректности, используемый при упоминании национально-расовой принадлежности и гендерных признаков. Вместе с тем развитие антропологического подхода в лингвистике, гуманитаризация и либерализация обучения не могли не привести к некоторым изменениям языковых и лингводидактических концептов и концепций. Парадигма, известная за рубежом как *World Englishes*, а у нас в стране — как контактная вариантология английского языка, может служить ярким примером изменений, проходящих в русле политкорректности, но можно ли назвать эти переосмысления политкорректностью?

World Englishes Paradigm — парадигма либерализации

Социолингвистическая парадигма, возникшая в 80-е гг. XX в. в связи с глобальным распространением английского языка и его беспрецедентной дифференциацией, была обусловлена двумя факторами: с одной стороны, осознанием лингво-культурной¹ идентичности говорящих на локальных вариантах английского языка, с другой — с языковой либерализацией, которая последовала за утверждением национально-политических суверенитетов освободившихся от колониального господства государств [Kachru 1991]. Итогом действия этих факторов стало признание в 1970–80-х годах национальных вариантов австралийского, новозеландского, канадского и ирландского вариантов английского языка Внутреннего круга [Kachru 1985], признание постколониальных институционализированных вариантов английского языка Внешнего круга и выделение речевых вариантов (“performance varieties” [Kachru 1983]) Расширяющегося круга, осваиваемых через систему образования и используемых преимущественно в межкультурной международной коммуникации.

Исследователи, занимавшиеся изучением вариантных различий и функционирования вариантов в разных социолингвистических и культурных контекстах, объединились в 1992 г. в Международную ассоциацию иссле-

¹ Именно так: лингвистической и культурной, поэтому написанной через дефис.

дователей вариантов английского языка (International Association for World Englishes, IAWE). Свидетельством популярности новой парадигмы стало издание огромного количества книг, в том числе энциклопедических Handbook of World Englishes, крупнейшими международными издательствами Уайли-Блэкуэлл (HbWE1 2006; HbWE2 2020), Раутледж [RHbWE 2010; RHbELF 2018], Оксфорд [OHbWE 2017], Кембридж [CHbWE 2019], а также периодических научных журналов: *World Englishes* (Wiley-Blackwell), *Asian Englishes* (Routledge), *English World-Wide* (John Benjamins), *English as a Lingua Franca* (De Gruyter Mouton), *English Today* (Cambridge University Press) и др.

Чем привлекает новая парадигма? Ее новизна и революционность [Proshina 2014] заключаются в новых принципах взаимоотношения вариантов и их пользователей. Начать с того, что установлен факт, что английского языка *вообще* как такового больше нет¹ — он представлен самыми разными вариантами, функционально репрезентированными схемой трех концентрических кругов Баджа Качру [Kachru 1985].

Плюрицентричность английского языка предполагает множественную нормативную дифференциацию: эндонормы, т.е. внутренние, собственные, созданные в рамках своего собственного варианта, отличаются от варианта к варианту, особенно нормы устной речи (см. разделение норм на письменную и устную у Дэвида Кристала [Crystal 1997] и в коллективной монографии под редакцией Раймонда Хикки [Standards... 2012]). Например, отличия американского стандарта от британского проявляются в орфографии, временной системе (предпочтение Past Simple времени Present Perfect), сослагательном наклонении и др.; австралийский вариант имеет свои стандарты в произношении, в грамматике в нем отмечают выравнивание форм неправильных глаголов (*spring — sprung — sprung* вместо *spring — sprang — sprung*), использование модального глагола в отрицательной форме *mustn't* для выражения категорического отрицания (*He mustn't have arrived yet.*); в разговорной речи нормативным считается употребление уменьшительных форм (*Aussie < Australians; ambo < ambulance officer, rhodo < rhodo-dendron*). Экзонормы, или внешние нормы, имеют гораздо большую *вариативность*, чем эндонормы, поскольку их пользователи могут ориентироваться не только на британскую модель языка как прототипическую, но также включать стандарты любых других кодифицированных вариантов английского языка, используемых говорящим

¹ Именно поэтому несколько странно звучат темы диссертаций, выполненных «на материале английского языка». Сегодняшняя языковая ситуация требует обязательного указания, на материале какого варианта английского языка выполнено исследование, поскольку в разных вариантах наблюдаются черты, которые могут кардинально отличаться, и функционируют варианты также по-разному.

в зависимости от предпочтений и потребностей, ситуации языкового общения и аккомодации к участникам коммуникативного взаимодействия.

Несмотря на существование разных норм в вариантах английского языка и кажущееся подчинение экзонормативных вариантов эндонормативным, варианты признаются *равными* [Kachru, Smith 1985], как равны культуры, на которые они опираются. Любой вариант для своих пользователей является средством выражения родной культуры в межкультурном общении. С этим же связан и принцип *инклюзивности*, предполагающий существование самых разных вариантов, опирающихся на свои лингвокультуры [Davis 2010] — и, несмотря на разную степень изученности и дескрипции, варианты, чьи первичные/родные лингвокультуры отличаются, не перестают быть вариантами — жизнь показывает, что количество описанных вариантов английского языка постоянно увеличивается.

Принцип *функциональности* в данной парадигме явно преобладает над принципом прескрипции. Варианты признаются не потому, что они имеют собственные нормы, а потому, что они отличаются друг от друга по своим лингвистическим и функциональным признакам. Важным оказывается не сказать что-то правильно, а выполнить коммуникативную задачу. Поэтому в лингводидактике принцип корректности (*correctness*) уступил место принципу *приемлемости* (*appropriateness*). В связи с этим европейские лингвисты переключили фокус своего внимания на английский как лингва франка (*English as a Lingua Franca*), т.е. язык-посредник, используемый в коммуникации людей с разными родными языками, в том числе носителей разных вариантов национального языка (например, австралийцев и канадцев) [Seidlhofer 2011].

Признание важности принципа функциональности означает также признание *динамичности* изменения языка и его неоднородности в рамках даже одного варианта, который представляет собой билингвальный (поскольку варианты Внешнего и Расширяющегося круга возникают в результате языкового контакта) *лектальный континуум*, состоящий из акролекта, мезолекта и базилекта [Kachru 1983], используемых в разных ситуациях общения коммуникантами с разным уровнем образования и владения языком. *Акролект* используется в формальных ситуациях общения хорошо образованными пользователями языка, ориентирующимися на письменную норму речи. *Мезолект* характерен для образованных пользователей в ситуации неформального общения, где коммуникация идет по тенденциям, свойственным устной норме, или узусу. Иногда мезолект также может употребляться в формальных ситуациях, в тех случаях, когда говорящий по каким-то психологическим причинам отклоняется от норм письменной речи (например, из-за усталости, стресса и т. п.). *Базилект* свойствен малообразованным пользователям языка и представляет собой гибридизированное (пиджинизированное) языковое образование, кото-

рое нередко получает стигматизированное наименование типа Chinglish, Ruslish, Japlish и т.д. Вариант — это все три лекта, функционирование которых отличается по форме и сфере общения. Как верно отмечает Анна Пакир, образованный человек легко передвигается по этому континууму в зависимости от исполняемых функций: так закончивший университет сингапурец на работе использует акролект, дома в семье — мезолект, а, придя на рынок, в разговоре с неграмотным торговцем легко переходит на базилект [Pakir 1991].

Теория вариантов языка и политкорректность

Общие гуманитарные тенденции к смягчению речи и стремлению не обидеть человека, свойственные явлению политкорректности, в определенной мере сказались и на новой лингвистической и лингводидактической парадигме, что проявилось в изменении терминологического корпуса в плане узуса терминов и расширения их значения.

Тенденции политкорректности можно усмотреть в замене одних терминов другими, в исключении из узуса терминов, имеющих негативные ассоциации, причиной чему стало стремление не обидеть пользователей вариантов языка, не являющегося для них родным и несущего следы контактных явлений. Такая субституция, в частности, наблюдается в следующих случаях:

- термин *интерференция*, означающий ‘негативное воздействие родного языка на изучаемый, т. е. родного языка пользователей на продуцируемый ими английский язык’, уступил место термину *трансференция* (transfer), используемому в более общем значении — ‘перенос черт одного языка на другой’, что может восприниматься как в позитивном, так и в негативном смыслах;

- при описании любого варианта как усредненного социолингвистического явления, свойственного речевому социуму, не принято говорить о типичных *ошибках*, которые определяются в речи индивидов. Если речь идет о типичных *отклонениях* от нормы языковой модели, принятой в качестве образца, эти отклонения (*девиации*) называются *дистинктивными признаками* варианта. Они, как правило, отличают один вариант от другого, но они характеризуют речь социума, и это не значит, что каждый представитель данного социума обязательно реализует все эти дистинктивные признаки в своей речи — степень реализации зависит от желания, ситуации, уровня владения языком и контроля за своей речью. Так в научной литературе отмечалось нарочитое утрирование дистинктивных признаков своего варианта английского языка студентами стран Внешнего круга, желавшими подчеркнуть свою лингвокультурную идентичность, о чем также пишет Бадж Качру: «Признание локальных норм используется в качестве защитного механизма для уменьшения “колониальных” и “западных” коннотаций, ассоциируемых с английским языком. Такое отношение яв-

ляется способом выражения того, что можно было бы назвать ‘языковой эмансипацией’» [Kachru (1984) 2006: 452]. В других случаях утрирование дистинктивных признаков варианта может использоваться в пародийных целях, как это мы видим в ряде видеоматериалов, представляющих, например, речь русских иммигрантов (например, на канале YouTube) [см. Прошина, Ривлина 2018]. Дистинктивные признаки варианта отличаются от типичных ошибок пользователей тем, что они социальные, а не индивидуальны, системны и продуктивны. Будучи социальными явлениями, они представляют собой языковые тенденции динамического развития языка и, возможно, в какой-то момент в будущем получают свою словарную и грамматическую кодификацию, как, например, это случилось с такими явлениями британского варианта английского языка, считавшимися отклонениями, как единственное число слова *data* (*The data is collected...*) или форма множественного числа *researches*, сегодня закрепленными словарями как возможный вариант;

- избегается название варианта *дефицитным*, *ущербным* языком *deficient language*, а также *интеръязыком*. Первое не применимо по понятным причинам: язык социума является саморегулирующейся системой; дефицитность форм в нем видится некоторыми только в сопоставлении с моделью, как правило британской (всем помнится анекдотический случай, когда принц Чарльз назвал американский вариант испорченным английским¹); ни один *вариант*, в том числе и британский, не является стабильной системой, данной нам раз и навсегда; язык находится в постоянном движении, результатом чего может стать приобретение каждым вариантом характерных только для него или для группы региональных вариантов черт, которые и являются дистинктивными признаками. Вариант также нельзя считать интеръязыком, или промежуточной фоссилизированной языковой структурой между родным языком и целевым языком учащегося [Selinker 1972], поскольку он, во-первых, не является застывшим, а находится в постоянном развитии; во-вторых, сущность варианта социальна, в то время как интеръязык индивидуален и потому представляет объект исследования психолингвистики, а не социолингвистики;

- неправомерным является также отождествление *варианта* с *базилектом*, обычно получающим гибридное наименование (*Chinglish*, *Ruslish* и пр.) — базилект составляет лишь одну треть варианта, о чем речь уже шла выше;

- можно наблюдать, как постепенно происходит смена названия предмета изучения в учебных заведениях. *Иностраный язык* (English as a Foreign

¹ URL: <https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-1995-04-07-9504070064-story.html>; URL: <https://www.orlandosentinel.com/news/os-xpm-1995-03-24-9503230746-story.html>.

Language) все чаще заменяется другими терминами, поскольку у слова *foreign* в межкультурной коммуникации появилась отрицательная коннотация «отчуждение». Первыми это почувствовали американцы, организовавшие программы TESOL (Teaching English to Students of Other Languages) и создавшие огромную международную преподавательскую ассоциацию с таким же названием. С появлением концепции World Englishes стали рассуждать на тему «международности» английского языка, и произошла дифференциация терминов *International English* (IE) и *English as an International Language* (EIL) [Ловцевич 2019; Прошина 2016]. Первый термин отражает центростремительную тенденцию к акцентированию общих черт между всеми вариантами английского языка; второй фокусируется на выделении различий между вариантами, что обусловлено лингвокультурными причинами. Многие университеты Австралии, например, открыли у себя программы EIL, все больше лингводидактических книг публикуется именно об обучении EIL, а не EFL (например, [English as an International Language. Perspectives... 2009; English as an International Language in Asia 2012; Principles and Practices of Teaching English as an International Language 2012]). В европейских школах лингводидактический дискурс концентрируется преимущественно на проблемах преподавания *English as a Lingua Franca* (ELF) [English as a Lingua Franca for EFL Contexts 2019; Kiczkowiak, Lowe 2019];

- согласно принципам контактной вариантологии, в методике внимание смещается от представления о *правильности/неправильности* речи (correct / incorrect) к оценке *приемлемости (уместности) / неприемлемости* (appropriate / inappropriate);

- произошло расширение понятия «*носитель языка*». Еще в конце прошлого века Брадж Качру [Kachru 1998] утверждал необходимость признания двух типов носителей языка: генетических, получивших язык с рождения, и функциональных, для которых этот язык не первый, но ставший активным, нередко рабочим языком, зачастую повседневного общения. По сути, функциональные носители английского языка — это *носители вариантов* [Smith 2008], владеющие ими в такой степени, что их именуют «в полной мере компетентными» пользователями (“fully competent speaker of English”) [Ur 2010], которые могут с успехом использовать этот язык в различных ситуациях общения и для решения самых разных задач. С другой стороны, признание потери британцами исключительного права владения языком вызывает обоснованную критику преклонения перед носителем языка, что способствовало появлению концепции «*нэйтив-спикеризма*» (native-speakerism), обоснованную Адрианом Холлидэем [Holliday 2006] и определяемую как лингвистическая идеология, утверждающая доминирование культуры Запада;

- *аутентичными* текстами, включенными в образовательные материалы, являются не только тексты, написанные людьми, для которых английский является первым/родным языком, но также литература, получившая название *транслингвальной* или *транскультурной* литературы, которая создается функциональными носителями вариантов, для которых язык, на котором они пишут, неродной (например, произведения Кацуо Исигура, Чинуа Ачебе, Ха Цзиня, Ольги Грушиной и др.). Благодаря симбиозу языков и культур в своих работах эти писатели создают новое качество художественных произведений, отличное от своей отечественной и от зарубежной литературы [Kellman 2019].

Выводы. Гуманизация, ставшая характерной чертой нашего времени и вызванная антропологическим подходом к современной науке, проникла во все сферы жизни общества и во многие научные дискурсы. Внимание к человеку, гуманно-личностный подход к развитию человека, духовность положили начало гуманной педагогике [Амонашвили 2012]. Гуманная педагогика, в свою очередь, порождает гуманную методику, лингводидактику и лингвистику. В русле этого направления развернулась парадигма, связанная с исследованием вариативности плюрицентрического английского языка, обусловленной культурно-языковыми контактами и необходимостью выразить в ситуации межнационального общения первичную и вторичную идентичность коммуникантов. В новой парадигме доминируют принципы коммуникативности, вариативности, инклюзивности, динамичности, функциональности и дескриптивности, что нередко приводит к впечатлению о ее либеральности в отношении быстро меняющихся норм и узуса, стремлении добиться равноправия, конкретизации терминологии так, чтобы она отражала реальную ситуацию коммуникативного контекста и при этом не нанесла морального ущерба ее участникам. Последние (либеральность, равноправие, эвфемизация, тактичность) представляют достаточно основательные признаки явления политкорректности, которое более свойственно ежедневному бытовому и медийному дискурсу.

Однако в научном дискурсе лингвистики и лингводидактики говорить о политкорректности не приходится: во-первых, политкорректность и теория вариативности английского языка относятся к разным сферам человеческой деятельности и, соответственно, к разным дискурсам. Во-вторых, они имеют разные цели: политкорректность преследует цель воспитания толерантности, а парадигма *World Englishes* — отразить кардинальные изменения в языковом сознании и в обучении языку, добиваясь признания изменения реальной языковой ситуации. Поэтому несмотря на некоторую схожесть явления политкорректности и принципов контактной вариатологии английского языка, они не пересекаются. Научный лингвистический и лингводидактический дискурс не затронуты явлением политкорректности, они просто отражают изменившуюся реальность.

Литература

Амонашвили Ш. Основы гуманной педагогики. Кн. 1. Москва: Амрита, 2012. 260 с. Кн. 2. Москва: Амрита, 2012. 330 с.

Асеева Ж. В. Лексические средства выражения идеологии политической корректности в современном английском языке: Дис. ... канд. филол. наук. Иркутск, 1999. 189 с.

Герасименко Д. В. Политическая корректность как социокультурное явление и ее отражение в современном английском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Москва, 2013. 24 с.

Гуманова Ю. Л. «Политическая корректность» как социокультурный процесс (на примере США): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Москва, 1999. 24 с.

Ионин Л. Г. Апдейт консерватизма. Москва: Изд. дом гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2010. 304 с.

Ловцевич Г. Н. Преподавание английского как языка международного общения: время перемен // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2019. Т. XVI. № 1. С. 135–142.

Орденова Н. О. Феномен политической корректности и его выражение в языковой деятельности людей: На материале английского языка: Дис. ... канд. филол. наук. Москва, 2003. 141 с.

Остроух А. В. «Политическая корректность» в США: культурологический аспект проблемы: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Москва, 1998. 25 с.

Палажченко М. Ю. Политическая корректность в культурной и языковой традиции: На английском и русском материале: Дис. ... канд. филол. наук. Москва, 2004. 240 с.

Прошина З. Г. EIL или EFL? Изменение буквы или новая концепция языкового образования? // Вестник Московского университета. Сер. 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2016. № 4. С. 83–100.

Прошина З. Г., Ривлина А. А. Mock Russian English: шутливо-пародийное использование русского варианта английского языка в странах Внутреннего круга // Вестник Московского университета. Сер. 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2018. № 3. С. 18–30.

Шульгин Н. Н. За горизонтами политкорректности // Вопросы филологии. 2003. № 6. С. 54–68.

Berdy M. Bias-Free and Inclusive English // Мосты. 2004. № 4. С. 29–36.
CHbWE — (The) Cambridge Handbook of World Englishes. / D. Schreier, M. Hundt, E. Schneider. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. 728 p.

Crystal D. English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 150 p.

Davis D. R. The inclusivity of world Englishes // *World Englishes*. 2010. Vol. 29. № 1. P. 21–26.

English as a Lingua Franca for EFL Contexts / N. C. Sifakis, N. Tsantila (eds.). Bristol: Multilingual Matters, 2019. 280 p.

English as an International Language in Asia: Implications for Language Education / A. Kirkpatrick and R. Sussex (eds.). Dordrecht: Springer, 2012. 243 p.

English as an International Language. Perspectives and Pedagogical Issues / Farzad Sharifian (ed.). Bristol: Multilingual Matters, 2009. 287 p.

HbWE1 — (The) Handbook of World Englishes / B. B. Kachru, Y. Kachru, C. L. Nelson (eds.). Malden: Blackwell, 2006. 811 p.

HbWE2 — (The) Handbook of World Englishes. 2nd edn. / C. L. Nelson, Z. G. Proshina, D. R. Davis (eds.). Hoboken, New Jersey: Wiley-Blackwell, 2020. 816 p.

Holliday A. Native Speakerism // *ELT Journal*. 2006. Vol. 60. № 4. P. 385–387.

Kachru B. B. English as an Asian Language // *Links & Letters*. 1998. № 5. P. 89–108.

Kachru B. B. Liberation linguistics and the Quirk concern // *English Today*. 1991. Vol. 7. № 1. P. 3–13.

Kachru B. B. Models for non-native Englishes // *Readings in English as an International Language* / L. E. Smith (ed.). Oxford: Pergamon Press, 1983. P. 69–86.

Kachru B. B. Regional norms for English // *Initiatives in Communicative Language Teaching* / Sandra J. Savignon and Margie S. Berns (eds.). Reading: Addison-Wesley Company, 1984. P. 55–78. Reprint: *World Englishes: Critical Concepts in Linguistics* / Kingsley Bolton and Braj B. Kachru (eds.). Vol. 3. London; New York: Routledge, 2006. P. 434–455.

Kachru B. B. Standards, codification and sociolinguistic realism: The English language in the Outer Circle // *English in the world: Teaching and learning the language and literatures* / R. Quirk and H. Widdowson (eds.). Cambridge: Cambridge University Press in association with the British Council. 1985. P. 11–30.

Kachru B. B. and Smith L. E. Editorial // *World Englishes*. 1985. № 4. P. 209–212.

Kellman S. G. Literary Translingualism: What and Why? // *Полилингвильность и транскультурные практики*. 2019. Т. 16. № 3. С. 337–346.

Kiczkowiak M., Lowe R. J. Teaching English as a Lingua Franca: The Journey from EFL to ELF (Delta Teacher Development Series). S.l.: Ernst Klett Sprachen GmbH., 2019. 120 p.

O**H**WE — (The) Oxford Handbook of World Englishes / M. Filppula, J. Klemola, D. Sharma (eds.). Oxford: Oxford University Press, 2017. 814 p.

Pakir A. The range and depth of English-knowing bilinguals in Singapore // World Englishes. 1991. Vol. 10. № 2. P. 167–179.

Principles and Practices of Teaching English as an International Language / Aya Matsuda (ed.). Bristol: Multilingual Matters, 2012. 250 p.

Proshina Z. G. Language revolution behind the cultural curtain: Presidential address delivered at City University of Hong Kong, on December 7, 2012, at the 18th conference of the International Association for World Englishes // World Englishes. 2014. Vol. 33. № 1. P. 1–8.

RHbELF — (The) Routledge Handbook of English as a Lingua Franca / J. Jenkins, W. Baker, M. Dewey (eds.). London and New York: Routledge, 2018. 620 p.

RHbWE — (The) Routledge Handbook of World Englishes / A. Kirkpatrick (ed.). London and New York: Routledge, 2010. 704 p.

Seidlhofer B. Understanding English as a Lingua Franca. Oxford: Oxford University Press, 2011. 244 p.

Selinker L. Interlanguage // International Review of Applied Linguistics in Language Teaching. 1972. Vol. 10. № 1–4. P. 209–232.

Smith L. E. Familiar Issues from a World Englishes Perspective // Культурно-языковые контакты / Под ред. З. Г. Прошиной. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2008. Вып. 10. С. 67–73.

Standards of English: Codified Varieties Around the World / Raymond Hickey (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 421 p.

Ur P. English as a Lingua Franca: A Teacher's Perspective // Cadernos de Letras (UFRJ). 2010. № 27. P. 85–92.

References

Amonashvili Sh. Osnovy gumannoj pedagogiki [Fundamentals of humane pedagogy]. Book 1. Moskva: Amrita, 2012. 260 p. Book 2. Moskva: Amrita, 2012. 330 s.

Aseeva Zh. V. Leksicheskie sredstva vyrazhenija ideologii politicheskoy korrektnosti v sovremennom anglijskom yazyke: Dis. ... kand. philol. nauk. Irkutsk, 1999. 189 s.

Gerasimenko D. V. Politicheskaya korrektnost' kak sociokul'turnoe javlenie i ejo otrazhenie v sovremennom anglijskom yazyke: avtoreferat diss. ... kand. philol. nauk. Moskva, 2013. 24 s.

Gumanova Ju. L. "Politicheskaja korrektnost'" kak sociokul'turnyj process (na primere SShA): Avtoreferat dis. ... kand. philol. nauk. Moskva, 1999. 24 s.

Ionin L. G. Apdejť konservatizma. Moskva: Izd. dom gos. un-ta — Vysšej shkoly ekonomiki, 2010. 304 s.

Lovcevic G. N. Prepodavanje anglijskogo kak jazyka mezhdunarodnogo obshhenija: vremja peremen // *Social'nye i gumanitarnye nauki na Dal'nem Vostoke*. 2019. Vol. XVI. № 1. S. 135–142.

Ordenova N. O. Fenomen politicheskoy korrektnosti i ego vyrazhenie v yazykovoj dejatel'nosti l'udey: Na materiale anglijskogo yazyka: Dis. ... kand. philol. nauk. Moskva, 2003. 141 s.

Ostroukh A. V. "Politicheskaja korrektnost'" v SShA: kul'turologicheskij aspekt problemy: Avtoreferat dis. ... kand. philol. nauk. Moskva, 1998. 25 s.

Palazhchenko M. Ju. Politicheskaja korrektnost' v kul'turnoj i yazykovoj tradicii: Na anglijskom i ruskom materiale: Dis. ... kand. philol. nauk. Moskva, 2004. 240 s.

Proshina Z. G. EIL ili EFL? Izmenenie bukvy ili novaja koncepcija jazykovogo obrazovaniya? // *Vestnik Moskovskogo universiteta*. Ser. 19: Lingvistika i mezhkul'turnaja kommunikacija. 2016. № 4. S. 83–100.

Proshina Z. G., Rivlina A. A. Mock Russian English: shutlivo-parodijnoe ispol'zovanie ruskogo varianta anglijskogo jazyka v stranakh Vnutrennego kruga // *Vestnik Moskovskogo universiteta*. Ser. 19: Lingvistika i mezhkul'turnaja kommunikacija. 2018. № 3. S. 18–30.

Shul'gin N. N. Za gorizontami politkorrektnosti // *Voprosy filosofii*. 2003. № 6. S. 54–68.

Berdy M. Bias-Free and Inclusive English // *Mosty*. 2004. № 4. S. 29–36.

CHbWE — (The) Cambridge Handbook of World Englishes / D. Schreier, M. Hundt, E. Schneider. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. 728 p.

Crystal D. English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 150 p.

Davis D. R. The inclusivity of world Englishes // *World Englishes*. 2010. Vol. 29. № 1. P. 21–26.

English as a Lingua Franca for EFL Contexts / N. C. Sifakis, N. Tsantila (eds.). Bristol: Multilingual Matters, 2019. 280 p.

English as an International Language in Asia: Implications for Language Education / A. Kirkpatrick and R. Sussex (eds.). Dordrecht: Springer, 2012. 243 p.

English as an International Language. Perspectives and Pedagogical Issues / Farzad Sharifian (ed.). Bristol: Multilingual Matters, 2009. 287 p.

HbWE1 — (The) Handbook of World Englishes / B. B. Kachru, Y. Kachru, C. L. Nelson (eds.). Malden: Blackwell, 2006. 811 p.

HbWE2 — (The) Handbook of World Englishes. 2nd edn. / C. L. Nelson, Z. G. Proshina, D. R. Davis (eds.). Hoboken, New Jersey: Wiley-Blackwell, 2020. 816 p.

Holliday A. Native Speakerism // *ELT Journal*. 2006. Vol. 60. No. 4. P. 385–387.

Kachru B. B. English as an Asian Language // Links & Letters. 1998. № 5. P. 89–108.

Kachru B. B. Liberation linguistics and the Quirk concern // English Today. 1991. Vol. 7. № 1. P. 3–13.

Kachru B. B. Models for non-native Englishes // Readings in English as an International Language / L. E. Smith (ed.). Oxford: Pergamon Press, 1983. P. 69–86.

Kachru B. B. Regional norms for English // Initiatives in Communicative Language Teaching / Sandra J. Savignon and Margie S. Berns (eds.). Reading: Addison-Wesley Company, 1984. P. 55–78. Reprint: World Englishes: Critical Concepts in Linguistics / Kingsley Bolton and Braj B. Kachru (eds.). Vol. 3. London; New York: Routledge, 2006. P. 434–455.

Kachru B. B. Standards, codification and sociolinguistic realism: The English language in the Outer Circle // English in the world: Teaching and learning the language and literatures / R. Quirk and H. Widdowson (eds.). Cambridge: Cambridge University Press in association with the British Council. 1985. P. 11–30.

Kachru B. B. and Smith L. E. Editorial // World Englishes. 1985. № 4. P. 209–212.

Kellman S. G. Literary Translingualism: What and Why? // Полилингвильность и транскультурные практики. 2019. Т. 16. № 3. P. 337–346.

Kiczkowiak M., Lowe R. J. Teaching English as a Lingua Franca: The Journey from EFL to ELF (Delta Teacher Development Series). S.l.: Ernst Klett Sprachen GmbH., 2019. 120 p.

OHbWE — (The) Oxford Handbook of World Englishes / M. Filppula, J. Klemola, D. Sharma (eds.). Oxford: Oxford University Press, 2017. 814 p.

Pakir A. The range and depth of English-knowing bilinguals in Singapore // World Englishes. 1991. Vol. 10. № 2. P. 167–179.

Principles and Practices of Teaching English as an International Language / Aya Matsuda (ed.). Bristol: Multilingual Matters, 2012. 250 p.

Proshina Z. G. Language revolution behind the cultural curtain: Presidential address delivered at City University of Hong Kong, on December 7, 2012, at the 18th conference of the International Association for World Englishes // World Englishes. 2014. Vol. 33. № 1. S. 1–8.

RHbELF — (The) Routledge Handbook of English as a Lingua Franca / J. Jenkins, W. Baker, M. Dewey (eds.). London and New York: Routledge, 2018. 620 p.

RHbWE — (The) Routledge Handbook of World Englishes / A. Kirkpatrick (ed.). London and New York: Routledge, 2010. 704 p.

Seidlhofer B. Understanding English as a Lingua Franca. Oxford: Oxford University Press, 2011. 244 p.

Selinker L. Interlanguage // International Review of Applied Linguistics in Language Teaching. 1972. Vol. 10. № 1–4. P. 209–232.

Smith L. E. Familiar Issues from a World Englishes Perspective // Kul'turno-yazykovye kontakty / Pod red. Z. G. Proshinoy. Vladivostok: Izd-vo Dal'nevost. un-ta, 2008. Vyp. 10. P. 67–73.

Standards of English: Codified Varieties Around the World / Raymond Hickey (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 421 p.

Ur P. English as a Lingua Franca: A Teacher's Perspective // Cadernos de Letras (UFRJ). 2010. № 27. P. 85–92.

Сведения об авторе: Зоя Григорьевна Прошина; доктор филологических наук; профессор; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова; профессор кафедры теории преподавания иностранных языков факультета иностранных языков и регионоведения; ORCID 0000-0002-0570-2349; proshinazoya@yandex.ru; сфера научных интересов: социолингвистика, контактная вариантология английского языка, переводоведение.

The author's profile: Zoya Grigoryevna Proshina; Doctor of Philology; Professor; Lomonosov Moscow State University; Faculty of Foreign Languages and Area Studies; Professor at the Department of Foreign Languages Teaching Theory; ORCID 0000-0002-0570-2349; proshinazoya@yandex.ru; research interests: Sociolinguistics, World Englishes Paradigm, Translation Studies.

УДК 81-133

DOI: 10.25688/2619-0656.2020.14.14

КОММУНИКАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ЯЗЫКА И КОММУНИКАТИВЫ

COMMUNICATIVE FUNCTION OF LANGUAGE AND COMMUNICATIVES

Игорь Алексеевич Шаронов
Российский государственный гуманитарный университет,
Москва, Россия

Igor Alekseevich Sharonov
Russian State University for Humanities,
Moscow, Russia

Аннотация

В статье рассматривается слабо исследованная языковая область, включающая единицы, не поддающиеся традиционным лингвистическим методам анализа: стереотипные употребления знаменательных и служебных слов и сочетаний в качестве коротких ответных реплик. Такие употребления обладают рядом особых прагматических и дискурсивных свойств и претендуют на статус самостоятельных языковых единиц. Мы называем такие единицы коммуникативами. Анализ нескольких коммуникативов демонстрирует необходимость лексикографического описания таких единиц на основе методов дискурсивно-прагматического анализа.

Ключевые слова: диалог, прагматика, дискурсивный анализ, коммуникативы.

Abstract

The study focuses on currently underexplored communicative units that are difficult to analyze and describe using traditional linguistic methods. We refer to grammatically vague response tokens pointing to the preceding utterance in a dialog: *Подумаешь, Проехали, Сойдёт, Ну ещё бы, Ладно уж* and so on. Typical usage of independent and functional words and word combinations as response tokens serves as a signal of the speaker's communicative intentions in talk-in-interaction. These units are further referred to as communicatives. They have some specific pragmatic characteristics to be analyzed and made explicit. It is obvious that these units can be treated as a separate linguistic class or a functional group. A more adequate description of these linguistic units will

require sociolinguistic and discursive methods. Their main pragmatic features are motivated by the dominance of the communicative function of the language over the nominative one. As a result, words and word combinations as response tokens reveal crucial deviations in their meaning, lose it and get new discursive characteristics instead. A communicative is the second part of dialogue adjacency pairs, such as “offer — acceptance or refusal to offer”, “compliment — response to compliment” and so on. The discursive position predetermines the speech act function of communicatives.

Another relevant pragmatic feature related to communicatives is their expressive connotation. Communicatives are often accompanied by expressive gestures and mimics. Some traditional dictionaries view communicatives as special cases of word usage and mark them with a rhombus at the end of the dictionary entry followed by a short commentary. Such information is by no means insufficient for adequate use of communicatives, but the problem is that to date there is no reliable lexicographic scheme for describing such units. Russian communicatives are a challenge to foreign students as inappropriate use of these units is a diagnostic sign of “foreignness” along with an accent and incorrect use of idioms and verb aspect.

The lexicographic method seems to be the best way to provide an explicit explanation of pragmatic features of communicatives. Taking into account that communicatives’ function in dialogues can be determined by applying discursive methods when analyzing the dialogue structure, it should be a very specialized dictionary.

Key words: dialogue, pragmatics, discourse analysis, communicatives.

Введение. Исследование языка проходит разные этапы формально-лингвистического и инструментального описания: «полевого» изучения языка, составления грамматики и словаря, анализа синтаксических, стилистических и прагматических возможностей языковых единиц, исследования языка как продукта и основного средства социального взаимодействия, его роли и значения в филогенезе, культуре, политике, педагогике и т. д. Наука о языке в России, как и в целом ряде других стран, имеет богатую традицию изучения языка на материале письменных текстов. Благодаря этому «ядерная» часть языка, его структура и лексикон получили достаточно полное и объективное описание и в диахронии, и в синхронии. Новым толчком к исследованию языковых явлений стало обращение к разговорной форме бытования языка. Технологии конца XX и начала XXI века позволили усилить внимание лингвистики к актуализованному использованию языковых единиц в коммуникации. Такие лингвистические направления, как прагматика, теория речевых актов (далее — РА), дискурсивный и конверсационный анализ, направленные на изучение диалога, его структуры и единиц, получили мощный импульс для своего развития.

Цель статьи — описание характерных свойств одного разряда коммуникативов, включающего знаменательную лексику. Коммуникативы в целом — это короткие диалогические реплики, состоящие из одного или нескольких слов: *Да нет; А то!; Подумаешь; Да ладно; Здравствуйте пожалуйста* и т. д. Отличительная особенность коммуникативов — в их синтаксической позиции в структуре диалогического текста. Это ответные реплики, дискурсивно связанные с содержанием и интенцией реплики собеседника. Главное отличие коммуникативов от остальных коммуникативных реплик диалога заключается в том, что такую единицу невозможно адекватно описать без информации о стимулирующей ее реплике. Очень многие из этих единиц — *terra incognita* для неносителей языка. В художественных текстах коммуникативы чаще всего сопровождаются авторскими комментариями, позволяющими понять, что именно имеет в виду персонаж. Однако встречаются тексты, в которых автор опирается исключительно на фоновые знания читателя. Ср.:

— Живу, а радоваться неохота. Скушно. — Ваша профессия вас устраивает? — *А то нет?* Я инженер... (И. Адамацкий. «Утешитель»).

— На, тащи мамке. Удержишь? — *А то нет!* — говорит Сашук, хватая рыбину обеими руками. (Н. Дубов. «Мальчик у моря»).

Не всякий иностранец, изучающий русский язык, догадается, что коммуникатив *А то нет*, который пока еще, как кажется, не зафиксирован в словарях, означает категорическое подтверждение неуверенной гипотезы собеседника и что фразовое ударение падает на частицу *то*.

В задачи статьи входит обоснование дискурсивно-прагматического подхода для описания коммуникативов, состоящих из знаменательных слов или включающих их наряду со служебными словами: выявление их семантической опустошенности, эмоциональной нагруженности и дискурсивных ограничений при использовании их в диалоге.

Методология. Об устной коммуникации и о структуре диалога написано достаточно много работ. Диалог, в отличие от письменных текстов, строится не одним, а двумя и более участниками. Многие диалоги очень похожи в силу стереотипности коммуникативных ситуаций, в которых люди участвуют, стереотипны и последовательности развертывания устной коммуникации. Мы ежедневно приветствуем друг друга, говорим о погоде, новостях, благодарим и приносим извинения, ходим в магазин и общаемся там с продавцом по соответствующей «модели» коммуникации, прощаемся и т. д. и т. п.

Бытовые диалоги, из которых состоит во многом устная коммуникация, полны стереотипных фраз, расположенных в последовательности развития диалога определенным образом [Coulmas 1981]. Диалог состоит из тематически и ситуационно связанных друг с другом реплик, которыми по очереди обмениваются оба его участника. Реплики диалога отлича-

ются неполнотой выражения смысла, паралингвистическими отсылками к ситуации, обилием аграмматичных речевых единиц, выполняющих исключительно коммуникативную функцию. В списки таких единиц входят эмоциональные и побудительные междометия (*ух ты, ого-го, баستا, кис-кис*), репликовые частицы и их сочетания (*ну, вот, да, вот так-то, еще чего, ну уж нет*), десемантизированные предикативы (*подумаешь, обалдеть, конечно, никогда*), идиоматические сочетания (*ничего не поделаешь, дело хозяйское, подумать только*) и краткие предложения (*я балдею, видали мы таких, есть такое дело*). Как видно из списка, это группы, собранные только по коммуникативной функции в целом, но значительно различающиеся другими своими свойствами.

Существуют разные попытки описывать эти единицы. Их определяют как междометия, нечленимые предложения, слова-предложения, релятивы, квази-предложения, речевые формулы, коммуникативы, иллюкутивы [см. Киприянов 1975; РГ 1980, § 2677; Земская 1987; Шаронов 1996; Баранов, Добровольский 2008; Кустова 2012]. Перечисленные описания страдают некоторой ограниченностью, связанной, в основном, с постановкой задач и использованием для анализа этих единиц традиционных методов. Морфология не углубляется в рассмотрение таких единиц, поскольку они имеют репликовый, и, стало быть, синтаксический статус. В [РРР 1973] некоторые из таких единиц (включаемых авторами в класс релятивов) прошли лишь формальный этап описания: были перечислены релятивы, которые произошли от частиц: *да, нет, вот!*; *ну!*; от грамматических идиом: *ишь ты!*, *еще чего, надо же*; от имен: *комедия!*, *жесть!*, *пустое!*; местоимений: *ничего!*, *как?*, *что?*; наречий: *здрово!*, *ладно!*, *блестяще!*, *фигóво*; глагольных форм: *идёт!*, *давай! не скажи!*; фразеологизмов: *подумать только!*, *и то хлеб*, и т. д. В синтаксисе же эти единицы не входят ни в одну классификационную группу предложений, даже одноставных, и потому обычно лишь упоминаются. Синтаксические теории разрабатывались прежде всего на основе нарративных текстов. Методы, позволяющие анализировать структуру простого и сложного предложения, периода и текста в целом, оказались лишь частично применимыми для исследования единиц диалогической речи.

Определенное количество таких единиц включены в некоторые толковые, специальные и фразеологические словари [Рогожникова 1983; Фразеологический словарь 1986; Lubensky 1995; Словарь структурных слов 1997; Шимчук, Щур 1999; Ожегов 1990; Большой толковый словарь 2000; Фразеологический объяснительный словарь 2009 и др.]. Однако описание единиц дается крайне лапидарно, аналогично междометиям, поскольку такие единицы лишены номинативного значения и адекватный аппарат для их толкования до сих пор не выработан.

Носителям языка обычно не нужно искать коммуникативы в словарях, они знают их из ежедневного общения и используют автоматически в стереотипных ситуациях. Для неносителей, даже профессиональных русистов, не включенных в регулярную устную коммуникацию, эти единицы и их адекватное употребление в речи — одна из труднопреодолимых вершин в освоении языка; незнание их или неправильное их использование — маркер «чужеродности» наряду с акцентом и с идиоматикой.

В исследованиях И. А. Шаронова [1996, 2009] и Т. Н. Колокольцевой [2001] предлагается описывать коммуникативы с функциональных позиций: объединять единицы в интенциональные группы, а группы — в более широкие классы: ментальный, куда входят коммуникативы подтверждения, возражения, согласия, отказа и т.д.; этикетный класс, куда входят коммуникативы извинения, благодарности, осуждения и т.д.; эмоциональный класс (коммуникативы удивления, радости, удовлетворения, огорчения, возмущения и т.п.); побудительный класс, куда входят коммуникативы поддержания контакта, реактивные сигналы к совершению действия или изменению поведения и т. п.

Такой подход представляется важным шагом для полноценного описания рассматриваемых единиц. Однако считать его окончательным было бы неверным. Определение интенционального содержания необходимо дополнять выявлением условий адекватного использования коммуникативов в диалогическом тексте.

Основная часть. Для решения задачи описания коммуникативной деятельности исследователи выходят за рамки традиционной лингвистики и обращаются к методам смежных дисциплин — социолингвистики, логического анализа языка, дискурсивного и разговорного анализа. В результате исследований, проводимых в рамках этих областей науки, выявлены социальные и коммуникативные правила, которым следует диалог как форма межличностного взаимодействия и как языковой феномен. В работах по дискурсивному анализу разговора высказывание рассматривается как составной элемент диалогического единства смежных реплик обоих собеседников. В работах [Sacs, Schegloff, Jefferson 1974; Schegloff 1981; 2007; Падучева 1982; Баранов, Крейдлин 1992] и других исследованиях отмечаются тематическая, дискурсивная, прагматическая, формальная и прочие виды зависимости между репликами собеседников. Указывается, что более сильной зависимостью обладает ответная реплика, формальные и семантические особенности которой на материале русского языка рассматривались, в частности, в работах Н. Ю. Шведовой [1960] и Н. Д. Арутюновой [1970, 1981]. Значительную роль для описания адекватного использования единицы играет «левый контекст»: тип иллокутивного акта стимулирующей реплики, реже — ее формальные и семантические особенности.

Ответная реплика диалога, разумеется, не всегда коммуникативна. Говорящий имеет для построения ответа и другие языковые возможности, например, неполные предложения. Рассмотрим пример мини-диалога:

- Ты ведь смотрел «Все о моей матери» Альмодовара?
- Смотрел! / Еще год назад! / Ну да! / А то нет! / О чем речь!

Все перечисленные варианты ответной реплики выражают подтверждение гипотезы в вопросе собеседника. Первые две реплики — неполные предложения, которые в полном варианте (который обычно не используется в диалогической речи) имели бы следующий вид:

Я смотрел «Все о моей матери» Альмодовара.

Я смотрел «Все о моей матери» Альмодовара еще год назад.

Три последующие реплики: *Ну да! / Конечно! / О чем речь!* — это коммуникативы, частично или полностью аграмматичные и десемантизированные слова и сочетания, которые также часто используются в качестве ответного РА, оценочной диалогической реакции говорящего. Их принципиальное отличие от неполных предложений — оторванность от содержательной стороны иницирующей реплики, связь с ней исключительно интенциональная и отчасти функционально-стилистическая. Данное свойство коммуникативов позволяет использовать их стереотипно в диалогах почти независимо от темы беседы.

Л. Теньер отмечает анафорический характер использования единиц, которые мы называем коммуникативами, их зависимость от смысла предшествующего высказывания [Теньер 1988: 112]. Речь здесь идет об осмыслении конкретного, речевого употребления коммуникатива, что сближает коммуникативы с местоимениями. Однако на этом сходство двух групп языковых единиц заканчивается, коммуникативы имеют целый набор интересных прагматических свойств, требующие анализа и описания.

Перечислим набор основных свойств коммуникативов, отличающий их от стандартных языковых единиц.

1. Доминирование коммуникативного значения над номинативным.
2. Десемантизация как результат доминирования коммуникативного значения.
3. Дискурсивная предопределенность.
4. Имманентная экспрессивность, проявляющаяся в регулярной жестово-мимической поддержке.

1. Доминирование коммуникативного значения над номинативным

Известно онтологическое противоречие между номинативной и коммуникативной функциями языка: частота встречаемости слов и их первичное значение связаны обратно пропорционально. Чем чаще они употребляются и закрепляются в разных контекстах, тем сильнее меняется

и меньше сохраняется в них номинативное значение под влиянием коммуникативного. Рассмотрим «борьбу» номинативного и коммуникативного (дискурсивно-прагматического) значения на примере коммуникатива *Бывает*.

«Большой толковый словарь» (БТС) толкует значение слова *Бывает* как синоним глагола *Быть* с небольшим добавлением, что им обозначается неоднократное, повторяющееся действие или состояние. Номинативное значение в данном коммуникативе не исчезает, но «уходит в тень» под влиянием коммуникативных значений, которые определяются типовыми диалогическими ситуациями. Коммуникативы используют, чтобы подтвердить предположение собеседника или его опровергнуть, ответить на просьбу согласием или отказом, оценить сообщение положительно или отрицательно, выразить удивление в ответ на сообщение, усомниться в его истинности и т. д. Таким образом, дискурсивно-прагматическое описание коммуникативов определяется прежде всего через иллюкутивное взаимодействие реплик.

Рассмотрим три типовые диалогические ситуации использования коммуникатива *Бывает* и его коммуникативные значения в таких ситуациях.

1) Снятие вины в ответ на извинения за причинение незначительного ущерба, неудобства.

«— Нет, вы ошиблись номером. Ничего, пожалуйста. Бывает-бывает. — Бульдог положил трубку. — В прачечную звонит <...>» (Шукшин В. М. «Калина красная»).

2) Успокаивание в ответ на выражение негодования, обиды на кого- / что-л.

«Вот ведь какая гадюка! — Да, — сказал Корнилов неопределённо, — бывает» (Домбровский Ю. О. «Хранитель древностей»).

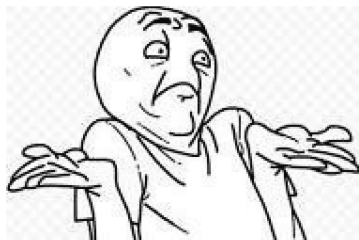
«Николай Михайлович, конечно, рассказал о случившемся Сергею Анатольевичу; тот сухо посочувствовал: — Бывает, бывает. Народ-то всем...» (Сенчин Р. «Елтышевы»).

3) Неопределённое подтверждение гипотезы собеседника о действиях кого-л., событиях.

«Я должен быть сильным, чтобы меня никто пальцем не смел тронуть. Чтобы любому дать отпор, понимаешь? — И даёшь отпор? — Бывает» (Аксенов В. П. «Пора, мой друг, пора»).

«— Вообще, часто деретесь? <...> Он, прищурившись, смотрел мне прямо в глаза. — Бывает». (Геласимов А. В. «Год обмана»).

При этом коммуникатив *Бывает* обычно сопровождается мимикой и жестами, указывающими на пассивно-негативное отношение говорящего к предмету речи. Этот коммуникатив в силу своей стереотипности даже стал мемом.



2. Десемантизация как результат доминирования коммуникативного значения

Доминирование коммуникативного значения «деформирует» и часто приводит к частичной или полной десемантизации анализируемых единиц, разрыву связи между лексической семантикой слова и интенцией слова в качестве реплики. Рассмотрим в качестве примера две пары коммуникативов, построенных на основе однокоренных глаголов: 1) *идёт* и *сойдёт*, 2) *приехали* и *проехали*. Сбор и анализ примеров употребления данных грамматических форм в качестве коммуникативов в Национальном корпусе русского языка (НКРЯ) позволил выявить серьезные различия в дискурсивно-прагматических значениях между единицами каждой пары.

Идёт и *Сойдёт*.

Оба коммуникатива выступают как вторичные употребления грамматических форм глаголов *идти* и *сойти*. Кроме общего корня коммуникативы имеют одинаковые грамматические формы лица и числа. Различаются они грамматически только по категории времени: первая — настоящего, вторая — будущего времени. Кроме того, у второй формы есть еще приставка *с-*, несколько (но не принципиально!) меняющая значение лексемы *идти*. При близости и родстве в первичном значении эти формы, используемые в качестве коммуникативов, передают весьма далекие друг от друга РА.

Коммуникатив *Идёт* передает РА согласия в ответ на предложение собеседника совершить совместное действие:

«— Пообедаем вместе? — Идёт. — Смотри не опаздывай!» (Маканин В. С. «Отдушина»).

Синонимично данному коммуникативу выступают такие единицы, как: *Хорошо*, *Конечно*, *Договорились*, *Окей* (но не *Спасибо* как положительная реакция на приглашение и не *Ладно* как положительная реакция на просьбу).

Коммуникатив *Сойдёт* передает удовлетворительную оценку качества обсуждаемого объекта.

«Он отошел к каменке, булькнул там в чане водой. — Остыла, поди, совсем? — зачем-то спросила она. — Сойдёт» (Распутин В. Г. «Живи и помни»).

Синонимами данному коммуникативу будут: *Ничего, Годится, Нормально*.

Приехали и *Проехали*. Оба коммуникатива выступают как вторичные употребления грамматических форм глаголов *приехать* и *проехать*, которые различаются только приставками. Однако из значений корня и приставок вывести дискурсивно-прагматическое значение коммуникативов оказывается абсолютно невозможно.

Приехали в неформальной коммуникации передает разочарование говорящего ввиду не оправдавшихся ожиданий относительно действий или представлений собеседника.

«— Приветствую! Ты по какому вопросу? — Приехали! — сердито сказал Гуров. — Это называется — начали во здравие, кончили за упокой! Что значит — по какому вопросу?» (Леонов Н. И., Макеев А. В. «Гроссмейстер сыска»).

Проехали в качестве коммуникатива в неформальной, бытовой коммуникации указывает на желание говорящего прервать начатую им тему ввиду коммуникативной неудачи или поворота беседы в нежелательную для говорящего сторону.

«— Всё хорошо? — Что?.. А... Максим! — Меня зовут Максимус. — А? — Ничего, проехали» (Садулаев Г. У. «Таблетка»).

«— Может быть, ты и прав, может быть... А там кто знает, возможно, и нет. — Проехали! — решительно сказал Пафнутьев. — Хватит причитать. Мне пора в Испанию собираться» (Пронин В. А. «Банда 8»).

При добавлении *Ладно* коммуникатив *проехали* (*Ладно, проехали*) может передавать также акт прощения, снятия вины:

«— Стучаться надо было! — с досадой произнес Иван. — Я постучал, — важно ответил Илья, упершись спиной в одну из берез. — Правда, вы не слышали. — Ладно, проехали! — махнула рукой Валя» (Тренина Т. М. «Русалка для интимных встреч»).

Итак, коммуникативы, построенные на значимой лексике, обычно десемантизируются частично или полностью, выведение употребления единицы из первичного значения часто оказывается невозможным. То же самое можно сказать и о многих грамматических идиомах, построенных на основе служебной лексики. Проблемы, связанные с употреблением таких коммуникативов, можно разделить на два типа.

3. Дискурсивная предопределенность

В качестве примера дискурсивной предопределенности рассмотрим две единицы, содержащие общее для них знаменательное слово *Именно* и близкие значения подтверждения и согласия: *Именно так* и *Вот именно*. Однако взаимозамена их в том или ином контексте приводит к прагматической ошибке, «царапает» слух носителя языка, указывает на недостаточную коммуникативную компетенцию говорящего.

Коммуникатив *Именно так* используется как безусловное подтверждение выраженной в вопросе догадки собеседника, к которой говорящий чаще всего сам подводит собеседника:

«— И Эти “тлеющие материалы” находятся в распоряжении правительства. — И используются в определенный момент? — Именно так» (* Вот именно). (Леонов Н., Геворкян Н. Кому мешают русские шпионы // Коммерсантъ-Власть, 1998).

«— То есть вы хотели бы вернуть детям, а возможно и их родителям, тот самый слух к чужой боли? — Именно так» (* Вот именно) (Гулина А. «Слух к чужой боли» // Богатей (Саратов). 2003.09.11).

Коммуникатив *Вот именно* является реакцией на иной тип стимула. Он используется в ответ на высказанную собеседником оценку предмета речи и выражает горячее согласие с такой оценкой.

«— А по-моему, какой канал ни включишь, везде криминал. — Вот именно» (* Именно так). (Кантор Ю. Сергей Безруков: «На телевидении я делаю то, что хочу» (2001) // Известия. 2001.09.24).

«— Так что же, вся эта организация — шутка? — продолжал Мышкин. — Ничего себе шуточки...— пробормотал я. — Вот именно!» (*Именно так). «Они не похожи на шутников» (Белоусова В. «Второй выстрел»).

Коммуникативам в целом присуща имманентная экспрессивность, проявляющаяся в регулярной жестово-мимической поддержке.

Коммуникативы имеют дискурсивные свойства, предопределяющие возможность их адекватного употребления. Тонкие различия в характере дискурсивной сочетаемости можно обнаружить в близких вариантах коммуникатива. Незнание ограничений в употреблении может приводить к прагматическим жанрово-стилистическим ошибкам при использовании единицы в речи.

4. Имманентная экспрессивность

Присущую коммуникативам экспрессивность, эмоциональную заряженность и часто оценочность рассмотрим на примере коммуникатива *Хотя бы*. Данное употребление зафиксировано в толковом словаре Т. Ф. Ефремовой [Ефремова 2000] со значением утвердительно-предположительного ответа. В качестве синонимов предлагаются коммуникативы *Допустим* и *Пожалуй*. Однако заменить *Хотя бы* этими синонимами было бы все же затруднительно, поскольку они имеют иную экспрессивную окраску, лишены резкой полемичности и потенциальной конфликтности, которая «вшита» в прагматику коммуникатива *Хотя бы*.

«— Что это ты со мной так цацкаешься? Влюбился? — Хотя бы! — заявил Олег с вызовом. — Ладно, проехали. Так все-таки, чего тебе от меня надо?» (Дивов О. «Молодые и сильные выживут»).

«— А в чем заключается твое барахтанье? В том, что переселился на дачу и возделываешь огородик? — Хотя бы, черт вас подрал! В том, что не участвую, не служу, не езжу в черном “роллс-ройсе”, ядри вашу в корень наблюдателей...» (Трифонов Ю. В. «Исчезновение»).

Говорящий произносит коммуникатив громко и резко, выдвинув голову вперед в знак готовности к агрессивному ведению полемики. Этим коммуникатив отличается от предлагаемых синонимов. Коммуникатив *Допустим* также может быть использован в полемическом разговоре, но «градус» агрессии, недовольства значительно ниже. Коммуникатив *Пожалуй* означает неуверенное согласие говорящего после некоторого обдумывания.

Выводы. Таким образом, в статье мы высветили слабо исследованную языковую область, зону коммуникативных единиц, не поддающихся традиционным лингвистическим методам анализа, требующих новых подходов для описания. Стереотипные употребления знаменательных и служебных слов, а также их идиоматических сочетаний в качестве коротких ответных реплик обладают рядом свойств, которые сильно отличаются от стандартных употреблений этих слов и сочетаний в предложении и претендуют на статус самостоятельных языковых единиц. Мы называем такие единицы коммуникативами.

Для описания коммуникативов необходим выход за рамки традиционных лингвистических методов и обращение к социолингвистическому и дискурсивному анализу диалога, рассмотрение этих единиц в качестве составного элемента диалогического единства смежных реплик обоих собеседников. Основные особенности коммуникативов определяются доминированием коммуникативного значения над номинативным. Результатом доминирования коммуникативного значения является их постепенная десемантизация, дискурсивная предопределенность и имманентная экспрессивность, проявляющаяся в регулярной жестово-мимической поддержке.

Описание коммуникативов в традиционных словарях в качестве употреблений того или иного слова (в словарной статье слова «за ромбом») малоинформативно, поскольку такие единицы лишены номинативного значения и адекватный аппарат для их толкования до сих пор не выработан. Поэтому для неносителей русского языка, даже профессиональных русистов, не включенных в регулярную устную коммуникацию, эти единицы и их адекватное употребление в речи — одна из труднопреодолимых вершин в освоении языка; неправильное их использование — маркер «чужеродости» наряду с акцентом и с идиоматикой. Наиболее перспективным представляется лексикографическое описание коммуникативов на основе методов дискурсивно-прагматического описания диалогических пар и более крупных блоков диалога с учетом экспрессивного характера единиц.

Литература

Арутюнова Н. Д. Некоторые типы диалогических реакций и «почему»-реплики в русском языке // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. 1970. № 3. С. 44–58.

Арутюнова Н. Д. Фактор адресата // Известия АН СССР. Серия Литературы и языка. 1981. Т. 40. С. 356–367.

Баранов А. Н., Крейдлин Г. Е. Иллокутивное вынуждение в структуре диалога // Вопросы языкознания. 1992. № 2. С. 84–100.

Земская Е. А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения. Москва: Русский язык, 1987. 239 с.

Киприянов В. Ф. Коммуникативы как лексико-грамматический класс слов в русском языке // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. 1975. № 3. С. 79–86.

Колокольцева Т. Н. Специфические коммуникативные единицы диалогической речи. Волгоград: Изд-во ВГУ, 2001. 261 с.

Кустова Г. И. Об иллокутивной фразеологии // Смыслы, тексты и другие захватывающие сюжеты: Сборник статей в честь 80-летия И. А. Мельчука. Москва: ЯСК, 2012. С. 349–366.

Национальный корпус русского языка URL: www.Ruscorpora.ru.

Падучева Е. В. Прагматические аспекты связности диалога // Известия АН СССР. Серия Литературы и языка. Т. 41. 1982. № 4. С. 305–313.

Русская грамматика: В 2 т. Москва: Наука, 1980.

Русская разговорная речь / Отв. ред. Е. А. Земская. Москва: Наука, 1973. 485 с.

Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. Москва: Прогресс, 1988. 656 с.

Шаронов И. А. Коммуникативы как функциональный класс и как объект лексикографического описания // Русистика сегодня. 1996. № 2. С. 89–112.

Шаронов И. А. Поиск и описание коммуникативов на основе национального корпуса русского языка // Методы когнитивного анализа семантики слова: компьютерно-корпусный подход: Коллективная монография. Москва: Языки славянских культур, 2014. С. 145–187.

Шведова Н. Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. Москва: Изд. АН СССР, 1960. 378 с.

Coulmas F. Introduction: Conversational Routine // Conversational Routine: Exploration in standardized communication situations and prepatterned speech. The Hague: Mouton. 1981. P. 1–18.

Sachs H., Schegloff E., Jefferson G. A simplest systematics for the organization of turn-taking in conversation // Language. Vol. 50 (4). 1974. P. 696–735.

Schegloff E. A. Sequence Organization in Interaction. A Primer in Conversation Analysis. Cambridge University Press, 2007. 300 p.

Словари

Фразеологический объяснительный словарь русского языка / Ред. А. Н. Баранов, Д. О. Добровольский. Москва: Эксмо, 2009. 700 с.

Большой толковый словарь русского языка / Ред. С. А. Кузнецов. Санкт-Петербург: Норинт, 2000. 1534 с.

Ефремова Е. Ф. Новый толковый словарь: В 2 т. Москва: Русский язык, 2000.

Фразеологический словарь русского языка. 4-е изд. / Под ред. А. И. Молоткова. Москва: Русский язык, 1986. 544 с.

Словарь структурных слов русского языка / Под ред. В. В. Морковкина. Москва: Лазурь, 1997. 422 с.

Ожегов С. И. Словарь русского языка. 23-е изд., испр. Москва: Русский язык, 1990. 915 с.

Рогожникова Р. П. Словарь сочетаний, эквивалентных слову. Москва: Русский язык, 1983. 144 с.

Шимчук Э., Шур М. Словарь русских частиц. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 1999. 147 с.

Lubensky S. Russian-English Dictionary of Idioms. New York: Random house, 1995. 1017 p.

References

Arutyunova N. D. Nekotorye tipy dialogicheskikh reakcij i "pochemu"-repliki v russkomazyke // Nauchnye doklady vysšej shkoly. Filologicheskie nauki. 1970. № 3. S. 44–58.

Arutyunova N. D. Faktor adresata // Izvestiya AN SSSR. Seriya Literatury i yazyka. 1981. T. 40. S. 356–367.

Baranov A. N., Krejdlin G. E. Illokutivnoe vynuzhdenie v strukture dialoga // Voprosy yazykoznanija. 1992. № 2. S. 84–100.

Zemskaya E. A. Russkaya razgovornaya rech': lingvisticheskij analiz i problemy obucheniya. Moskva: Russkij yazyk, 1987. 379 s.

Kipriyanov V. F. Kommunikativny kak leksiko-grammaticheskij klass slov v russkomazyke // Nauchnye doklady vysšej shkoly. Filologicheskie nauki. 1975. № 3. P. 79–86.

Kolokol'ceva T. N. Specificheskie kommunikativnye edinicy dialogicheskoi rechi. Volgograd: Izd-vo VGU, 2001. 261 s.

Kustova G. I. Ob illokutivnoj frazeologii // Smysly, teksty i drugie zakhvatyvayushhie syuzhety: Sbornik statej v chest' 80-letiya I. A. Mel'chuka. Moskva: YaSK, 2012. S. 349–366.

Nacional'nyj korpus russkogo yazyka URL: www.Ruscorpora.ru.

Paducheva E. V. Pragmaticheskie aspekty svyaznosti dialoga // Izvestiya AN SSSR. Seriya Literatury i yazyka. T. 41. 1982. № 4. S. 305–313.

Russkaya grammatika: V 2 t. Moskva: Nauka, 1980.

Russkaya razgovornaya rech' / Pod. red. E. A. Zemskoj. Moskva: Nauka, 1973. 485 s.

Tesnière L. Osnovy strukturnogo sintaksisa. Moskva: Progress, 1988. 656 s.

Sharonov I. A. Kommunikativy kak funkcional'nyj klass i kak ob'ekt leksikograficheskogo opisaniya // Rusistika segodnya. 1996. № 2. S. 89–112.

Sharonov I. A. Poisk i opisanie kommunikativov na osnove nacional'nogo korpusa russkogo yazyka // Metody kognitivnogo analiza semantiki slova: komp'yuterno-korpusnyj podkhod: Kollektivnaya monografiya. Moskva: Yazyki slavyanskikh kul'tur, 2014. Gl. 5. P. 145–187.

Shvedova N. Yu. Ocherki po sintaksisu russkoj razgovornoj rechi. Moskva: Izd. AN SSSR, 1960. 378 s.

Coulmas F. Introduction: Conversational Routine // Conversational Routine: Exploration in standardized communication situations and prepatterned speech. The Hague: Mouton, 1981. P. 1–18.

Sacs H., Schegloff E., Jefferson G. A simplest systematics for the organization of turn-taking in conversation // Language. Vol. 50 (4). 1974. P. 696–735.

Schegloff E. A. Sequence Organization in Interaction. A Primer in Conversation Analysis. Cambridge University Press. 2007. 300 p.

Dictionaries

Frazeologicheskij ob'yasnitel'nyj slovar' russkogo yazyka / Red. A. N. Baranov, D. O. Dobvol'skij. Moskva: Eksmo, 2009. 700 s.

Bol'shoj tolkovyj slovar' russkogo yazyka / Red. S. A. Kuznecov. Sankt-Peterburg: Norint, 2000. 1534 s.

Efremova E. F. Novyj tolkovyj slovar': V 2 t. Moskva: Russkij yazyk, 2000.

Frazeologicheskij slovar' russkogo yazyka. 4-e izd. / Pod red. A. I. Molotkova. Moskva: Russkij yazyk, 1986. 544 s.

Slovar' strukturnykh slov russkogo yazyka / Pod red. V. V. Morkovkina. Moskva: Lazur', 1997. 422 s.

Ozhegov S. I. Slovar' russkogo yazyka. 23-e izd., ispr. Moskva: Russkij yazyk, 1990. 915 s.

Rogozhnikova R. P. Slovar' sochetanij, ekvivalentnykh slovu. Moskva: Russkij yazyk. 1983. 144 s.

Shimchuk E., Shhur M. Slovar' russkikh chastic. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH. 1999. 147 s.

Lubensky S. Russian-English Dictionary of Idioms. New York: Random house, 1995. 1017 p.

Сведения об авторе: Игорь Алексеевич Шаронов; доктор филологических наук; доцент; Российский государственный гуманитарный университет; профессор, заведующий кафедрой русского языка Института лингвистики; ORCID 0000-0002-5553-1533; Igor_sharonov@mail.ru; сфера научных интересов: прагматика, теория диалога, дискурсивный анализ, стилистика.

The author's profile: Igor Alekseevich Sharonov; Doctor of Philology; Associate Professor; Russian State University for Humanities; Institute of Linguistics; Professor, the head of Russian Language Department; ORCID 0000-0002-5553-1533; Igor_sharonov@mail.ru; research interests: pragmatics, dialogue, discursive analysis, stylistics.

РУСИСТИКА И КОМПАРАТИВИСТИКА

Сборник научных трудов по филологии

Выпуск XIV

Корректор *Кочемасова Т. В.*

ООО «Книгодел»
e-mail: laton@mail.ru

Подписано в печать 27.11.2020.
Формат 60×90/16. Печ. л. 14,5.
Тираж 300 экз.
Заказ № 1831